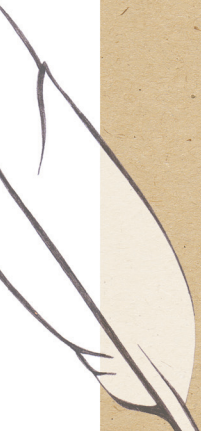


ЗАРУБЕЖНЫЕ ЗАПИСКИ

Журнал русской литературы
Книга двенадцатая
(IV - 2007)

Verlag "Partner"
2007



Главные редакторы:

**Даниил Чкония
Лариса Щиголь**

Редколлегия:

**Людмила Агеева
Борис Вайнблат
Сергей Викман
Юрий Малецкий**

“Zarubežnye zapiski“

ISSN 1862-8419

Все тексты этого и других выпусков журнала
представлены на интернет-порталах:

<http://magazines.russ.ru/> (Журнальный зал)
<http://www.zapiski.de>

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЗАПИСКИ

Журнал русской литературы

КНИГА ДВЕНАДЦАТАЯ

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Светлана Кекова. Тоннельный эффект. <i>Стихи</i>	2
Галина Корнилова. <i>Два рассказа.</i>	8
Леди Макбет Александровского уезда	
Смерть чиновника	
Юрий Перфильев. Меры земной окоlesiца... <i>Стихи</i>	20
Павел Мейлахс. Отдых в Греции. <i>Рассказ</i>	25
Арсений Березин. Рассказы.	38
Бизе, сюита «Арлезианка»	
Если завтра война...	
Разъезд Тчанниково	
Комиссия	
Давид Паташинский. Бабочка скажет жизнь... <i>Стихи</i>	49
Михаил Бусин. Письма для Давида. <i>Роман</i>	54

ЭССЕИСТИКА, КРИТИКА, ПУБЛИЦИСТИКА

Ирина Роднянская, Владимир Губайловский. Книги необщего пользования	185
--	------------

ИНЫЕ ЖАНРЫ...

Павел Лукаш. Земную жизнь на 70%... ..	196
Коротко об авторах.	200

ТОННЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

* * *

Страшны в вагонах люди спящие,
их сны – как игры ролевые,
их сны – взрывные и шипящие,
сонорные и щелевые.

Их сны – мучительно-подробные,
как жизнь согласных в райских кущах,
где и язычные, и нёбные
слились в потоке слёз текущих.

И вот опять на поле бранное
выходит лютей змий ли, волк ли...
Что – фрикативные, гортанные,
вы притаились и умолкли?

Чтоб муки не терпеть напрасные
и грех не предавать огласке,
звучат сегодня только гласные,
дрожат голосовые связи.

* * *

Вылетают из клеток чижи, канарейки, жар-птицы,
по излучинам веток бегут огневые лисицы,

время тоже летит, как царевна на сказочном волке,
с новогодней сосны облетают сухие иголки.

А по склону холма мчится огненный ангел на лыжах,
и отчаянно лают собаки в подпалинах рыжих.

Мы, последыши века, ни петь, ни молчать не умеем,
постепенно немеет, обнимаемся с огненным змеем,

изгибаемся в пламени, стоя на шатком пороге,
и уходим навеки, целуя чужие ожоги.

* * *

Всё то, что в жизни мы считаем раем,
от нас уходит прочь. И мы не знаем,
что происходит в царстве вещества –
какие вихри там, круговороты,
зачем, как рыба, плещется листва
и в бой идут кротов слепые роты?

Всё то, что в жизни обещает ад, –
томленье, муки совести нечистой,
течёт сквозь время, как ручей речистый,
под звуки песнопений и баллад.

А на границе знания и веры
растёт трава, рождаются химеры
из детских слёз и океанских брызг,
снуют стрижи, как в море флибустьеры,
и издают какой-то странный визг –

как будто хочет мёртвого окликнуть
сей мир живой, и тихо зарыдать
о том, что вновь благоухать и никнуть
начнёт трава, как Божья благодать.

* * *

Никому не клялся, не лгал, не давал зарока,
по земле ходил, как печальный монах-расстрига...
В виде речки мелкой текла по земле дорога,
и шальные птицы без нот исполняли Грига.

Взяв ковригу хлеба и соли в льняном мешочке,
сколько черствых крох ты оставил в вагонах спальных?
А теперь на праздник ты сыну везёшь и дочке
в золотом ларце скорлупу от яиц пасхальных.

Голубь клюв зарыл в оперенье своей голубки
и воркует, стонет на птичьей своей латыни,
им бы тоже, бедным, склевать по одной скорлупке,
да лихая жизнь приучила беречь святыни.

И земля куда-то под вальс уплывает венский,
голубям шальным не видать твоего подарка –
пусть клюют по крупке слежавшийся снег крещенский
из чужой руки у собора святого Марка.

* * *

Ночь. Вода остыла в грелке.
Мышь скребётся в уголке.

Спит скелет леща в тарелке,
лук в капроновом чулке.

А часы большие с боем,
спички, дольку чеснока
засыпает тонким слоем
смерти тонкая мука.

Дом, плывущий в неизвестность,
перегружен, как ковчег,
в нём терять свою телесность
не желает человек.

Не желает подчиняться
ходу мерному светил,
тяжело ему меняться
и терять остатки сил.

За утратой ждёт утрата,
в стены дома бьёт волна...
Где вершина Арарата?
Существует ли она?

* * *

Я б хотела с рыбой породниться
и хотя б на миг уйти туда,
где струится в ледяной гробнице
мёртвая осенняя вода.

Это путь сквозь зону увяданья,
сквозь её последний ураган...
В жизни, словно в зале ожиданья,
копятся грехи, звучит орган.

Зыблются рябины в снежных шалях.
Вижу – приближается Она –
та, кому на ледяных скрижалях
числа выбивать и имена.

* * *

Очертания душ я ищу в облаках,
чтобы шелест земной затаился, притих.
Заседает в ветвях воробьиный конклав.
Спрятал в пёрышки клюв воробей-еретик.

Каждый день в половине восьмого утра
воробьиное дерево – грецкий орех –
начинает звучать, выдавать на гора
воркование, свист, щебетание, смех.

Каждый звук уникален, как форма бровей
Суламифи, как губ её алых изгиб.
Но на ветке сидит еретик-воробей
и с сочувствием смотрит на пастбище рыб –

голубой водоём, где гуляют вдвоём
краснопёрка и линь среди рыбьих отар,
где они затаились в молчанье своём
на военном параде супружеских пар.

* * *

Ирине Евсе

Богомол на воле расставил усы-антенны.
Как сигналы «sos», дождевые он ловит капли.
И рифмуют смело цветущие хризантемы
лепестки свои с опереньем японской цапли.

Наступила осень – и стало темно и голо.
Перестал сизарь ворковать со своей голубкой.
Лёгкий пух небесный, летящий от уст Эола,
отменяя пафос, прикинулся снежной крупкой.

В телефонной трубке я голос знакомый слышу:
тёплый ветер с моря с кавказским звучит акцентом:
«Я сегодня буду орехи бросать на крышу,
покупать инжир и лежать на камнях под тентом».

Три банана купишь, в свободный зайдёшь автобус,
чтобы плач о жизни тебя с головой не выдал...
Под рукою Бога вращается старый глобус –
то ли шар земной, то ль фетиш непонятный, идол.

Есть такое племя, у коего нет тотема, –
это племя слов, что колотит в свои тамтамы.
А в петлице осени астра иль хризантема
чуть привяла, словно букет для Прекрасной Дамы.

* * *

Протекает жизнь сквозь сердечный клапан,
как река, – в смятении и тоске.
Но стоит, как стражник, на задних лапах
богомол на розовом лепестке.

Получает визу в небесном МИДе
и летит на юг журавлей семья,
тихо спит в коричневой пирамиде
золотая мумия муравья.

А сверчок, исполненный тайной грусти,
запускает звука веретено.
Дети белых бабочек спят в капусте,
стрекоза лиловое пьёт вино.

Воробьи в ветвях собирают вече,
чтоб потом спокойно уснуть в ночи.
Человек, владеющий даром речи,
где твои медсёстры, твои врачи?

Неужели это – ветла в овраге,
молодой сверчок на своём шестке,
муравей в расписанном саркофаге,
богомол на розовом лепестке?

* * *

Скрипки брошены, флейты и дудочки,
мир исчез в соловьином зрачке.
Спрятав жирного червя в желудочке,
оркестранты сидят на сучке.

И такая вокруг какофония –
звуки АЛЛИ, и ЭОЛ, и ОРР...
Но из них созидалась симфония,
вторил птичьему – ангельский хор.

Ганс-датчанин в обнимку с Русалочкой
по волнам океанским бежит,
а футляр с дирижёрскою палочкой
у корней, как секира, лежит.

ТОННЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

1

Средь зелени растущий баклажан
висел, как фиолетовый стакан,
на грядке рядом скромно цвёл картофель.
В полосках жёлтых колорадский жук
полз по листу, и маленький паук
следил за ним, как будто Мефистофель

за Фаустом. Чирикал воробей.
Пах сельдерей всё тоньше и слабей,
горчил укроп, курчавилась петрушка.
Вела цыплят заботливая клушка

туда, где, полдня обнаружив дно,
плескалось солнца пенное вино,
где жук постиг законы лицедейства,
где длинное жемчужное зерно
нашёл отец куриного семейства.

6

2

Оранжевая круглая морковь
сосёт из почвы сладостную кровь,
и свёкла прячет маленькие груди.
Морковь живёт в темнице, а коса –
на улице, где сыр и колбаса
лежат в обнимку на огромном блюде.

Как полдень пьян! Отпей его вина!
Петух нетрезв, и курица пьяна,
и тишина полна любовных стонов.
Но глянешь вглубь жемчужного зерна
и вдруг увидишь – жизнь превращена
в невидимую пляску электронов.

Обычный деревенский огород –
вещей и овощей случайный сброд –
проколот длинной золотою спицей.
Петух ведёт соперника на ринг.
Над ним, как коршун, реет Метерлинк,
держа в когтях кошёлку с синей птицей.

3

Мне снился лета треснувший арбуз.
Его привёз огромный сухогруз.
Он лихо сплавил волны вниз по Волге.
Смешались ветер, время и песок,
Закат июльский пил арбузный сок
и угасал, бросая в воду корки.

Гудели звёзд осиные рои,
и некто проникал в слова твои –
он был невзрачен, юрок и проворен,
он говорил, что летом воробьи
пронырливы, как горсть арбузных зёрен.

4

Лицо пчелы – в нектаре и пыльце.
Завершена цветущих лип проверка.
И чёрный пудель лает на крыльце,
пугая молодого Гейзенберга.

Арбузы серебрятся на бахче,
смуглеет тыква, зёрна копит дыня...
Но знаю я – наступит время «Ч»,
и будет плакать на твоём плече
невидимого тайная твердыня.

ДВА РАССКАЗА

ЛЕДИ МАКБЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО УЕЗДА

«Иной раз в наших местах задаются такие характеры, что как бы много лет ни прошло со встречи с ними, о некоторых из них никогда не вспомнить без душевного трепета».

Н. Лесков, «Леди Макбет Мценского уезда»

«Наши места», о которых упоминает русский классик, это, надо понимать, вся Россия целиком. Потому что в какие бы стороны ни занесла тебя судьба, дальние ли от центра, или поближе к нему, ты рано или поздно непременно столкнешься лицом к лицу именно с таким характером. И потом уже, по прошествии некоторого времени, трудно будет даже вспомнить: от чего именно ощутил ты «душевный трепет» – от страха ли, изумления, или же – невыносимого отвращения.

Я ничуть не сомневаюсь и в том, что и здесь, в столице нашей родины, встречаются в немалом количестве персонажи, описанные в свое время Лесковым. Да и как же им тут не оказаться среди неисчислимого, громадного населения!

Но вот ведь что удивительно, вот что поразило меня самую больше всего: в нашей, затерянной среди лесов и полей деревушке с единственной улицей, равной длине какого-нибудь среднего столичного переулочка, также вдруг объявился тот самый зловещий и легко узнаваемый женский характер. Да к тому же не где-то на деревенской окраине, а в самой непосредственной близости от нас, проще сказать – в соседнем, стоящем против нас доме.

...Между прочим, я вполне могу предположить, что с первого взгляда она вам может даже понравиться: бойкая белорукая и белоногая бабенка с круглым розовым лицом и русыми, зачесанными назад, волосами. Пухлые ее губы как бы всегда готовы сложиться в чуть подобострастную улыбочку. А ее глаза... Вот как раз глаза моей соседки описать труднее всего. Из-за ее странной привычки не смотреть прямо в лицо собеседника. Только в первую секунду покажется вам, что вы встречаетесь с нею взглядом, но тут же этот прозрачный взгляд плывет куда-то мимо тебя, проливается где-то в стороне, словно вода из неловко наклоненной посуды.

Наше с нею знакомство началось с того, что соседка, перейдя улицу и растворив калитку, спросила, нет ли у нас для нее какой-никакой работы. Работы на нашем большом, довольно запущенном участке было хоть отбавляй. Мы поручили в тот день Зинаиде вскопать поляну перед домом в надежде превратить ее потом в красивый газон. На ловкость, с какой соседка принялась за работу, приятно было смотреть. Тяжелая лопата так и ходила в ее сильных руках. Однако то ли вспашка была недостаточно глубокой, то ли мы сами оказались никудышными хозяевами, но только к следующей весне вместе с хилой газонной травой на перекопанном участке взошло несметное количество чудовищной величины сорняков.

У нашей белотелой и пухлогубой соседки имелся муж – долговязый мрачноватый и молчаливый тракторист Виктор. Целыми днями по весне и осени его выдавший виды трактор тарахтел в окрестных полях: то утробно завывал возле самой деревни, то глухой его рокот доносился откуда-то издалека, от самой опушки леса.

Однажды сломалась наша собственная машина, и сосед-тракторист без всякого зова пришел к нам на участок и в очень короткое время привел корейское чудо в порядок.

Таким образом, мы вроде бы должны были быть довольными нашими работящими и услужливыми соседями. Единственное, что порой мешало нам самим работать, это довольно шумные гости, то и дело навещавшие наших соседей. Главным образом то были не слишком молодые хорошо одетые мужчины, подкатывавшие к соседским воротам на одной, а то и на двух дорогих импортных машинах. И тотчас с противоположной стороны улицы летел к нам хор мужских голосов, исполняющих народные песни, и дразнящий запах шашлыков. Невольно бросалось в глаза при этом отсутствие в доме главы семьи. Трактор Виктора во время этих шумных сборищ все еще катался вдоль и поперек окрестных полей.

Однако, надо признаться, что и к нам тоже время от времени заходили или наезжали друзья или родственники, и тогда мы, собравшись на террасе, пели под гитару про «клен ты мой опавший» или что-нибудь из Окуджавы.

Примерно такой была наша жизнь в деревне вплоть до прошлого года. Потому что именно тогда случились все те неожиданные и трагические события, нарушившие наше безмятежное деревенское житье.

Едва в середине мая наша тяжело груженная машина, съехав с грунтовки, подкатила к закрытым воротам, как с другой стороны улицы к нам метнулась Зинаида. Торопливо поздоровавшись, она попросила выйти к ней «на минутку» Алексея. Надо заметить, что к моему зятю, человеку добродушному и отзывчивому, в деревне относились как к «своему» и охотно общались с ним. Загнав машину на участок, Алеша перенес в дом наиболее тяжелые вещи и вышел за ворота к Зинаиде. Мы видели, как что-то взволнованно говорит ему соседка, а он в ответ сокрушенно качает головой.

За это время мы успели все перенести в дом и занимались разбором вещей, когда Алеша поднялся по ступеням.

– Беда у Зинаиды, – мрачно объявил он с порога, – Витька ее бросил. Нашел, говорит она, в городе молодую девку и живет теперь у нее...

Мы все дружно ахнули. Чтобы этот нелюдимый молчаливый парень отколол вдруг такое!

Подруга моей дочери, снимающая здесь, в деревне, дачу, сердито крикнула:

– Вот! Все они, мужики, такие, все до одного! Чего ему, балбесу долговязому, еще надо? Зинка такая симпатичная баба!

Мы все хором поддержали ее. Конечно же, тракторист ее не стоил!

Наше негодование по поводу недостойного поступка соседа звучало теперь целым хором. Пока наконец в этот хор диссонансом не влился резкий мальчишеский дискант.

– Чего вы Зинку-то жалеете? – спросили нас из-за распахнутой двери в кухню, – когда она своєю Витьку в тюрьму засадила...

Там, в кухне, моя внучка поила чаем своего деревенского приятеля Пашку.

На террасе нашей в одно мгновение воцарилась мертвая тишина. Мы лишь с изумлением поглядывали друг на друга, не зная, как отнестись к нелепым словам мальчишки.

Наконец подруга дочери, не выдержав, закричала:

– Пашка!!! Ну что ты там несешь, дуралей ты эдакий! Что ты мелешь? Наслушался в деревне бабьих сплетен и теперь их повторяешь, как попугай. Как тебе только не стыдно!

Белобрысый Пашка наконец появился из кухни. Его круглое, усыпанное веснушками лицо пылало от обиды.

– И ничего не сплетни! – сердито крикнул он, – и ничего я не несу! Сам зимой видел, как менты Витьку в газик с решетками запихивали. Зинка им велела. Она всех мужиков в тюрьгу сажает...

От дикого Пашкиного вранья у меня голова пошла кругом. Но пока мы приходили в себя, дети успели сесть на свои «велики» и укатили на другой конец деревни.

Поглядев им вслед, подруга дочери с горечью в голосе сказала:

– Так я и знала... Давно знала, что вся эта деревня сплетнями, как паутиной, опутана. Чего они только не несут друг про друга! И про нас, городских, тоже, не беспокойтесь, самые нелепые слухи распускают. Зимой им тут делать нечего, вот они и чешут языки про тех и про других. И все – от зависти, все им чего-то не хватает... Я бы этому Пашке, если бы он не смылся вовремя, просто бы уши надрала. Чтобы не повторял всякие небылицы, которые его бабка Марфа от скуки придумывает...

– Я, пожалуй, схожу к тете Наташе за молоком, – сказала я, прервав монолог нашей гостьи.

На самом деле проверить и установить истинность сказанных здесь, на террасе, слов можно было только одним способом: пройтись по деревне и поговорить с моими деревенскими знакомыми. При этом самым надежным источником информации я считала свою приятельницу Тоню, вполне полагаясь на ее здравый смысл и нелюбовь к сплетням.

Я переоделась в сарафан, натянула на ноги растоптанные босоножки и, прихватив бидон для молока, вышла за калитку. И сразу же забыла о том, что я в данный момент являюсь кем-то вроде разведчика, выполняющего ответственное задание.

До чего же сейчас, в самом начале лета, хороша была наша деревня! Молодая яркая трава густой щетинкой покрыла всю ширину улицы, оставив нетронутым лишь серый прочерк дороги. А над дорогой в картинных позах, словно на полотнах старых мастеров, стояли, склонившись тут и там, столетние ивы.

Глубокие морщины на их серых стволах, причудливый изгиб веток и трепетание узких легких листьев и в самом деле делали эти деревья необычайно живописными. Сделав еще несколько шагов по дороге, я наткнулась на заброшенный сруб колодца, темные бревна которого покрывала прозелень плесени. Пройдет какой-нибудь месяц, и старый колодец будет густо оплетен полевыми цветами. Ветер будет раскачивать над ним синие колокольчики и бледно-розовые чашечки повилки. А я, проходя мимо этого места, буду каждый раз останавливаться и бормотать строки Блока:

Мой любимый, мой князь, мой жених,
Ты скучаешь в цветистом лугу.
Повиликой средь нив золотых
Заплелась я на том берегу.

От старого замшелого колодца деревенская дорога начинает понемногу катиться под гору, и отсюда еще издали я различаю стоящую перед распахнутыми воротами своего хлева Антонину Васильевну. Я мгновенно ускоряю шаги, и пустой бидон в моей руке позванивает сейчас, как колокольчик. Держа в руке здоровую дубину, Тоня пытается загнать в хлев небольшое стадо истошно блеющих овец. Завидя меня, она отставляет в сторону кол, поправляет косынку на голове и бесстрастно констатирует:

– Приехали, значит...

Потом, покосившись на мой бидон, добавляет:

– Видно, ты к Наталье за молоком собралась. А сметану не хочешь взять у меня? К вечеру и творог, и сметана поспеет...

– Конечно, возьму! – обрадовалась я, – у тебя же сметана – первый сорт...

И уже собираясь идти дальше, спросила:

– А как ты, Тоня, здорова?

– А чего мне делается-то? – удивилась она, – мне ведь болеть некогда! Это еще зимой я могу прихворнуть малость, а теперь уже не до болезней, сама видишь... Ну, заходи под вечер...

– Обязательно зайду. Мне с тобой еще об одной вещи поговорить надо...

– Это об чем же? – поинтересовалась она.

– Да хотела тебя поспрашивать о соседке моей, о Зинаиде...

Тонино добродушное лицо в один миг вдруг изменилось, отвердело. Темные ее насмешливые глаза сделались злыми, по щекам хлестнуло румянцем гнева. Отвернувшись от меня, она огрела колом самого крупного из баранов, норовившего из-под ее руки проскочить обратно на улицу. Когда же животное все-таки было водворено в хлев, Тоня, полуобернувшись ко мне, бросила злым голосом:

– Об этой стерве я и говорить не стану!

И вдруг, словно спохватившись, в тревоге повернулась ко мне:

– Да никак ты дружбу с нею завела?

И не дав мне даже ответить, с гневом бросила:

– Прежде чем у людей про нее выспрашивать, ты бы глаза свои протерла! Вот скажи: видала ты хоть раз, чтоб к ней кто из наших, из деревенских, ходил? Хоть мужик, хоть баба...

– Нет, – растерявшись, отвечала я, – деревенских я у них не видала...

– И не увидишь! – твердо сказала Тоня. – А теперь своей головой подумай, почему это люди тот дом, как заразу какую, обходят. Подумай, а потом уж и спрашивай!

И сердитая, с выбившимися из-под косынки волосами и покрасневшимся лицом, она исчезла в темноте хлева.

Я же, порядком расстроенная ее гневными словами, поплелась дальше, к дому нашей молочницы тети Наташи.

Дом ее, с покосившимися воротами, с облупленной краской наличников, сильно отличался от ладного, крепкого, как гриб-боровичок, дома Антонины Васильевны. Калитка, в которую мне надо было пройти, висела на одном гвозде, и по этой причине открыла я ее не без труда. Пройдя по дорожке, усыпанной картофельными очистками, я по шатким ступеням поднялась к дверям терраски, откуда на меня пахнуло тяжелым спертым воздухом.

Тетя Наташа, углядевшая, как видно, меня из окна, вышла мне навстречу из темных сеней. Из толстого шерстяного платка, обхватившего ее голову, виднелось худое, с нездоровой желтизной лицо.

– Здравствуйте, тетя Наташа! – приветствовала я ее, – как вы себя чувствуете?

В ответ она лишь безнадежно махнула рукой, взяла из моих рук бидон и исчезла в потемках сеней. Когда она наконец снова появилась на терраске и протянула мне теплый от парного молока бидон, я, не удержавшись, спросила:

– А вы не слышали, тетя Наташа, что от нашей соседки, от Зинаиды, муж ушел?

Она подняла на меня бесцветные, сонные какие-то глаза и едва слышно сказала:

– Один ушел, так другой пришел...

Тетя Наташа уже исчезла в глубине дома, а я все еще стояла неподвижно, пытаясь понять смысл сказанных странных слов. А может быть, никакого смысла в них не было вовсе? Случайная, невпопад слетевшая с губ этой болезненной жен-

щины фраза. И в тот момент, быть может, думала она вовсе не обо мне и не о том, о чем я ее спросила...

С тяжелым бидоном в руке я опять поплелась по улице, теперь уже в обратном направлении. До моего собственного дома оставалось всего несколько метров, когда меня вдруг окликнули из окна избы, мимо которой я шла. Я подняла голову, заглянула через низкий забор. Из окна с яркими голубыми наличниками мне зазывно махала пухлая женская рука.

– Заходите, заходите! – зазывала меня к себе Ольга Викторовна, с которой у нас давно сложились дружеские отношения. Она не была коренной местной жительницей – приехав в деревню, много лет назад, чтобы учительствовать в здешней школе, Ольга Викторовна купила здесь дом и обзавелась хозяйством. Теперь она была владелицей коровы, поросенка, завела кур, разбила за домом большой огород. К тому же время от времени она сдавала кому-нибудь комнату, а на лето угол у нее снимал наш пастух. Энергии ее, как мне казалось, хватило бы на несколько человек.

Я толкнула калитку, прошла по дорожке, обсаженной с двух сторон яркими цветами, и свернула вправо, к террасе, откуда доносилось звонкое постукивание топора. «Как видно, хозяйка начала терраску ремонтировать, – подумала я, – давно пора!»

И в самом деле, завернув за угол дома, я увидела на ветхой террасе двух молодых рабочих. Обнаженные по пояс, успевшие загореть до черноты, они забивали гвозди в новые перила.

Мое внимание сразу привлек один из плотников – высокий красивый парень, тело которого было сплошь расписано затейливой татуировкой. На груди его распластался с раскинутыми крыльями орел, что-то держащий в когтях, а на правом мускулистом плече чернела злоеца цифра «666».

Я поздоровалась с рабочими и, обойдя их, попала в узкий коридорчик, ведущий к кухне. В дальнем его конце из-за приоткрытой двери улыбалась мне пышноволосяя, круглолицая хозяйка.

– Сюда, сюда проходите! – манила она меня, широко улыбаясь.

Небольшая кухонька была пропитана запахами кислящего молока, заставлена всех размеров стеклянной посудой. Из подвешенного к углу печи марлевого мешка с творогом текла струйкой мутная жидкость и с плеском падала в таз.

Смахнув что-то с табуретки, Ольга Викторовне предложила мне сесть. Сама она уселась по другую сторону застеленного клеенкой стола.

– Я видела, видела, как вы сегодня заезжали. И вот что еще: я же знаю, что вам в дом работники нужны. Рамы там чинить, или еще что... Вот и возьмите моих-то ребят! Видели, как они терраску у меня подновляют? Они все умеют, за любую работу с охотой возьмутся и денег просят немного, так вы уж воспользуйтесь...

– А откуда же они тут взялись? – удивилась я, – что-то я этих парней в нашей деревне не встречала...

Ольга Викторовна проворно поднялась со стула и, подойдя к двери, прикрыла ее плотнее. Потом, повернувшись ко мне и понизив голос, сказала:

– Да они оба из тюрьмы только вернулись. Срока свои отбыли. А так они местные ребята. Тот, что повыше, с татуировкой, – он ведь сын Софьи, ну, которая сторожихой в известинском поселке работает, вы, вроде, там жили раньше, должны ее знать.

– Тети Сони? – удивилась я – А я-то всегда думала, что она одинокая, вечно со своей собачкой на дежурство выходила...

– Была одинокой, пока сын срок отбывал. У них ведь на выселках комнатуха, так вдвоем им тесно. Соня и попросила меня Павлу комнату на лето сдать, а там видно будет...

– А за что же он сидел? – поинтересовалась я.

Ольга Викторовна пренебрежительно махнула рукой:

– Да, можно сказать, ни за что! Связался с бабой поганой, она его и засадила, с солдатом каким-то застал ее, ну и, конечно, нахлестал ей морду. А она в милицию побежала...

– А что за жена у него была? Местная какая-нибудь?

– А вы не знаете? – удивилась моя собеседница, – да Зинка, что против вас живет, вот кто! Ну и поганая баба, скажу вам!

– Подождите, – растерялась я, – но у Зинаиды нашей совсем другой муж был. Виктор, тракторист...

– Ну и что? – невозмутимо отозвалась она, – у этой Зинки, если посчитать, таких мужей с десяток наберется. До Павла, помню, у нее в мужьях Толик был махринский, только он от туберкулеза в тюрьме умер.

– Господи! – изумилась я, – а этот-то почему в тюрьме оказался?

– Пил он сильно. Зинке надоело это, так она его быстро за решетку спровадила... А когда стало известно, что в тюрьме он умер, братья Толика Зинкин дом сожгли. Да только ей все нипочем. Очередной хахаль явился и дом ей заново отстроил... И тракториста этого, о котором вы сказали, она тоже нынешней зимой посадила. Не знаю уж, что у них там вышло и какой срок ему дали. Говорю вам: паршивая она баба и опасная. Я чего сейчас боюсь: начнет она снова Павла подманивать, быть тогда беде! Совсем пропадет парень!

– Вот это да! – растерянно воскликнула я, – мне и в голову ничего такого не могло прийти. Такая на вид симпатичная, спокойная женщина...

– Вот именно, что «на вид»! – подхватила моя собеседница. – Сарафан напялит, плечики свои выставит, губы бантиком – все мужики и летят, как мухи на мед ...Только вот не знают, что мед-то этот – с отравой...

– Но подождите, Ольга Викторовна, как же это ей удастся людей за решетку сажать? Кто она такая? Может, она сама в органах работает?

Ольга Викторовна брезгливо фыркнула:

– Вот именно, что работает! Не догадываетесь, кем? Подстилкой для этих органов – вот кем! Да разве не замечали, как к ней то и дело чины большие из области подкатывают? Что ни день приезжают. Она их всех и ублажает. А потом уже с просьбами к своим полюбовникам обращается: того посадить да другого...

Когда в тот день я вернулась домой, мои домашние засыпали меня вопросами:

– Почему ты так долго ходила за молоком? Почему ты такая мрачная? Ты ничего не узнала про соседского Виктора?

На террасе рядом с взрослыми в тот момент играли дети, и потому, отложив до другого раза почти фантастический рассказ о проделках нашей соседки, я лишь рассказала о том, что в доме Ольги Викторовны работают отличные мастера, которые могут делать все.

– Пускай они нам телик починят! – закричала моя внучка, – а то он только одну первую программу показывает. Да и то ничего не видно...

– А смогут эти твои умельцы нам телевизионную антенну наладить? – с недоверием спросила дочь.

– Наверное, смогут. Зайду сегодня опять к Зинаиде Викторовне и спрошу, они у нее терраску чинят.

– Давно пора! – мрачно заявила дочь, – туда и войти-то было страшно, того и гляди крыша на голову упадет...

Утром следующего дня в нашу калитку, широко ее распахнув, вошел Павел и поверг своим живописным видом все мою семью в состояние некоторого шока. Явно довольный произведенным им на окружающих впечатлением, Павел вытянул из кармана ножик с длинным узким лезвием.

– Ну, хозяйева! Показывайте, где у вас тут антенна барахлит.

Алеша повел его на второй этаж, в мастерскую, показывать телевизионную антенну. За ее налаживание брался уже не один местный умелец, но из этого не выходило ровным счетом ничего.

Прошло каких-нибудь полчаса, и внезапно внизу, в большой комнате, где стоял у нас телевизор, раздалась сначала оглушающие переливы оперной дивы, сменившиеся внезапно револьверной стрельбой, а потом четким голосом диктора, говорящего почему-то по-французски. Еще через минуту на крыльцо выскочила возбужденная до крайности Анастасия и восторженно закричала:

– Работает!!! Каналов десять теперь берет! У нас и в Москве такого нет!

Мы бросились благодарить мастера, вручили ему на радостях две сотни.

На что он, пожав своими расписными плечами, сказал:

– Много даете, хозяева! За такую-то пустяковую работу!

Мы сразу догадались, что за время своего пребывания в заключении Павел отстал от жизни и не имеет понятия о такой вещи, как инфляция.

С того дня Павел стал часто попадаться мне на улице. По деревне он теперь ходил, повязав низко на лоб голубую косыночку, это в сочетании с его мужественным загорелым лицом делало парня похожим на стивенсоновского пирата. Романтический облик портили только женские домашние тапочки с красными помпонами на его ногах.

– Как дела, Павел? – спросила я его однажды при встрече.

– Во! – выставил он в ответ передо мной отогнутый большой палец с темным ногтем, – лес англичанам продаем!

– Да откуда же здесь у нас англичане взялись? – опешила я.

– Нашелся один... – загадочно отвечал он.

– А лес откуда?

– Да вон же лес! – протянул Павел руку к горизонту, – кругом нас стоит. Бери сколько хочешь! Кто его сейчас охраняет?

– Вы хоть нам его немного оставьте! – попросила я и пошла своей дорогой.

Еще через несколько дней я столкнулась с Павлом возле своего любимого колодца. Теперь уже он весь был обвит плетью разросшейся повилики так, что трухлявых бревен сруба за ними не было видно.

– Посмотрите, как красиво! – показала я на заросший колодец. Павел повернул голову, недоуменно пожал плечами.

– А чего красивого-то? Сорняков куча... А я, – заулыбался он, – к Зинаиде иду... На обед меня пригласила!

Это известие сразу же заставило меня вспомнить мрачное предсказание Ольги Викторовны. Выходит, Зинаида и в самом деле начала Павла, по словам соседки, «подманивать».

Но я только сказала: – Неплохо, вижу, вы устроились, Павел. Завтракаете у одной хозяйки, обедать ходите к другой...

Павел засмеялся.

– А чего ж не пойти, когда зовут?

И весело улыбаясь, он пошел своей дорогой. То есть напрямик к дому коварной Зинаиды. А я, глядя ему вслед, вспоминала другие слова той же Ольги Викторовны. Она сказала тогда вот что: «Быть беде»...

Стояли уже прохладные осенние дни, когда мы начали собираться обратно в город. Поля за деревней ощетинились рыжей стерней, лиственный лес за шоссе-кой терял свои последние красно-желтые листья, уцелевшая от покосов трава по утрам становилась сизой от холода. И только сосновый бор за полями, как всегда, выглядел свежим и ярким.

В день нашего отъезда в город над скошенным полем носились и оглушительно кричали вороны. И этот их крик почему-то заставил сжаться мое сердце, словно

покидая деревню, мы оставляли здесь ту беду, о которой так уверенно пророчествовала моя говорливая соседка...

Беда эта случилась уже тогда, когда мир залили дожди поздней осени, и при не включенном еще центральном отоплении мы с грустью вздыхали, вспоминая нашу безотказно горячую деревенскую печь.

Однажды, уже в начале ноября, меня спозаранку разбудил длинный телефонный звонок. Подняв трубку, я сразу же узнала знакомый и, как мне показалось, плачущий голос нашей деревенской соседки Ольги Викторовны.

– Что случилось, Ольга Викторовна? – спросила я нетвердым от страха голосом, ибо подумала, что беда могла случиться с нашим оставленным в деревне без присмотра домом. Но она, плача и причитая, рассказала о трагедии, произошедшей с теми, кто так или иначе был связан с нашей местной «леди Макбет».

Под осень Павел окончательно перебрался к Зинаиде, и они снова жили как муж с женой. Но однажды, вернувшись откуда-то домой, он застал свою «супругу» лежащей вместе с тщедушным подростком, невезучим Сашкой-изобретателем, которого за его сиротство и бедность жалела вся деревня. Не раздумывая ни мгновения, Павел метнул в обидчика нож – скорее всего тот самый, с которым он чинил нам антенну. Бедного Сашку на «скорой» отвезли в город в больницу, где он и умер на операционном столе. А вскоре после этого дом Зинаиды запылал, подожженный со всех четырех углов. Кто его поджег – так и осталось неизвестным. То ли это кто-то из деревенских отомстил за погибшего Сашку, то ли это сделал от отчаянья сам Павел, за несколько минут до того, как его схватили милиционеры.

– А ведь он так тюрьмы боялся! – сквозь слезы проговорила сердобольная Ольга Викторовна...

Ранней весной следующего года я приехала в деревню, чтобы осмотреть свои посадки. Спустившись с высокой насыпи грунтовой дороги, я сделала несколько шагов по улице и вдруг остановилась как вкопанная. Справа от меня, в том месте, где стоял дом Зинаиды, лежало теперь пустое, выжженное дотла пространство. Черные обгоревшие стволы деревьев торчали из земли, покрытой влажными серыми клочьями пепла. И казалось, что теперь уже ничего никогда не сможет взойти на этой страшной, обгоревшей и политой человеческой кровью земле. Но через минуту перед моим мысленным взором возникла бойкая белотелая бабенка с блудливой улыбкой на пухлых губах и ускользящим взором. Что-то вроде местного Феникса, каждый раз возрождающегося из пламени для новой греховной жизни...

СМЕРТЬ ЧИНОВНИКА

Сердце Василия Васильевича Прошина перестало биться на рассвете холодного мартовского дня. Случилось это ровно за минуту до звонка будильника, призывавшего усопшего приступить к трудовой деятельности. И как это ни удивительно, но мелодичная трель, разорвавшая тишину спальни, проникла в гаснущее сознание распростертого на кровати Прошина. В то же самое мгновение он осознал и другое: наступал не обычный будничныи день, но день дерзновений и свершений. Проще говоря, именно на сегодня была назначена ответственная экономическая конференция, на которой, по слухам, могли присутствовать и представители верхних эшелонов власти. И более того: в качестве одного из докладчиков должен был выступить и сам Василий Васильевич Прошин. Текст его доклада, перепечатанный на компьютере секретаршей, лежал сейчас в кабинете, запертый в кожаный портфель.

– Ах ты, мать твою!!! – с трудом шевеля онемевшими губами, прошептал Василий Васильевич и попытался переменить свое лежачее положение на сидячее. Сделать это оказалось чрезвычайно трудно, ибо неведомая сила упорно тянула Прошина куда-то вверх. Однако, ухватившись одной рукой за спинку кровати и отталкиваясь другой, он все-таки через некоторое время ухитрился приподняться и сесть. И кроме того: нашарив рядом на стуле халат, он сумел набросить его себе на плечи.

Несколько минут после этого, все еще не отпуская спинку кровати, Василий Васильевич сидел неподвижно, обдумывая свое очень не простое положение. Наконец в его сильно звеневшей и как бы опустошенной голове мелькнуло некое подобие мысли, заставившее Прошина потянуться к прикроватной тумбочке и нажать вмонтированную в нее кнопку звонка.

Тотчас вслед за этим высокая дверь в спальню приотворилась, и в бледном свете раннего утра возникла субтильная фигура домоправительницы Алевтины.

– Доброе утро, Василий Васильевич! – бодрым шепотом приветствовала она хозяина, косясь при этом на соседнюю кровать, где мертвецким сном, булькая и похрапывая, спала его супруга.

– Алевтина Викторовна! – слабым голосом заговорил Прошин, – у меня к вам будет просьба: найдите поскорее в шкафу в передней такие здоровые с металлом на подошвах ботинки. Ну, которые мне в прошлом году америкашки подарили...

Невероятно тяжелые эти ботинки он, разумеется, ни разу еще не обувал. Однако именно сейчас, когда он как бы перестал быть хозяином собственного тела, они могли бы очень пригодиться.

Пока Алевтина разыскивала нужный ему предмет одежды, Василий Васильевич при слабом свете ночника натянул на босые ноги носки, а потом не без труда влез и в брюки. Некоторое время после этого он сидел совершенно неподвижно, отдыхая от тяжелой работы.

Тем временем в дверь опять деликатно постучали и, согнувшись под тяжестью заморской обуви, в спальне снова возникла Алевтина. Поставив на коврик у кровати два гигантских толстокожих ботинка, она со вздохом облегчения выпрямилась.

– Завтрак уже готов, Василь Василич...

Едва Алевтина скрылась за дверью, как Прошин сразу же сделал попытку сунуть ноги в зияющие жерла ботинок. Когда это ему наконец удалось, Василий Васильевич тотчас же почувствовал, что положение его кардинальным образом изменилось. Неумолимая сила, недавно волочившая его неведомо куда, теперь отступила перед мастерством техасских обувщиков. Но одновременно он теперь чувствовал и другое: ему казалось, что к его ногам подвесили по пудовой гире.

Василий Васильевич отнял наконец затекшую руку от спинки кровати и, убедившись в том, что положение его упрочилось, сбросил халат, натянул на свое, непривычно жесткое сейчас, тело сначала майку, потом отглаженную белую рубашку и, оттолкнувшись от кровати, встал наконец на ноги.

Не очень уверенно – как ребенок, делающий свои первые шаги, – он двинулся к двери, растворил ее и прошел в ванную комнату. Умываясь, он старался отворачиваться от зеркала, в котором отражалась его сильно изменившаяся за ночь физиономия. После водной процедуры ему оставалось только повязать галстук и натянуть новый с иголки пиджак.

Но оказавшись в столовой, Василий Васильевич при одном взгляде на дымящуюся в тарелке овсяную кашу, еще вчера любимую им, вдруг почувствовал необоримое отвращение к еде.

– Не успеваю! – соврал он, не глядя на Алевтину, застывшую у стола с кофейником в руках, – в офисе перекушу...

Он повернулся и двинулся к кабинету, чтобы забрать там портфель с докладом. В передней на вешалке Василий Васильевич прихватил плащ с теплой подстежкой и вышел на площадку к лифту.

Едва он ступил на тротуар, как сырой ветер с размаху швырнул ему в лицо горсть холодных капель, но Прошин так ничего и не почувствовал. Он подошел к своей притулившейся возле тротуара машине. На переднем сиденье шофер Иван был погружен в чтение газеты «Аргументы и факты». Василий Васильевич приоткрыл заднюю дверь, бросил сначала тяжелый портфель, а затем влез и сам. Иван сложил газету, добродушно поинтересовавшись:

– А чего не спереди?

Не получив ответа, он повернул голову, всмотрелся в бледное безжизненное лицо своего работодателя и констатировал:

– Хреново выглядите, Васильвасильч. Грипп, что ли, где схватили? Можно сказать, краше в гроб кладут...

В ответ на это Прошин лишь вяло махнул рукой и велел ехать побыстрее. Не дай бог опоздать сегодня...

Он и не опоздал. К величественному зданию на углу площади, окруженному вазонами с елками и толпой молодых охранников, одна за другой подъезжали дорогие машины. Его водитель еще издали углядел место, куда припарковаться, и причалил туда, опередив других.

Войдя в вестибюль, Василий Васильевич попытался взять себя в руки и пересечь холл твердой чекистской походкой. Однако лягз подбитых стальными подковами ботинок по мраморному полу сразу же привлек к Прошину излишнее внимание окружающих. Более того, кое-какие его знакомые, также спешащие на конференцию, не преминули обратиться к нему с вопросом о здоровье. Но на все участливые расспросы он отвечал односложно: перенес гриппозную инфекцию.

Так, в толпе похожих на него самого манерой одеваться и разговаривать людей, Василий Васильевич поднялся по широкой лестнице в зал и занял место в первых рядах. Впереди, на сцене, стоял длинный стол под зеленым сукном, уставленный бутылками с газировкой. Вдоль стола ходила пышнотелая светловолосая секретарша и раскладывала блокноты для записей.

Наконец члены президиума заняли свои места, Председатель произнес короткую вступительную речь, и первый докладчик подошел к трибуне. Но и его, и следующего за этим оратора Прошин слушал, что называется, вполуха. Все его внимание было приковано к ботинкам: надолго ли они смогут удержать его здесь? Не случится ли на глазах столь уважаемой публики нечто непоправимое, когда карьера его будет полностью загублена...

Тем временем очередной докладчик захлопнул свою папку и спустился в зал. Председатель, переждав жидкие аплодисменты зала, назвал его фамилию. Василий Васильевич мгновенно приподнялся, выхватил из портфеля аккуратно сложенные листочки и, держа их перед собой в обеих руках, поднялся к кафедре.

Тема его доклада касалась экономических взаимоотношений с рядом бывших южных республик СССР, население которых Василий Васильевич наедине с собой или в кругу близких приятелей называл не иначе как «черножопые».

Утвердившись на трибуне, Прошин уложил справа от себя всю пачку исписанной бумаги, взял в руки первую страничку и начал ее зачитывать. Однако дальше этой первой странички дело не пошло. Ибо как раз в этот момент в зале, где заседала высокая конференция, произошло неожиданное ЧП.

Мимо осоловевших от докладов охранников по мягкой ковровой дорожке, мимо рядов столь же осоловелых слушателей вдруг промчался, словно ворвавшийся с улицы порыв ветра, вихрастый паренек в распахнутой джинсовой куртке, на правом рукаве которой отчетливо видны были три буквы: «НБП». Совсем немного не добежав до сцены, парень размахнулся и метнул в стоящего на трибуне Василия Васильевича что-то тугое, круглое, красное. На новом пиджаке докладчика вдруг расплылось большое, как бы кровавое пятно из помидорного сока, а сам он рухнул навзничь, мгновенно исчезнув из поля зрения потрясенных слушателей.

Опомнившиеся охранники уже навалились толпой на молодого террориста, заломили ему за спину руки, тащили его вон из зала.

Меж тем вокруг поверженного Василия Васильевича толпились члены президиума. Они пытались ослабить узел его галстука, брызгали на него минералкой, однако упавший все еще никак не приходил в себя. Пышнотелая секретарша, не без труда присев на корточки, попыталась прощупать его пульс. Но едва дотронувшись до ледяной руки Прошина, охваченная ужасом, она прокричала срывающимся голосом:

– Он же мертвый!!! Его убили! Его уже нет с нами!!!

Охранники, застрявшие в дверях вместе с сопротивляющимся террористом, услышав ее крик, не скрывая злорадства, дали еще тумака злосчастному лимонov-цу, проговорив:

– Ну, сучонок, угробил человека! Теперь тебе не иначе как пожизненная светит...

Между тем Василия Васильевича и в самом деле уже с ними не было. Легкий, невесомый, он парил, невидимый для всех, под потолком, то и дело натываясь на изгибы пышной лепнины с ангелочками и рогом изобилия. Происходившее его чрезвычайно забавляло. Единственное, что не нравилось Прошину в раскинувшейся внизу панораме, это чересчур зауженные рукава его собственного нового пиджака. Отсюда, сверху, эта деталь его костюма просматривалась особенно хорошо.

– Вот сволочь портной! – сердился он, – говорил же ему, что шире надо рукава кроить!

Председатель президиума, бледный от волнения, севшим голосом взывал:

– Скорую!!! Вызывайте же, ради бога, скорую!

– Уже, уже, Николай Николаевич! – кинулась к нему секретарша, – вызвала! В нашу поликлинику звонила. Они уже едут...

И в самом деле, скоро в распахнутых дверях зала появилась группа людей, облеченных в белые халаты. Впереди один за другим шли по проходу два врача. Один с седой бородкой, которая делала его похожим на профессора, второй помоложе с короткой модной стрижкой. За ними следом шагали два санитары со свернутыми носилками в руках.

– Посторонитесь! Пропустите!

Остановившись возле лесенки, ведущей на сцену, доктор с бородкой громогласно обратился к столпившимся вокруг кафедры членам президиума:

– Где же наш больной?

Ему тотчас же отвечали, что больной лежит здесь, на сцене, за трибуной.

Оба доктора один за другим поднялись по ступенькам на сцену, в то время как санитары, поставив на попу носилки, остались ждать внизу. Председатель президиума, кратко представившись медикам, стал объяснять суть случившегося инцидента.

– Докладчик, – сказал он, – только начал зачитывать свой текст, как вдруг потерял сознание...

Жестом руки доктор остановил его монолог и велел немедленно очистить от людей сцену, разрешив остаться здесь одному лишь Председателю. После этого оба доктора склонились над неподвижно лежащим на полу больным. Молодой доктор, вытянув из нагрудного кармана стетоскоп, приставил его к сильно затвердевшей груди Василия Васильевича. Старший врач, завернув рукав рубашки, с интересом изучал состояние его кожного покрова. Затем, одарив друг друга многозначительными взглядами, врачи попытались согнуть в локтях руки пострадавшего, обтянутые узковатыми рукавами пиджака. Последнее, что они сделали, это перевернули тело на живот и задрали на спине подол белой рубашки.

После этого старший врач выпрямился и бросил на Председателя, напряженно наблюдающего за их действиями, полный иронии взгляд.

– Как вы говорите? Этот человек читал вам здесь доклад?

– Конечно! – поспешно отвечал Председатель, – но успел ознакомить нас лишь с несколькими тезисами. Поскольку в зал ворвался распоясавшийся лимоновец, который швырнул в него помидор. После этого он сразу упал и потерял сознание. Скажите, он убит или ранен?

– Не порите чушь! – сердито крикнул доктор, – во-первых, убить помидором никого нельзя. А во-вторых, этот человек не мог читать здесь никакого доклада. Поскольку он мертв уже не менее пяти часов. Очевидно, что скончался он где-то на рассвете...

– Что? – выкрикнул заметно побелевший Председатель, – но тут все присутствующие видели его на трибуне и слышали его выступление...

– Подойдите-ка сюда, – позвал его врач, – посмотрите на его спину. Вы видите эти чернильные кляксы на его теле? Это называется трупные пятна. Они появляются на теле спустя три-четыре часа после смерти. Так что остается предположить, что доклад вам здесь зачитывал покойник, не иначе...

Еще более побледневший Председатель поспешно попятился назад от бездыханного тела своего сотрудника, а зал, жадно ловивший каждое слово врача, издал в этот момент долгий протяжный, прокатившийся по рядам звук. Не то стон, не то вопль...

В то время как сам Василий Васильевич, болтающийся под потолком, словно выпущенный кем-то из рук воздушный шарик, веселился необыкновенно. Он был бы не прочь еще долго оставаться зрителем столь яркого, захватывающего спектакля... Однако этого у него не получилось. Внезапным мощным рывком его сдернули с места и поволокли куда-то вверх, словно взлетную на крюк неживую коровью тушу...

МЕРЫ ЗЕМНОЙ ОКОЛЕСИЦА...

Из «Поучений Пта Хотеп»

Переполнилась Долина Царей.
Из Чертанова метро на Луксор
(прислониться не хватает дверей)
отменяет расстояний засор.

Пограничная погрешность среды.
Переправа необузданных тел.
Нераспавшаяся участь орды –
след простыл, понеже дух отлетел.

Добираемся до сути Времени
перегонами казенных пустот
и неважно, кто кому гегемон,
прозелит или забытый рапсод.

Все подземки – артефакт, палимпсест,
пирамида катакомбной сети.
Возвращаемся домой, как Рамзес,
с пересадками на Млечном Пути.

* * *

Блядью последней, как ижица,
буду из парка Чаир –
на представлениях зиждется
несуществующих мир.

Выйду не хуже предателя
нечеловеческих мук.
Липой раствора и шпателя
выложен остов наук.

Речь – записная скиталица,
в лоб приговоры и в зад.
По срамоте обретается
незаживающий взгляд.

След оборота урочного,
плоти конечный ушив –
облачко безоболочного
в небе устройства души.

Смысл расставания (саммита)
от сотворения наг,

МЕРЫ ЗЕМНОЙ ОКОЛЕСИЦА...

равенства заживо – замертво
непостижимого знак.

Света всегдашняя праздница,
даже неравно ни зги,
время – сложения разница
междуусобной лузги,

меры земной околесица,
правды чужой ремесло.
Радуга лучшая лестница
для перехода в число –

ниже, на уровне, выше же,
дюже, зело и весьма –
всех окончательно выживших,
по существу, из ума.

* * *

Я не вместо, а зверем входил, обращенным, в клетку
подворотни глухой, под засовный скрежет
до утра перетихшей трамвайной ветки,
между прежним посредник и тем, что брезжит.
Между городом и переходом его же в область
мифологии, даром, когда самому за двести
в пересчете на вечность, где время давно не образ
течки, но переменная сути на ровном месте.
И не локти, а ломти кусал своего позора,
и не в воду глядел, а следил за порядком бедствий
первородных – за каждым аврал «из какого сора»,
аппетиты растут и берется «Великий Гэтсби».
Вместо якоря лишнее слово пытался бросить
на бумагу, что стерпит земных поражений мелочь.
На стене проступает неловкой побелки проседь,
за оградой витает разбитой дороги немочь.
Эликсир неразбавленный к ночи меняют ракурс,
виноградный излишек точнее стрельбы по целям.
Переплавленный в дружбу сырок знаменует закусь,
Перечитанный – «Все, что я слышал» – пугает Целан.
Жестяной барабанит октябрь по оглохшей крыше,
за покоем полей – ледниковых кочуют орды,
перед долгим прощанием с теми, кто был, да вышел,
пономарь благодарности с Гиннесом бьет рекорды.

* * *

Дубровник. Публика в обойме
зажатых улочек. Осип
от крика выпавший из бойни
на чей-то жребий Царь Эдип.

По непроверенным, подкидыш,
отказник, висельник, шпана –

шлея истории на вытяжь –
хоть вежды выколи, темна.
Причина прежняя – ошибки
больших писак и наш отказ
вглядеться в свежие подшивки
изображений Иокаст.

Софокла вечная премьера
поочную цыганит течь,
включая страхи маловера
и зуб на эллинскую речь

в сюжетный скарб. Под лунным срезком
развязки близится подкоп.
Подстрочник на хорватско-сербском
в расход выводит фильмоскоп

на стену вместе с мотыльками.
Молчит Зевес, как истукан,
по Фрейду разводя руками
от Пиренеев до Балкан.

* * *

Круглым, как даты, чья норма двойная,
ночи, как счеты, сводя,
крутит динамо нагая Даная,
ждет золотого дождя.

Ждет-не дождется, к досаде, осадки
в Греции чаще редки,
метеосводки на точность не падки,
на перепады легки.

Стены глухие, как евнухи к плоти,
мысли темней, чем рабы.
Если б не промахи старых полотен,
их толмачей, да кабы

не одолел арсенал ауспиций
с гущей кофейных примет.
Пиццу клюют на обочине птицы,
пифии сходят на net.

Если б мадьярка на берег Дуная
вышла под новый мотив,
не родила б дискобола Даная,
мир не пришелся б на миф.

* * *

Поэт в России больше, чем омлет
из двух яиц на блюде постпространства
известного, где ныне дух гражданства
горой за мух отдельно от котлет.

Тому, чей знак поставлен на поток
Неравенства, свободного от братства,
отпущены халдейство и пиратство,
приписки и зачистки между строк,

семь пятниц на неделе, а в году,
неделя без которого – в эфире
мочить подряд, а не молить о лире,
поскольку перелирие во рту.

Поэт в России большой раритет,
чем трезвенник, но многоточье зрений
стирается за фокусом нацпремий
и плавно переходит в нацфуршет.

Династическое письмо

Письма династии Минь –
длинных традиций дань,
чисто: «Проверено, мин
нет», и цветет миндаль.
В золоте клетки сад,
в трелях лукавит птах
с креном на адресат
(не заводной, а так).
К прутьям привит вьюнок,
стража второй из лун
дремлет без задних ног,
что ей учитель Кун.
Часом неровен флирт
сонных мужей и лис.
Четками сыт нефрит,
голоден в чеках рис.
Правилам несть числа
без исключений, от
первых людей весла
до отщепенцев вод.
Лавой по край земли
поиск идет врага,
в тысячу тысяч ли
разнствуют берега.
Стены – удел границ.
Люди, опасней мин,
брошены чохом ниц
на алтари. Аминь.

* * *

Не пишется. А так – ни с чем и ниоткуда.
В расчете на одни, другие наживать
долги. Мелькнет во сне надежда-барракуда,
и липкий, как июль, с ногами на кровать
случится страх. Беда по ведомству Гефеста,
античный адюльтер, языческий роман.

С огнем под облака пошаливает феста,
под именем своим скрывается обман.
Не там ли, где болид стремится на подмогу
желаниям зевак, по скорости змеясь,
постигшая себя «пустыня внемлет Богу»
и звезды заодно налаживают связь.
Счастливой, как зима, чьи песни по привычке
наигрывает ты на дольках тростника,
не там ли, отворив соцветия кавычки,
сбывается апрель – настройщик языка.
Попытки наугад нуждаются с лихвою
в подробностях о том, что до и после нас,
от басен пастухов про Дафниса и Хлою
до баек про потоп и прочий ватерпас.
Легенд невпроворот в запасе у патрона
небес. Аперитив похож на валидол,
пока официант, посыльный Посейдона,
морских осколков блеск не выложит на стол.

* * *

Минутная заминка, как цитата
из хроник уцелевших внеземлян.
Действительность – последняя заплатка
на месте, умножающем изъян.
Вчерашнее поделено на скорость
утечки информации вельми.
Покамест голова не раскололась
от боли, одиночество прими
как есть. И поношения от сердца
мотай себе на ус и не тужи,
когда страна в бреду тирановерца,
прикинься по возможности чужим.
По мере умножения напраслин,
малейший выгораживай предлог.
Три Короля заглядывают в ясли,
как пастухи, не здесь ли Бэби Бог.

* * *

С боем на дно пробиваются сваи.
Город обжит рекой.
К нам без труда охладели трамваи,
снятые как рукой.
Прозвища улиц, одежды и лица
вкривь разошлись и вкось.
Целые жизни по случаю длиться
приноровились врозь.
Дни на крыло, как газетные утки,
встали – поди сочти.
Злые с годами играют шуточки –
Дантовы щели чтив.
В сговоре с Музой любая деза,
не отыскать укром.
Самое время язык подрезать
чинным, как нож, пером.

ОТДЫХ В ГРЕЦИИ

РАССКАЗ

Итак, звучали цикады. Я с некоторой опаской употребляю слово «цикады», потому что вычитал у Набокова что-то вроде «которых почему-то называют цикадами» – а кому и знать, как не Набокову, где цикады, а где не цикады. Порицаемые, точнее, элегантно поставленные Набоковым на место авторы, имели в виду, вероятно, каких-то необычных для их уха кузнечиков, и не удержались, по слабости своей, от экзотического, северянински-красивого слова «цикада». Цикада – это что-то вроде кузнечика, верно? Уж на это-то я могу рассчитывать? В общем, в дальнейшем этих существ, если о них пойдет речь, я буду называть цикадами. Надеюсь, что я не оскорблю этим память великого писателя.

Цикады звучали. На что похож звук, издаваемый одновременно миллионом цикад? Прежде всего, необходимо сказать, что их звука очень много. К нему быстро привыкаешь, но если остановиться, прислушаться, то этот звук, мощный, стереофоничный, моментально оккупирует все твоё слуховое пространство. Что касается тембра, то он напомнил мне расходившуюся панцирную общежитскую кровать, только здесь кровати были совсем махонькие, для каких-то очень маленьких и милых сказочных человечков. Эти крохотные панцирные сетки, миллион сеток, часто-часто вибрировали, издавая крошечный, но все-таки панцирно-сеточный звук. Впрочем, иногда мне казалось, что это не кровати, а много-много крохотных трескучих насосиков, которые все что-то качают, качают, качают, очень быстро и безостановочно. Цикады есть почти всюду, где есть растительность. Странно их постоянно слышать, да не просто слышать, а прямо-таки тонуть в их звучании, и не видеть при этом ни единой цикадины – прямо какая-то мистификация.

Эвкалипты, кипарисы, пинии. (Опять, слово «пинии» я пишу, втянув голову в плечи, боясь, как бы какой-нибудь новый Набоков не пригвоздил меня к позорному столбу.) Какая мягкая, добрая хвоя у пинии! Просто приглашает ладонь отдохнуть, побыть в ней. Однако хвоя пинии, благоволя глазу, разочаровывает руку – она вовсе не так мягка на ощупь: колется, сопротивляется. Но разочарование длится недолго. К покалыванию привыкаешь; очень похоже кровь иногда покалывает пальцы изнутри. Пинии имеют корни также и сверху, возносятся ими ввысь. Эти верхние пиниевые корневища покрыты мягкими хвойными облаками. Хвоя пинии кажется сплошной, во всяком случае, такой запоминается; хвоя наших-то сосен состоит все же из иголок.

Кипарисы, старые друзья. Их я помню с самого детства, с тех самых старых добрых времен, когда мы с родителями выезжали летом на юг. С этим деревом у меня связано одно печальное недоразумение: как-то раз я прочел у Бунина – «чернели кипарисы». И везде дальше: «черные кипарисы». Бунин прямо-таки настаивал, что кипарисы черные. Сколько ни тарасил я на них глаза, при самых разных освещениях, мне ни разу не посчастливилось увидеть кипарисы черными. Ну, разве что когда совсем темно и все, на что не падает прямо свет, становится

черным. Зеленые они, хоть тресни. Я был подавлен. И как будто для того, чтобы довершить мое посрамление, я не только у Бунина (у Олеши? у Катаева? у того же Набокова?) прочитал про черные кипарисы. И у Пушкина – «темные кипарисы». И он туда же. Спасибо, что хоть не черные. Здесь, впрочем, я готов на компромисс – кипарисы, действительно, темно-зеленые.

Эвкалипты. Я издавна люблю и уважаю их. Благородная потертость эвкалиптового листа, его светло-зеленый, немножко морской цвет. Эвкалиптовая кожа, которая кое-где свисает, перепутавшись, со ствола, как будто кто-то то там, то сям принимался чистить эвкалипт, как банан, недочистил и бросил. Странно думать, что когда-то эвкалипты были только в Австралии. Теперь они есть, я думаю, в каждой южной стране. Помню, еще совсем пацанчиком я был с отцом в Батуми. Мы долго шли под не дающим ни на секунду забыть о себе солнцем, в парниковой духоте и вдруг очутились в тени, в полумраке, в прохладе. Я до сих пор хорошо помню именно внезапность этого перехода. «Бабушка!» – вдруг осенило меня. Это были эвкалипты. Но почему бабушка?

...коричневый комод, старый, реликтовый, занавески с лебедями, панцирная кровать у одной стены, панцирная кровать у другой стены, я знаю, под матрасом одной из кроватей подложена фанера, чтобы дедушке спать на твердом, ковер над бабушкиной кроватью, где изображена тройка, за которой гонятся волки и вот-вот настигнут ее; здесь каждый день после обеда мне устраивают тихий час, и я изнываю этот бесконечный час, глядя на удалую тройку и на занавески с лебедями, бабушка и дедушка тоже ложатся вздремнуть после обеда, и этот час (или сколько там) действительно тихий, только изредка взревет на углу автобус, или мамаша позовет с балкона свое дите, а потом, наконец, дедушка откашливается, отхаркивается, кто-нибудь из них произносит первые слова, проходит на кухню мимо моей двери, так явственно, так близко, как будто прошли мимо самого изголовья моей кровати, а не за дверью, я начинаю волноваться, когда же, когда, я знаю, что избавление близко, меня обуревают нетерпение у самого финиша, наконец, дверь внезапно распаивается, я торжествую, тихому часу конец, комната сразу наполняется домашними звуками, жизнью. Я иду в туалет, а может быть, на кухню.

Ах да, иногда бабушка извлекала из комода пузырьки с эвкалиптовой настойкой. Мне очень нравился этот диковинный резкий запах.

Мы с отцом вошли в тень эвкалиптов, мы очутились среди этих больших деревьев – как бы следующего, большего по величине калибра. От них веяло доброй, защищающей тебя силой, эти добрые и сильные деревья дали нам приют от здророва доставшего нас, слепящего и парящего солнца. Запах был от них слабенький, не то что шибящий в нос запах из комода. Тогда же, впечатленный могучестью, размахом эвкалиптов, я вспомнил о легендарных секвойях, понимая, конечно, что эти деревья совсем уж другого, непредставимого калибра. Но как я обалдел, узнав знакомый запах в месте как нельзя более удаленном от уютной бабушкиной комнатки, от комода!

...на кухне выцветшая клеенка на столе, тяжелые серебряные ложки с несколько загнутыми внутрь краями; я скромно гордился, что у нас серебряные ложки, доставшиеся нам... Как они нам достались? Забыл. Ложки своей крупностью, круглостью, увесистостью как бы даже зывали к тому, чтобы давать ими по лбу непослушным, капризным детям; у нас такого, впрочем, не водилось. Трофейные бюргерские блюдца, с поблекшими от десятилетних пасторальными сценами на них; от блюдец, от сцен потягивало чем-то нездешним, и даже не просто нездешним, а именно немецким, хоть мурлычь под нос «ах, майн либер Августин», хотя непонятно, в чем разница – такой же патриархально-мещанский стиль, какой был, вероятно, и у нас; двухкомфорная плита; в широкогорлых, обещающих только здоровый образ жизни, короче, – кефирно-молочных бутылках некая разновидность кефира, носившая местное, казахское название «катык», катык вываливается из бутылки комка-

ми, еще не совсем утратившими цилиндричность. На окне – газетная борода от мух. Борода загадочно шевелится, как неторопливые водоросли на речном дне. «Гриб» в банке под марлей. Я очень любил его. Куда он делся? Куда делись эти грибы? И как они называются на научном языке? Приходишь бывало после трехчасового катания на велике, весь измотанный, пыльный, иссохший, бежишь на кухню, хватаешь банку с грибом за широкие круглые, крутые бока своими тогдашними маленькими ладошками, осторожно и в то же время как можно быстрее наклоняешь ее над чашкой, банка громоздка, неповоротлива, норовит выскользнуть, вернуться из рук... Потом пьешь, пьешь... Опять наклоняешь и опять пьешь. Видно, так и придется сойти в могилу, не отведав еще раз грибного напитка... А в нашем подъезде – полумрак и прохлада, особенно ценные, когда тыходишь сюда с уличного пекла, да и из комнатной настоявшейся духоты тоже. Здорово было, захлопнув за собой дверь, единым духом сбежать по лестнице и выскочить на двор! Еще лучше, если как раз перед этим во дворе побывала поливальная машина, и ты всей кожей вкушаешь прохладный, легкий водяной аэрозоль. Особенно кожей лица... А вот еще, например, выходишь утречком с дедушкой из дома, идешь некоторое время мимо стареньких, невысоконых хрущевских домов – двойников нашего, – затем поворачиваешь, и вот мы идем по пыльной аллее, обсаженной акациями, а вдали уже виднеется огромный и красный серп и молот на бетонном постаменте, на некоторое время он знаменует собой цель нашей прогулки; аллея кончается, мы переходим шоссе, полное рева и газов, и попадаем еще на одну аллею – точное продолжение старой, а серп и молот уже гораздо ближе, гораздо больше. Всего мы пересекаем не то два, не то три шоссе; оказываемся у серпа и молота. Солнце жарит уже вполне ощутимо, но настоящей, дневной жары пока еще нет. Все это время дедушка рассказывает что-нибудь из древнегреческой истории, я слушаю, слушаю... А потом мы входим в парк... Главное в парке – это, конечно, обширный бассейн с лебедями. Лебеди спокойно, прямо плавали. Они напоминали величественные струги. Иногда они что-то высматривали в воде и стремительно пронизывали шейю водяную толщу, что вызывало из каких-то моих собственных глубин ассоциацию с какой-то инъекцией. Без шей лебеди были сразу не лебеди, за эти несколько секунд становилось очевидно, что лебедь – это обыкновенная глупая птица, что-то очень прозаическое, вроде гуся с базара. Лебеди были с красными клювами и с желтыми клювами. Я подсчитывал, точнее, уже знал, каких было меньше, и к этим избранным относился с особым уважением. Не помню, чтобы мне надоедало смотреть на лебедей. Кстати, именно у этого бассейна я узнал от дедушки, что в Австралии есть черные лебеди. Я с почтением выслушал эту новую информацию. Надо же – черные лебеди! От лебедей естественно перейти к газировке, к газировочным автоматам, неприметно стоявшими поодаль от всеобщего оживления. К газировке у меня тогда было нечто вроде мании: мне грезилось, как я добираюсь до нее – и пью, пью, пью без отдыха, без перерыва; вероятно, это потому, что покупали ее мне редко и неохотно. Мне было стыдно просить дедушку купить ее, но часто страсть побеждала гордость. Дедушка очень добрый, но принципы есть принципы, и он, в основном, шутиво отказывал, приводя какой-нибудь шуточный, незамысловатый аргумент. Но все-таки он, по-видимому, верил больше в доброту, чем в добро, и иногда покупал бедному ребенку эту дрянь. А если я оказывался в парке с бабушкой? Ну, тут проси, не проси – нет. Нет – значит, нет. И начинать не стоит. Как-то раз у нас с моим лучшим другом Сашкой Середой образовалось некоторое количество мелочи, и мы, конечно же, решили «оттянуться», как сейчас говорят, по полной программе. Сам оттяг не помню, но помню, как мы еле бредем, лоя ртом воздух, по уже начинающему пустеть парку, и солнце уже предзакатное, светящее сбоку.

...А еще, в те времена и в тех местах, было дерево «карагач», от которого во мне осталось только название, – впрочем, вспоминаю темную, старую, какую-то

оскудевшую, всю изборожденную глубокими морщинами кору... нет, не вспомнить, мясо «сайгачина», о котором в наших северных, сугробно-еловых краях, насколько помню, тогда не слышали, пластилин по всей квартире, за который меня гоняли, а я не поддавался. Пластилин... О, сколько можно вспоминать о нем! ...рогатки с тоненькими резинками, иногда круглыми в сечении, иногда квадратными – большой и указательный пальцы, перекатывая между собой резинку, чувствуют маленький, но все-таки уголок; рогаточные пульки – обкуски проволоки, сглаженные знаки «<», всеобщее рогаточное помешательство, захватившее, конечно, и меня, конфискация рогаток милицией, рогаточные разборки между враждующими кланами – там рогатки модернизировались чуть ли не до уровня арбалетов; коробок спичек, на котором изображено: «XXX лет со Дня Победы», пышные тополя с толстыми, гладкими, блестящими от солнца листьями, такой лист вызывал во мне смутное желание взять его, как блин, обеими руками за бока и откусить от него смачный, сочный кусок... И полынь, полынь... Прибитая к земле полынь, не осмеливающаяся уходить от нее.

Вернемся, однако ж, в настоящее. Дорога перед отелем, где я живу, рассечена надвое газоном с выводком пальм на нем. Как ни благороден эвкалипт – пальма благороднее. Впрочем, эти пальмы были низкорослые, коренастые, в их толстых сильных стволах было что-то от ног мула, было что-то копытное в расширенных основаниях их стволов. Высокая пальма – это другое. Когда говорят о грации, благородстве пальм, имеют в виду пальмы высокие.

Между прочим, прислонитесь к стволу такой высокой пальмы, посмотрите вверх – и вы увидите вентилятор. Прислонитесь, посмотрите – а потом скажете мне, видели ли вы вентилятор или нет.

(Кстати, у вышеупомянутой дороги есть одно интересное свойство, скорее даже отсутствие такового – я нигде не нашел на ней пешеходного перехода. А машины носятся туда-сюда, поэтому ее нужно не переходить, а перебегать; на другой берег попадаешь с чувством крупной жизненной удачи.)

Вернемся на минутку к эвкалиптам. Все бы ничего, но только вот эвкалипт, как я недавно узнал, не дает тени. А я живописал переход из одуряющего солнца в тень. Как же быть? Я помню и тень, и бабушкин запах. Вероятно, смешал в одну кучу два близких по времени впечатления. А может, и не близких, может, далеких. Теперь уж не разобраться. Но поучительно.

Вернемся на минутку к цикадам. Цикады, как выяснилось, вовсе не кузнечики. Полумошки-полужучки какие-то, довольно противные вблизи. Разновидностей – тьма. Вот так. Поучительно.

Я на двухнедельном отдыхе в Греции, под Афинами. Чувствую я себя человеком относительно преуспевшим – особенно это чувство преуспевания проступает именно здесь, за границей: еще с советских времен заграничная поездка есть знак, а может быть, даже символ успеха для жителя нашей страны. Сейчас, когда многие побывали за границей, да и пускают теперь туда без проблем, эта аура сильно подрастала. Но что-то все же осталось. Да и в конце концов – все-таки не у каждого есть деньги, чтобы мотаться по грециям. Живу я в приличном отеле. (Не застав советских «гостилиц», я быстро привык к заграничным «отелям». Отели я делю на «плохие» и «приличные», я никогда не назову отель «хорошим», как, вероятно, разорившийся миллиардер не назовет хорошими те дыры, в которых ему теперь приходится ютиться. Сам я провел детство до четвертого класса в поселке городского типа за чертой города, в комнате, где жило пять человек, с общими деревянными сортирами во дворе – теперь вам, надеюсь, понятно, откуда идет мой снобизм.) В общем, если без дураков, отель у меня – превосходный. Он тенист и прохладен, как оазис. Здесь покой и достоинство, как в храме Божиим. В лифте звучит MTV, чтобы тебе не стало скучно за те пять секунд, пока едешь. В мое отсутствие в комнате производится уборка; после этого вид у нее прямо-та-

ки нежилой. Шведский стол по утрам, и обильный, более чем обильный, ужин с семи часов (как раз, кстати, тогда, когда врачи рекомендуют ничего уже больше не есть). В трапезной (не знаю, как ее называть, – не столовой же) сидишь среди двенадцати языков. Попадают и русские. Американцев, естественно, слышно громче всех, то и дело разносится их победоносная гнусавость. Вечерами здорово кайфовать в немногочленном баре, сидеть в его подсвеченном полумраке и пить соки и капучино, чередуя их с сигаретами. А по утрам славно выходить на балкон из кондиционерной прохлады – потрясающее ощущение контраста между прохладой и жаром. Хорошо прогреть свои старые кости. Перед моим балконом – бассейн. У бассейна лежат великолепно сохранившиеся сорокалетние женские особи, коричневые от длительной прожарки, старики с дряблыми животами и шишковатыми коленями, карапузы, семенящие за упрыгивающим от них надутым мячом. Кое-кто плавает или плещется.

А за бортом температура – 35 градусов. Солнце здесь не жжет, оно жгет. Очень жарко и сухо вокруг, море дает некоторую прохладу вблизи себя, но оно бессильно против ощущения беспощадной сухости – я все время помню, что вода в море морская, ее нельзя пить. Впрочем, сухая жара несравненно лучше, чем влажная, так что жаловаться не на что. Мой отель, конечно, не единственный здесь, их тут целое скопление; стало быть, мой оазис – не оазис, а лишь часть этого большого, всеобщего оазиса; впрочем, не совсем всеобщего – пускают сюда только тех, кто здесь, так сказать, прописан. Если выйти на балкон моего номера, то увидишь (за бассейном и прочей курортной дребеденью) горы очень близко, они крутые, скалистые, дикие, кажется, когда смотришь на них, что человек там никогда не бывал, более того – на них даже ни разу не падал человеческий взгляд. Но по контрасту с горами, если повернуть голову чуть вправо, хорошо виден – тоже очень близко – небольшой городок – даже поселок, если сказать по-нашему, – мирно, комфортно, надолго (навсегда) обосновавшийся у подножья этой горной гряды. Городок, этот средиземноморский райцентр (здешнее море называется Эгейским, но не столь это важно), слухом не слыхал ни о каких диких горах, ни о каких необитаемых землях. Так он и соседствует с суровой горной грядой; они как бы служат живым отрицанием друг друга, но так и продолжают сосуществовать. После городка горы тянутся недолго, они резко обрываются в море. И дальше море, море, море. Море без берегов. А если повернуться на 180 градусов (мы все еще стоим на моем балконе), то мы увидим первым делом, конечно же, мой номер, но если мысленно пробуравить его взглядом, то через пару-тройку километров мы опять увидим море. Море без берегов. Мы на краю земли. На мысе Доброй Надежды. (Название-то какое, Бог ты мой!) Есть только одно направление, где мы не окружены ни горами, ни морем – это направление на Афины; туда ведет длинное и скучное шоссе. А так – мы почти отрезаны от большого мира, только это шоссе связывает нас с ним, и то по нему нужно долго ехать, прежде чем, наконец, начнет появляться город. Почти все здешнее небольшое побережье – один сплошной пляж. Море видно почти отовсюду. Ресторанчики, забегаловки. Микромагазинчики, почти, в сущности, киоски, где продаются кепки, соломенные шляпы, газеты на многих языках (русского нет), прохладительные напитки. Местных жителей, кстати, тоже полно; чуть поодаль от скопления всего курортного начинаются уже их скромные белые жилища. Еще чуть дальше, в другую сторону – городок у горной гряды, про который я уже говорил.

Здесь нет руин, Тесеев и Персеев, здесь местное южное население, плохо сочетающееся с представлениями об античности, но все равно: сейчас я – частичка Греции. Мы как бы вне всего. Просыпаюсь я безо всякого будильника, прекрасно выспавшимся, как раз чтобы неспешно свершить утренний туалет и выйти к завтраку. Это дома нужен будильник, чтобы каждое утро с усилием продираешь глаза. После завтрака я возвращаюсь к себе в номер, беру свою соломенную

шляпу; сбегаю единым духом по свежевывытой лестнице, от которой веет влажной прохладой, двери отеля бесшумно расступаются передо мной, и вот я на вольном воздухе. Стоя на ступенях, я как будто еще раз просыпаюсь (балкон не в счет, с него все кажется каким-то чуть-чуть игрушечным). И я следую, как это у меня уже заведено, по своему обычному маршруту, чувствуя себя немножко Кантом, который, говорят, в этом вопросе был весьма консервативен; по его прогулкам горожане даже проверяли часы. Такой точностью я похвастаться не могу, но ведь я же далеко не Кант. Звенят цикады. И я иду. Перебегаю, шустро семена, дорогу и через ограду вижу слегка волнующуюся синеву моря и сам становлюсь чуточку взволнованным. Я знаю, море прохладное, несмотря на длительную предшествующую жару. Волны, ласковые издали, но вполне ощутимо шлепающие тебя по ноге, по спине. Надо купить банку пепси-колы, так у меня заведено. Гречанка-продавщица настолько прекрасна, что глаза каждый раз отказываются поверить в увиденное, хотя видели они ее всего лишь вчера. Я чувствую в животе холод и пустоту, когда первый раз за день вижу ее. Пока даю ей деньги, беру банку и сдачу, я чувствую, что я где-то не здесь, на каком-то небе. Не иначе на седьмом. И почему-то так обидно думать, что она забудет меня.

Наконец, кончается полоса пляжа, кончаются прибрежные ресторанчики. И мой путь заканчивается скалистым обрывом. Я спускаюсь к воде. Ничего вокруг меня, только камень да вода. (Небо над головой.) Ну, разве еще какой-нибудь любитель уединения расположился где-нибудь вдалеке. Я остаюсь в плавках, достаю полотенце и ложусь на него.

О чем я думаю, лежа под обрывом у моря?

Да так. О многом. Обо всем.

Время затишья. Море плещется каким-то домашним, комнатным плеском.

Я вспоминаю, что я есть. Бывает, знаете, вода нальется в уши после купанья, и ходишь, недослыша. Я так и живу – с водой в ушах. И только сейчас вода вылилась из ушей. Помните ощущение тепленькой водички, вдруг образовавшейся в ухе? слышимость резко обогащается множеством ранее не слышимых звуков, звуковых оттенков. Да, я все-таки действительно существую. Да, теперь я вижу, что я существую.

Закрываю глаза и чувствую, как я парю, парю. И нету мне ни дна, ни крыши.

Зеленые кольца перед закрытыми глазами.

Жаль, что нет чаек. Я, как это положено, долго-долго провожал бы их в небе глазами.

Море иногда чуть добрызгивает до меня.

Вся жизнь проходит передо мной бесконечными титрами.

Кто я? Я старик, вышедший из темного и промозглого дома на завалинку, на солнышко. Я обломок. Хорошо старику, обломку кораблекрушения, греть свои старые, почти не прогреваемые, как океаническая глубь, кости. Там тьма и холод.

Я старый простреленный солдат с деревянной ногой. Как будто я не покидал окопов Сталинграда лет двадцать, с тех пор, как у меня начал ломаться голос. Я воевал больше чем полжизни.

И теперь ветеран лежит и перебирает в памяти все, что там всплывает.

Дожил ли он до Дня Победы? Не знаю. Война-то хоть закончилась? Будем надеяться...

Я понял, что моей жизни пришел конец, и мне ничего не остается, как просто доживать ее. А в чем разница между «жить» и «доживать»? Жить – это когда не знаешь, что будет дальше. А доживать – это когда все наперед знаешь. Я знаю все наперед. Потом меня закопают. Жирная точка. Жирная, как тот чернозем.

Я умру, а кислые зеленые яблоки так и будут покачиваться на ветке, прячась в яблоневых листьях. И осеннее солнце будет играть на них.

Все дальше относит меня от моего детства. От моих лопухов, от моих одуванчиков.

И все-таки я надеюсь, что в жизни смерть – не главное.

«В этот ранний час на озере, в лодке, возле отца, сидевшего на веслах, Ник был совершенно уверен, что никогда не умрет».

Привет моему отцу. И поколению моего отца.

Я жил, потому что хотел выжить. А почему я хотел выжить? Тут, по-моему, был не один страх смерти. Я как-то чувствовал, что обязан жить. Что жить – надо. А откуда взялось это чувство, – я уже не знаю.

А впереди еще много дней. Будут еще какие-то люди. Какие-то обстоятельства. Проблемы, проблемки. Неприятности. И приятности тоже будут. Вот как сейчас, например. Лежать у моря с закрытыми глазами или смотреть, лежа навзничь, на небо. Музыка и книги, города Европы, джунгли Суматры, пустыни Азии. Еще не раз обожрись гармонией, всласть урыдаюсь – над вымыслом, над былью, над чем угодно.

Я иногда испытываю печаль, но отчаяние – никогда. Довольно. Мне надоело отчаяние. Мне надоело страдать. И я перестал.

Я спокоен и медлителен, как солженицынский экз.

Своей жизнью я доволен. Честно.

Я гнушаюсь любых поз, всяческого гениальничанья, замашек проклятого поэта. Я хочу выглядеть как можно более обыкновенным, видя в этом свою высшую честь. А был грех, был грех, не гнушался. Это очень большой соблазн: он сгубил не одного и еще многих сгубит. Пьянство. Безобразия. Ходишь вечно небритый, вонючий. Но я преодолел соблазн.

Теперь – я чистый. Бритый, мытый. Я встаю по будильнику, работаю, занимаюсь делами; вечером – чтение, музыка, иногда фильм по ОРТ после программы «Время». Все. Точка.

Я сказал, что все мне ясно в моей жизни? Да. Но мне еще останется воронье, орущее, кружащее над черными деревьями в трескучий, скрипучий мороз, туман, поднимающийся от реки летним утром, мерцающий перелив огней далеких новостроек, летний ливень, жарящий на лужах глазунью из тысячи яиц, сухой, свежeproсохший после зимы апрельский асфальт, с песчинками, влекомыми, гонимыми по нему ветром, и апрельская же шина огромного грузовика, пыльная, с прилипшим к ней серым комком сухой грязи, недосыгаемый солнечный блик от асфальта, зовущий и зовущий тебя у горизонта, – а ты жмешь и жмешь на велике, неухоженный пруд, где цветет ярким цветом яркая зеленая ряска, плавают утки, – вот одна часто-часто забила своими щипцами, плывя равномерно вперед, поедая ряску, и образовавшиеся на мгновенье берега ряски мгновенно смыкаются за ней, морозные узоры на троллейбусном окне, мелкая, мелко завивающаяся снежная стружка из-под ногтя, застывшее озеро, пузыри во льду, лесная тропинка, пересеченная могучими сосновыми корнями, и раз уж мы там – непобедимая армада неотвязного, ненасытного комарья, маковая начинка муравейника, сыроежки, мох, бледная брусника, роскошный, искрящийся, как шампанское, снег, твердая прямая лыжня, грязный, зернистый наст, предгрозовое небо и город в розовых отсветах, толстый слой сырых желтых листьев, понесшийся плоским стремительным потоком по земле, сорванный с места осенним шквалом, осенние листья стремительны, но все-таки сыры, тяжелы, а вот весенние легки почти так же, как сам весенний воздух, они несутся не зная удержу, взмывая, подпрыгивая, кувыркаясь, да и ветер другой, весенний, лягушки, самоубийственно повыпрыгивавшие после дождя на асфальт из своих трав и мхов, чтобы погибнуть на асфальте под велосипедными колесами, мы ходили с бабушкой по дачным местам, и нам все время попадались эти размазанные лягушки, как свеж воздух после дождя! и его как будто даже стало слишком много, как-то даже немножко давишься им, но я не помню, может, мне приснились эти лягушки?

Природа – последнее прибежище того, кого обманули люди. В стихах создан настоящий культ природы. Байрон о природе. Тютчев о природе. Бунин о природе. Я-то знаю, откуда взялась эта фанатичная любовь к природе. Потому что деваться некуда. Не к добру это, когда человек слишком любит природу. Знаю по себе. Чем дальше, тем лютей я ее люблю.

Что высоко перед людьми, то мерзко перед природой. Бултыхаешься, бултыхаешься среди людей и не видишь природу. Потом остаешься наедине с ней. И все так же не видишь ее, все так же не видишь. Проходят дни. И вдруг наступает момент, когда ты...

Случаются и темные периоды. Основная трудность – просто переживать их и не слушать, что нашептывает тебе бес. Не дергайся. Тебе некуда улучшать свою жизнь. Некуда. Если б было куда, так давно бы уже улучшил. Вот разбить ее, сломать – это ты можешь, думая при этом, что ты не ломаешь, а строишь. Жизнь есть жизнь. Оставь всякую надежду. Эту фразу можно с тем же успехом повесить и у входа в рай – и будет все равно страшно. Когда у тебя нет надежды – это всегда страшно, неважно, где ты живешь, хоть бы даже и в раю. Потому что человек не может жить без надежды. Не может, но, однако, живет. У меня нет надежды, но я живу. И утешаю себя тем, что, в конце концов, все, что со мной происходит, – это всего лишь жизнь, не больше.

Не бойся, это всего лишь жизнь.

Я стал настолько последовательным в своем неприятии жизни, что оно стало похожим на приятие.

Все бегаешь, бегаешь от доживания, ты еще страстно хочешь жить, но не получается, и наконец смертельно устаешь, и капитулируешь: будь что будет. Я согласен доживать. Акт о безоговорочной капитуляции подписан.

Интересно: мудрость и усталость – это одно и то же или разное?

Я живу среди *первичных категорий*. Потому что я отбилсь от стада. Человек не может жить вне стада. Можно как угодно долго спорить о природе человека, но что он животное стадное – в этом у меня нет никаких сомнений. С точки зрения зоолога – это ненормально, когда человек живет один. А я живу. И не только я, так живут многие, этой зоологически ненормальной жизнью.

Первичные категории. Жизнь смерть красота страх восторг боль водка бабы. Мое мышление прямо-таки засорено такими эпитетами, как (а это именно эпитеты, хоть и имена существительные): Вечность, Космос, Ничто и т. д. Они возникают совершенно естественно у человека, живущего *вообще* (т. е. вне стада), даже если он не склонен к мистицизму. Обесценив «дела людские», мне поневоле пришлось жить среди этих *первичностей*. Я живу на границе между Жизнью и Смертью. Я – как раз на их точной границе. На одной стороне – бездна, на другой – вечный свет. Мрак – Свет. Глубина – Высота. Самое смешное, что этих людей, живущих на границе, целая пропасть. Для людей «дела людские» значат все меньше и меньше. А других дел у них нет.

Оставьте человека одного на зимовье в лесу, а когда навестите его в апреле, он начнет толковать вам о Сущностях. От многих философий, которые я читал, так и веет психопатологией одиночества. Одно огромное одиночество я вижу в этих книгах, их авторы, похоже, замучены, задушены хроническим, на десятилетия, одиночеством.

Очень долго я воздвигал внутренний мир в противовес внешнему; но внутри оказалась пустыня. Я нанял охрану от рэкетиоров, а охрана оказалась хуже, чем сами рэкетеры. Лучше страдать от внешнего мира, чем от внутреннего, – мне кажется, это главное, что я понял в жизни, хотя, подозреваю, слишком поздно. Мой нигилизм по отношению к ней так велик, что умственными построениями здесь не отделаешься. Аскеты просто сгупили. Или струсили. С испугу прописали рецепт (уход от мира), который хуже самой болезни. Внешний мир лучше, чем

внутренний. Поясню. Внешний мир – *болезненнее*, а внутренний – *опаснее*. Удар локтем об угол болезненнее, чем цирроз. Они перепутали две эти вещи и многих сбили с толку своей кажущейся логичностью. И, самое главное, – сбили с толку меня, черт бы их побрал. В то время, в молодости, когда все учатся жить, я жить разучивался (после детства, когда человек, по-видимому, не может не жить). И теперь, вместо прекрасного мира, передо мной лишь призраки и отражения его. Так мне и суждено будет скитаться по призракам до самого конца.

Я следовал в жизни двум имиджам. Сначала послушный, хороший, умненький мальчик. Потом подросток с дурными наклонностями, ставший непослушным в той же мере, в какой раньше он был послушным; подросток плавно перетек в проклятого поэта. Это был второй имидж. Теперь я примериваю на себя третий имидж – имидж умудренного философа, этакого царя Соломона. Но с этим имиджем не клеится. Я, к сожалению, понял, что это не более чем имидж, то есть еще одна защита от космического холода мира. Имидж говорит тебе, что думать, что чувствовать, как поступать. Но человеку, который пришел к отрицанию любого имиджа за его серийность и, в конечном счете, фальшь, живется трудно. Никто и ничто не говорит ему, как поступать, а главное, – что думать и что чувствовать. Голый мир вокруг, голые люди, голый я. И я, не санкционированный никем и ничем, думаю, что думаю, чувствую, что чувствую, поступаю, как поступаю. Что не на кого свалить и что нет никакой санкции извне, а лучше бы свыше, – к этому я уже давно привык, но даже спрятаться *не в кого*, не получается *эстетизировать* себя, потому что эстетизация – это подгон себя под какой-то канон, а каноны-то я и отверг. Хотя, может быть, до конца отвергнуть их просто невозможно. И, может быть, в этом мое спасение.

Можно основать новый канон, но невозможно эстетизировать себя в том, что сам же и придумал. Это удел других, которые могут потом сказать тебе спасибо, но, увы, ты остался позади изобретенного самим же собой канона.

Эх, никогда не стать мне мудрецом. Потому что я начинал, как мудрец, но с годами стал мудрее мудреца. У меня хватает мудрости пить и бегать за бабами. Мудрости-то хватает, да вот беда – желания нет. И уже не наверстаешь.

Все равно человеческое, слишком человеческое. И сверхчеловек все-таки человек. И он принадлежит к тому же надоевшему, до отвращения осточертевшему мне виду. От человечины никуда не денешься. Я погряз в ней, она держит меня. Мне уже надоело быть человеком, я хочу стать чем-то выше его, это даже не сверхчеловек, это вообще не человек. Да нет, выше – это я плохо сказал, выше или ниже – неважно, главное – перестать быть человеком. Но нет. Это невозможно. А раз невозможно, то... то какая разница, каким человеком быть? Александр Великий... Акакий Акакиевич... Все это одна фигня...

Иногда говорят: «стать Богом», но это игрушки, под этим подразумевается просто еще одна разновидность человека, только какая-то, в кому каком нравится смысле, очень хорошая, и за неимением слов приплетают «Бога». И вообще, если что-то создано по образу и подобию человека, то это всего-навсего сам человек и никто иной, ничего другого не бывает. «Любит ли меня Бог? Нет, если бы любил, он был бы человеком, а не Богом».

А если не выше человека, а, скажем так, ниже? Например, собакой? Но это еще скучнее. Хотя, для разнообразия, можно было бы иногда. Может быть, когда-нибудь научатся искусственно создавать какие-нибудь альтернативные существа. А вдруг это будут опять люди? Из космоса пока ничего не слышно. Найдем где-нибудь, на какой-нибудь альфа-бета-гамме разумные существа, а они возьми да и окажись людьми! Впрочем, что это за чушь – «создавать альтернативные существа»! То, что может быть создано человеком, – не альтернативное.

А все-таки кажется иногда, что ты достиг третьей космической скорости, что ты, наконец, покинул... Сверкнет блеска на море, и ей отзовется острый, мгновен-

ный блеск сережки в чьей-то нежной мочке. Смотришь на небо без чаек, и небу отзовется огромная, монументальная помойка неподалеку от нашего дома, и над ней носятся чайки, пискливо оря. Лунная дорожка от люстры на черной пластинке, и черный рояль, звуки которого записаны там, сейчас заиграет «Лунную сонату»...

Да мало ли еще чего. Что угодно. Все отзывается всем. Земных вериг больше нет. Одни огни в пустоте. Перелив огней. И все.

...я вижу ее, сходящей с отсыревшего деревянного крыльца, она медленно проводит ладонью по лицу, словно пытаюсь понять, снится ли ей все это или нет. Меня она не видит. И вместе с ней я впадаю в тяжелый, медленный сон. Она выносит ведро помоев. Птицы кружат в небе. Я смотрю в небо, не в силах оторваться от них, и земля вокруг меня тоже начинает кружиться. С усилием очнувшись, но так до конца и не стряхнув с себя сон, я иду к ней, чтобы взять у нее ведро...

Грезы мои печальны. Темны. Сны мои – душные.

...утро, обметывает мокрым косым снегом...

...Я стоял и чувствовал, как ненавидит меня этот мир. И я ненавидел его в ответ. Впрочем, неизвестно, кто первый начал. Оба хороши...

Серый день на улице, вторая половина августа. Дождь кончился недавно, но стекла успели пообсохнуть. Хотя довольно еще на них застывших слезных капель. Я сижу и смотрю в окно. Там, на улице, сосны, я знаю, как они сейчас пахнут. Туда пока не тянет, но через минуту, может, захочется. Тогда и выйду, никто меня здесь не держит. Сырая хвоя будет мягко пружинить под ногой. День затишья. Что-то кончилось в жизни, а что-то не началось. И слава Богу. Я хоть передохну.

Главное то, что вернулся день из детства. Мне никогда не привыкнуть, что его больше не будет. Когда помрешь, можно постепенно привыкнуть к тому, что тебя больше нет, но не привыкнуть к тому, что больше нет твоего детства. А сейчас мне опять лет одиннадцать. Подаренный мне день. Когда еще раз будет такой? Через сколько дней, месяцев, лет?

Но, однако ж, вернемся к нашему греческому морю.

Лежу я у моря часа два, периодически окунаясь. Когда открываешь глаза, встаешь и заходишь в море, делается весело. Солнечная дорожка на море – танцующие ослепительные блески, целый их звездный путь; мгновенный взгляд на них, и я шалею от первобытного, дикарского восторга; кстати, ночная сестра солнечной дорожки – дорожка лунная – настраивает на несколько романтически-потусторонний лад, отзывается какой-то старонемецкой поэзией склепов и саванов. Неголядного морского простора тут нет – это скорее бухта, да еще разбросанные повсюду острова. До некоторых рукой подать, а некоторые едва проступают гипнотическими силуэтами из уходящей в бесконечность, в вечность морской дали.

Возвращаюсь ослепленным и пропеченным солнцем, просоленным морем. Возвращаюсь почему-то усталым. От чего? От лежания, от мыслей? Непонятно. Дорога назад поскучнела и удлинилась.

Разгар дня, с самого детства самое тоскливое для меня время, с самых первых времен пугающее меня догадкой, что жизнь, как это ни скверно, довольно-таки тоскливая штука. Впрочем, с годами к этому времени суток я стал относиться философски: за вечер оно все равно не перевалит.

В отеле обедаю чем бог послал. После моря, воды, еды хочется спать. И чудненько. Теперь я бы полжизни превратил в тихий час; пожалуй, что и лебеди на

занавесках и тройка на ковре мне бы не помешали. Испускаю сладкий вздох, я на время выпускаю дух.

Просыпаюсь с тяжелой головой, помятый, с хорошо, рельефно получившимся отпечатком подушки на лице. Извилины склеены. Закуриваю, мутно смотрю в окна гляделками, тускло глядящими из чурбана головы. Дурное состояние. Но на то есть душ. Долго фыркаю там, плещусь, очухиваюсь.

Сходить надо попить кофейку.

Читаю Гончарова. У меня огромная книжища издания 1948 года, гигантская азбука-копейка. В прошлый раз когда читал, остановился перед «Обрывом». Сейчас дочитываю «Обломова», но чувствую, что и на этот раз остановлюсь. Из неглавных персонажей лучше всех получился дядя-Адуев. Остальные неглавные – бледны, что уже неоднократно... Интересно, что антиподы Адуеву и Обломову не такие уж и антиподы. Гончаров не соблазнился идеологией, плакатностью. (Антиподов он не видел!) Штольцу уж во всяком случае доступны обломовские чувства. И все-таки он сделал другой выбор, несмотря на... Но сам Обломов настолько лучше написан, что где уж бедному Штольцу угнаться за ним «в глазах читателя». Штолец, кстати, не немец, а полунемец. (Странное: образ немца в те времена – немец одновременно и туманный романтик, и трезвый делег; в то время как речь идет о тех же самых немцах в то же самое время.)

В самом конце разговор Штольца с женой.

Я, не помня о напутствии Штольца, последовал ему.

Читаю письма, проникаясь тоской, унылостью, застылостью.

А почему он так мало написал? Не знаю. Непишущий Олеша о Гончарове: «уже прорывавшийся, кстати говоря, в неписание».

Не изжить. Не изжить свою единственную тему. Все возвращается к ней. Врожденная незаживающая рана-тема в душе. И все она слезится, все слезится гноем.

А тем временем за бортом воздух начинает сиреневеть и темнеть, но пока еще он не исчез. И тут с своей волчихой голодной выходит на охоту волк. Без всякой волчихи выхожу я. Лови субтропические сумерки. Город отдыхает, как пашня после дневной страды. Асфальт пышет теплом. Пустой пляж. Море, оставшееся без солнца, без неба, чтобы за ночь восстановить, сохранить свою прохладу. А над горами уже висится тьма.

Так темно и так тепло. Я, ленинградец, не привык к этому сочетанию, я брожу, дурея, шалея от него, я как чукча, дорвавшийся, наконец, до водки. Кончилось полярное зимовье. Я брожу бесцельно, но так только говорится, цель есть – бродить. Как огромно пространство вокруг меня. Почему-то я не чувствую этого днем, когда светло.

Возбуждающее, кружащее голову чувство затерянности. Что-то похожее бывало, когда в детстве заберешься под стол. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. Нету меня, нет. Ни для кого. Никто меня сейчас не найдет, никто. Вокруг меня люди, чьего языка я, слава Богу, не понимаю, и, слава Богу, они не понимают моего. Я нигде. Я у себя. Я не брожу, меня несет, уносит, уносит, вот уже я в беспамятстве и наконец ярываюсь от взлетной полосы, достигая ровного космического орзема. Я ровно свечусь невидимым светом. Голова свободно болтается на одуванчиковом стебельке. Она такая легкая. Охота удалась. Я уже не на охоте, я добыл все, что мне надо.

Фонари. Пляжный день кончился, будто его и не было. Ребяшня, крикотня, высохший, полуосыпавшийся слой пляжного песка на женской спине – как не было этого. Теперь вечерние (по-видимому) платья, импозантные пиджаки в светящихся ресторанах и ресторанчиках. Смотришь на эти пиджаки и платья и думаешь, что сюда пришел Север. Чинный, упорядоченный Север внутри и оргиастический Юг снаружи. Они в маленьких уютных тюремках, а я – в пространстве.

Фонари.

...я вспомнил увядший, ставший вялым и коричневым стебелек одуванчика, превратившийся в теплую, раскисшую дрянь в моем плотно сжатом потном кулачке. А вот я лежу в больнице, после шести недель меня наконец выпустили погулять, и я вышел в лето. А лег еще весной. Я одурел от этого внезапного лета, наступившего сразу после межсезонной грязи, после белых разрозненных холмов слежавшихся льдистых зерен, после воздуха, иссеченного голыми прутьями. Я вглядывался в каждый листик, в каждую травинку, былинку. И я дошел до поляны. Там было много одуванчиков. Я вгляделся в один, подумал... Он почему-то заставил меня задуматься, что-то я должен был понять, вспомнить... И тут я понял, что мой любимый цветок – одуванчик.

Мертвое детство хватает живого меня. Воспоминания детства – это оплакивание жизни. Я заиклен на детстве, я оплакиваю и оплакиваю его (жизнь). Неизжитое воспоминание, неизжитая травма. Детство – травма? Пытка детством? Казнь детством? Расплата за детство? Да что я такое говорю?.. Кончился сон Обломова.

Сколько времени прошло с детства? Вечность? Нет. Началась другая вселенная, со своим собственным, другим временем.

Пойду в гостиницу, буду пить кофе в баре, в его подсвеченном полумраке. Там работает приемник, он разносит по воздуху абы что. А я буду улавливать его мелодии. Может быть, сегодня будет удачный улов. Охотник за мелодиями, подслушиватель нечаянных мелодий. По слышанным в разное время мелодиям я могу восстановить свою жизнь.

Чай, соки, капучино; все это чередуется с сигаретами. Вокруг редкие очажки чужих языков. Редко разбросанные, негромкие, благовоспитанные кучки. Пусто в баре, прохладно. Иногда доносятся американцы. Компания рядом. У них вежливые, не по-советски монголоидные лица.

И иногда я слышу эти мелодии-картины.

Я лежу где-то на огромной высоте. Внизу, очень далеко внизу – пляж, прибой. И веселящаяся компания. Прибой как раз такой, какой нужно – чтобы возникло ощущение моря, но чтобы и с ног не сбивало. А компания переживает сейчас какой-то такой восторг, какой ни разу в жизни они не переживали. Может быть, очень долго они делали какое-то общее дело, и наконец оно воплощено! Самый счастливый миг их жизни. Они очень далеко от меня, я прекрасно чувствую их настроение, но их самих вижу очень неясно, еле вижу. Кажется, там есть мяч. А вот, кажется, они начали брызгаться друг на друга, как дети, и все в восторге, хохочут. И меня мучит счастливая догадка: а вдруг я один из них? Может, мне только кажется, что я смотрю со стороны? Но, во всяком случае, и у меня будет такой день: когда все сбылось. Точно будет. И я буду один из них.

Я вхожу в летний, мокрый лес только что после дождя. Как-то загадочно-пасмурно. Как-то обволакивает... Бывают летом какие-то странные тихие дни, когда пасмурно, тепло, нет ветра, и недавно прошел дождь. В лесу почему-то очень просторно, можно спокойно шествовать по нему. Деревья прямые и велики. И построены как будто в предзаданном порядке, тыходишь иходишь в лес, и этот порядок все разворачивается и разворачивается. Но нет никакой искусственности; нет, этот порядок сам как-то возник. Я иду и с глубокой благодарностью смотрю на мокрые, или уже сырые, деревья. Деревья – почти наши осины, но какого-то большего размаха, замаха, величия. Очень странно и здорово здесь идти.

Чу!

Где-то в глубине леса мне померещился легкий желтый огонек. Что это было? Огонька уже нет.

...И меня вдруг охватывает такое счастье, что я просто не выношу, не могу идти и сажусь на первый подвернувшийся пенек. Я начинаю слышать свое тяжелое, переполненное восторгом дыхание. Я вспоминаю желтый огонек, и что-то екает в груди, и словно булькает где-то в горле. Мне хочется стонать, но покидают силы. Деревья темнеют надо мной...

Я в затемненной комнате, которая раньше была больше, но теперь сузилась. В воздухе сильно чувствуется запах эвкалиптовой настойки. Очень велик комод, половина пространства комнаты заполнена им. Занавески на окне сомкнуты. Лебеди на занавесках. Но это неважно. И что комод – тоже неважно. Важно, что она ушла от меня. Так непоправимо ушла. И я остался один, с этим комодом, с этим больничным запахом, с этими лебедями на занавесках. Мокро в глазах. Пальцы в чем-то коричневом, засохшем, медицинском. Понюхал – йод. Почему йод? Иногда я пытаюсь немо воззвать к ней, как-то заклсть... Ты понимаешь, что ты сделала? По-моему, ты просто не понимаешь! Но нет. У меня нет сил вернуть ее. И нет сил понять, что она прекрасно все понимает.

Нет, пожалуй, именно эти-то картины и не передашь. Жалко, мне они кажутся чуть ли ни самым главным во всей моей жизни.

А завтра я опять пойду к морю, созерцать вечность.

Меня ждет Петербург. Там уже ангелы осени кружат в небе. Осенью я все время всматриваюсь в небо, и иногда мне кажется, что я увидел их. И рассеянный свет ранней осени из окна, и слабый раствор заката. И водоросли в канале Грибоедова, и на Марсовом поле все тот же огонь рвется из земли. Но никого не может он согреть. Осеннее небо. Его тревожная сырая синева ясно и холодно проглядывает между облаками, синие сырые раны в облаках; меня томит этот осенний воздух, томит и усыпляет, но не дает спать; осень, каждый год, каждый раз я прихожу на чью-то очень важную для меня могилу ...горьковатый яд осени... мокрая осиновая кора... горьковатая... Но кто томится там, в этой могиле? томится и взывает ко мне? Я не знаю. Нерассасывающийся, непроглатываемый ком в горле. Философия осени. И солнце, вдруг охладевшее к нам, а мы уж было ему поверили. Вы когда-нибудь видели в городе березу? Осеннее небо. Всю синеву уже засосало светлой серостью. Эта светлая, томительная, осенне-небесная слепота.

Но небо опять станет синим. И лужи станут синие, как северные озера...

Все это ждет меня. Но пока я в Греции. Отдых в Греции продолжается.

РАССКАЗЫ

БИЗЕ, СЮИТА «АРЛЕЗИАНКА»

Году в 1938 на улицах Ленинграда стали рыть глубокие котлованы. Рыли их посреди проезжей части на Радищева, улице Красной Связи и кое-где еще в округе. По слухам, это рыли метро открытым способом. Котлованы отгородили от тротуаров деревянными заборами с козырьками, кое-где оставили въезды, и когда деревянные ворота раскрывали, было видно, как там копошатся люди с лопатами. Люди с лопатами были заключенными. Их привозили рано утром и увозили к вечеру. Вдоль заборов прогуливались другие люди в коверкотовых макинтошах и смотрели, чтобы к заборам никто с тротуара не подходил. Но прохожие и сами жались поближе к домам и отворачивали головы от заборов. Нас же, ребят, так и тянуло к ним. И когда «макинтошей» вблизи не было видно, мы подбегали к заборам и шли вдоль них, пытаясь разглядеть сквозь щели в шершавых досках, что же там в котловане происходит.

Как-то я застрял около одной такой щели, из нее торчала щепка. Ну, торчит и торчит, но она еще и шевелилась, вниз – вверх, вниз – вверх. Я остановился и потянул за конец щепки, но она уперлась и голос за забором приглушенно сказал:

– Возьми и позвони по телефону, там нацарапано, скажи, Адам жив и здоров.

И щепка сама просунулась ко мне. Я взял ее, сунул в карман, засвистел зачем-то мелодию Карла Бруннера и пошел сначала вдоль забора, а потом по тротуару. Сердце билось бум-бум-бум. «Макинтошей» не видно, редкие прохожие внимания не обращали. Я дошел до конца квартала, свернул налево по Маяковской, прошел по ней до керосиновой лавки, зачем-то спустился в нее, поинтересовался, есть ли фитили для семилинейной лампы, потом поднялся на тротуар и пошел в обратном направлении к дому. На углу я юркнул в парадную и через проходные дворы пришел к своему подъезду.

Нельзя сказать, что все эти действия были совершены по наитию. Уже в течение года на экраны выходили разные антифашистские фильмы: «профессор Мамлок», «Рот-фронт», но главным фильмом для нас, ребят, был «Карл Бруннер» про немецкого мальчика-антифашиста, неуловимого конспиратора, одурачивавшего гестаповских ищеек. Каждый раз, когда Карл Бруннер готовился к своему новому подвигу, в фильме звучала его боевая тема: там-там-там, та-ра –та-там. Мы думали, что это какая-то антифашистская секретная песня, потому что когда Карл Бруннер насвистывал ее, то его взрослые друзья тут же принимали меры предосторожности. Поскольку фильм смотрели все поголовно и по несколько раз, мелодия Карла Бруннера перешла и к нам, и мы ее насвистывали как сигнал тревоги – шухер, мол, училка идет или контролер в трамвай садится, в общем, держи ухо востро.

Гестаповские ищейки в своих длиннополых прорезиненных плащах были здорово похожи на наших «макинтошей». Они так же ходили по двое, подняв воротники и зыряка глазами по сторонам. «Макинтоши» – это были те, которые приезжали по ночам и забирали соседей, те, из-за которых в нашем классе поубавилось учеников, и чьи места за партой так и остались незанятыми. Никто не хотел на них садиться. И когда в класс пришел один новенький и плюхнулся на такое место,

ему сказали: нельзя, место занято, сюда придут. Новичок попался наглый, буркнул: еще чего, – и стал открывать портфель. Класс посмотрел на меня: я был второй по силе в нашей первой ступени, первый по силе был в параллельном классе – не звать же его. Драться я не умел, но мог поднять противника, сдавить его, чтобы кости затрещали, и кинуть на пол. Но этот бороться со мной и не собирался, а собирался драться, и он треснул меня кулаком в нос. В голове вспыхнуло, в глазах засверкали искры, по губе что-то потекло. Меня охватила ярость, я нырнул под его вторую руку, обхватил за грудь и сжал изо всех сил, придавив к парте. Что-то хрустнуло, он завыл. Я сложил его в проход, его оттащили на свободную парту. Санинструктор Лиля Медведовская промокнула мне промокашкой под носом, промокашка стала красной, тут же мне надавали еще промокашек, я сел на свою камчатку, закинув голову. Новичок сидел за своей партой скрючившись и молча переживал происшедшее. Скоро из нашего класса его перевели в параллельный. По школе висели плакаты: «В ежовых рукавицах», «Уничтожим гадину», «Покараем...», но ничего, кроме ужаса, у учеников эти плакаты не вызывали, и тщедушный, похожий на хорька Николай Иванович Ежов симпатии так и не возбуждал.

Недавно я открыл энциклопедию, поискал – Ежов Н. И., чтобы проверить дату его смерти. Нету и не было такого душегуба. Были только пустые места за партами в нашем классе.

Но вернемся к щепке. Я вытащил ее из кармана и осмотрел. С одной стороны она была гладкая и на ней было нацарапано гвоздем, а может, ногтем: «Ж 269-38 Адам жив». «Ж» – это наша некрасовская АТС. Мысль позвонить с домашнего телефона мне даже в голову не приходила. Позвонить надо с автомата, с другой АТС, но так, чтобы не успели схватить. Первая мысль была – Московский вокзал: толпа народа, все ходят туда-сюда, позвонил – и выскочил хоть в город, хоть на перрон. Но не складывалось. На вокзале до черта милиции и наверняка какой-нибудь пункт прослушки есть. Только набрал подконтрольный номер, сказал первое слово, и к тебе в будку уже бегут. А ты среди звонящих ребенок только один, остальные все взрослые, далеко не уйдешь. Значит, надо звонить оттуда, где много детей, и тут перед глазами возникла телефонная будка Дворца пионеров. Кругом одни дети – который звонил? На морде не написано, если сам не обозначишь. Я соскоблил послание со щепки, потер шкуркой, сдул крошки в окно и стал готовиться к походу во Дворец пионеров.

Во Дворец все ходили тогда как на праздник, в отглаженных пионерских галстуках, белоснежных рубашках, начищенной обуви. У входа стояли дежурные пионеры и придирчиво осматривали входящих. Неряху в мятом, заляпанном галстуке могли и завернуть. Мне эти приключения на входе были ни к чему, и я стал гладить свой маскарадный пионерский костюм. Погладил все, что мог, расчесал свою шевелюру, которая была не стрижена с зимних каникул, надраил ботинки, положил в портфель «Мифы Древней Греции» и отправился поступать в исторический кружок – если вдруг спросят. Книжки типа «Мальчик из Уржума» про Кирова, «Грач – птица весенняя» про Баумана, не говоря уж о любимом Карле Бруннере, научили меня тому, что в конспирации мелочей не бывает – все надо обдумать и предусмотреть заранее.

Во Дворце я не пошел прямо в будку, а пошатался по коридорам, списал расписание исторического кружка и вернулся в вестибюль. У автомата уже образовалась маленькая очередь, не длинная, не короткая, а так, в самый раз. За мной встала девочка с бантиками и папкой «music», наверно, из хора или с фортепьяно: будет звонить домой, чтобы ее встретили, такие, с папками, одни не ходят, но и в чужие дела не суются. А я чего в чужие дела сунулся, кто меня за нос тянул? И теперь стою здесь, как гогочка, как дурак, в наглаженном галстуке и зыркаю глазами по сторонам.

Подошла очередь, я залез в будку, положил на телефон портфель и стал его поддерживать левой рукой, перекрывая наборный диск, а правой рукой, средним

пальцем стал набирать. Тогда из-под ладошки вообще не видно, что ты там крутишь.

Раздались длинные гудки, один, другой, третий. Никто не подходит, я уже хотел бросить трубку, как в ней щелкнуло, и голос пожилой женщины спросил:

– Алло, я слушаю?

Приложив руку к трубке, я сказал:

– Адам просил передать – у него все в порядке.

В трубке было молчание, и я не знал, слушает ли она меня. Но она вдруг спросила:

– Вы его видели?

– Нет, только слышал.

– Там?

– Да.

– Господи, – сказала она, – и дети тоже.

– Мне надо идти, – сказал я, – здесь очередь.

– Я понимаю, передайте ему, что у меня все в порядке, если услышите еще раз.

Я положил трубку, потом снова снял и вытер носовым платком – она вся была мокрая, взял свой портфель с телефона-автомата и вышел. Девочка с папкой «music», входя в будку, спросила:

– Ты можешь меня подождать одну минуту?

Этого я не предусмотрел. Пока я ее жду, тут-то они и прибегут. Но можно подождать и в стороне, увижу взрослого – и скроюсь в толпе. Я кивнул ей и показал рукой на вход. Через минуту она вышла и спросила:

– Ты мог проводить меня до канала Грибоедова, там меня встретят?

– Хорошо, – сказал я и подумал, – вдвоем даже меньше подозрений.

По-моему, я уже начал слегка сходить с ума от этой конспирации. Звали ее Муза, и она действительно ходила в класс фортепьяно. На углу канала Грибоедова ее встретила поджарая неприветливая тетка, похожая на нашего завуча, сухо поблагодарила меня за любезность и, подхватив Музу под локоть, быстро потащила ее вдоль канала. Явно я ей был не пара. Только как она догадалась? Галстук хоть и прожженный в двух местах, но свежеглаженный, и ботинки надраены – вполне приличный молодой человек, но так и застрявший где-то в господской передней.

Пока же надо было передать Адаму, что его просьба выполнена. По крайней мере для него я был самый желанный собеседник. На другой день я нацарапал на щепке: «Адаму: передай, дома порядок». На этот раз два «макинтоша» маячили на углу, и об подойти к забору можно было и не мечтать. Наконец им надоело торчать на одном месте, и они пошли дальше. Я выскочил метров за пятьдесят от щели и засвистел мотив Карла Бруннера. Проходя мимо щели, воткнул в нее щепку и посвистел дальше. На Маяковского зашел в керосиновую лавку, купил фитиль и пошел обратно насвистывая. И вдруг из-за забора я услышал знакомый мотив, всего четыре первых такта: там-там-там, та-ра – та-там. Я дошел до щели, щепки в ней не было.

Уже в конце войны, когда все ожидали сообщений с фронта каждый час и радио никто не выключал, я услышал по тарелке знакомую мелодию. Она оказалась значительно длиннее этих нескольких тактов, развивалась, переходила в какую-то танцевальную тему, теряла свой характер грозного предупреждения и оканчивалась веселеньким тутти. Диктор сообщил: исполнялась симфоническая сюита Бизе «Арлезианка». Надо же, Жорж Бизе! А как ловко его приспособили к политическому детективу конца тридцатых годов. Вот тебе и Карл Бруннер!

Но почему-то всегда, когда я слышал потом эти зовущие звуки – там-там-там, та-ра – та-там, сердце сжималось, на глаза наворачивались слезы, и я спрашивал: «Адам, где ты, жив ли, отзовись, Адам!»

ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА...

«Если завтра война, если завтра в поход...» – эту песню мы все знали и по ней жили. Занятия по ПВХО – противовоздушной химической обороне – проходили регулярно и повсеместно. Названия: иприт, люизит, фосген, дифосген отскакивали от зубов. За четыре секунды мы могли надеть противогаз и за десять сложить и убрать его. Ни у кого не было сомнений, что война будет химической. На занятиях по ПВХО нам объяснили, что противогазы своего размера мы получим в первый же день войны в школе или домохозяйстве. И там, и там имелись списки детей с размерами голов для противогазов. Дети росли, размеры менялись, списки уточнялись каждый год.

22 июня было воскресенье и мой день рождения. 23-го я побежал за противогазом в школу. Она была закрыта, война почему-то началась на каникулах. В домоуправлении сказали, что никаких детских противогазов у них нет, есть только списки, а противогазы имеются только для дворников и членов добровольной дружины. Посоветовали побегать по военторгам. В военторгах пожимали плечами и посылали куда подальше.

На третий день войны я понял, что нас обманули, бросили на произвол судьбы, оставили беззащитными перед всеми этими кожно-нарывными и нервно-паралитическими. Дома я сказал, что не желаю сидеть и ждать, пока меня отравят как крысу, а хочу уехать как можно дальше. Отец возмутился и заорал:

– Жалкий трус и паникер! Как ты смеешь говорить такое! Через несколько месяцев мы их разобьем вдребезги, войдем в Германию и уничтожим фашизм!

– Как же, как же! Завоевали всю Европу и начали войну с нами для того, чтобы через несколько месяцев ты их разбил вдребезги! И чем ты их намерен разбить? Истребителями ЛАГГ из дельта-древесины против бронированных “мессершмитов-110”? Винтовками Мосина 91/30, десять прицельных выстрелов в минуту против автомата «шмайсер»? Или вашими танками КВ, про которые ты сам говорил, что они груда металлолома и годятся только для парада?

В отличие от отца, я прошел всю финскую войну в госпиталях с ранеными – писал за них, обмороженных и обожженных, письма домой и солдатской правды наслушался на весь свой век. На фронте их кинули в лютый мороз с одними берданками под кинжальный огонь дотов линии Маннергейма, под автоматы финских кукушек. А сейчас оказалось, что и все эти бодрые марши – «будь сегодня к походу готов» – лабуда, и мы, целое поколение детей, предназначались в жертву первой же газовой атаке.

Везде было одно и то же. В эту неделю с 23 по 30 июня я потерял доверие к родному правительству раз и навсегда. И жить стало значительно легче: никаких иллюзий, никаких разочарований.

Тем временем город перестраивался на военные рельсы. Школы вновь открылись. Они проводили срочную и массовую эвакуацию детей из Ленинграда. Наша школа отправлялась в район Старой Руссы. Другие ехали под Новгород, Псков, Лугу и другие направления навстречу наступающей немецкой армии. Потом они бежали оттуда вместе с отступающей Красной Армией. А многие остались под немцем. Доходили смутные слухи, что деятели ГОРОНО, которые протестовали против вывоза детей навстречу фронту, были осуждены как трусы и паникеры. Во всяком случае, толковые мужики из завкома Кировского завода решили, что ребят они повезут на восток, и не ближе, чем на тысячу километров от Ленинграда. С этим эшелонам меня и отправили.

В своем вагоне я оказался единственным дачником, одетым в короткие штанишки, со скрипочкой под мышкой и легким детским рюкзаком. Остальные были упакованы всерьез и надолго. Многие ребята уже знали друг друга по школе, по улице, по своей Нарвской заставе. Они были коренные путиловцы. Нарвская застава была их дом родной. У них были сложные отношения с ребятами из других

районов – с Лиговки, с Обводного, с Фонтанки. Для меня они принадлежали к другому миру и говорили на другом языке. У них были свои вожди и авторитеты. Один из них, Сыроежка, занимал нижнюю полку в середине вагона. Он был на год моложе меня, маленький, щуплый, но имел уже много приводов и состоял на учете в детской комнате милиции. То, что он авторитет, стало ясно подо Мгой, когда он скомандовал:

– СигаЙ все сверху быстро вниз, а шмутки наверх! Во Мге будет налет!

Так и случилось. Во Мге под откосом дымились вагоны разбитого пассажирского поезда, в разные стороны расползались уцелевшие пассажиры. Они были какие-то неправдоподобно маленькие. «Дети!» – догадались мы. Это был тоже эшелон с детьми. Наш состав медленно тянулся мимо разбитого эшелона, мимо станции, которая тоже горела. Послышался нарастающий вой, рядом что-то ухнуло, вагон качнулся, но устоял. Потом с треском в нескольких местах порвалась крыша, и в потолок появились дырки. Мы сжались от ужаса, пытаясь засунуть головы как можно дальше под нижние полки. Поезд надал, станция осталась позади, польхая пожарами.

Постепенно мы стали вылезать из своих нор и принялись разбирать свои вещи. Кто-то вытряхнул из валенка пулю, там и сям валялись осколки, еще горячие. Я посмотрел на Сыроежку уже другими глазами. Он не казался мне уже мелким уличным хулиганом, приклатненным корешем, которых хватало и в нашем районе, а превратился в умудренного опытом решительного человека, просто очень молодого. Тогда ему было одиннадцать лет, а мне двенадцать. Но между нами была громадная разница в жизненном опыте, несоизмеримая с годами. Впервые в жизни я вплотную столкнулся с человеком другой культуры и сразу интуитивно понял, что вот в этой новой жизни его опыт и его знания стоят гораздо больше моих. И я сказал ему:

– Спасибо!

– «Спасибо» за что? – удивился он.

– Ну, вот, за все, – сказал я неопределенно. – Живы ведь все.

– Иди, иди, кочумай до Волховстроя, – буркнул он, – там тоже может начаться.

Если наши придурки намалевали красный крест на крыше, то они в него и влепят.

Но «наши придурки» не намалевали. Путиловские мужики, которые готовили эшелон, этого не допустили, и мы через два дня и две ночи благополучно дотащились до станции Антропово. Там нас ждали подводы, чтобы развезти по деревням и весям, в которых нам предстояло жить до окончания войны.

РАЗЪЕЗД ТЧАННИКОВО

К лету 1942-го мы в интернате изрядно одичали. Почти год без радио, без электричества, без книг, без вестей из дома – зато по уши ушедшие в хозяйственные заботы: дрова – на делянке повалить, навозить, напилить, наколоть, натопить; огород – вскопать, посадить, прополоть, окучить, выкопать; дом – дыры заткнуть, полы перестлать, потолок засыпать; коровы – сено накосить, ворошить, просушить, скопнить, привезти, сложить, раздать; навоз – выгребать, вывозить, складывать, разбрасывать; грибы – собирать, сушить, солить, сдавать. Кроме этого, корье драть, брусок для ружей заготовливать, шиповник собирать, лен – тереть. Зато никто уже ничем не болел. Фурункулы засохли, язвы затянулись, зубы не шатались.

Но настроение было тяжелое. От сводок Информбюро тянуло катастрофой. Южный фронт куда-то провалился, появились вторичные беженцы с Кавказа. Первый раз они бежали из Москвы и Ленинграда на Кавказ, а теперь кружным путем с Кавказа к нам на Кострому. Они бежали от немцев с нашей отступающей армией и не чувствовали, что здесь они осели надолго. Многие вторичные были сильно напуганы. Деревенские их подбадривали: «Вот уж немец придет, колхоз порушим

и всех выковыренных повесим на перёгороде». Мы-то уже год как это слышали, и на нас это перестало действовать, а вторичные прямо тряслись от страха. Тем более, некоторые из них немцев видели, и как вешают тоже знали не понаслышке.

Нас разьедала смутная тревога. Хотелось хоть на минуту вырваться из интернатской норы и посмотреть, что там снаружи. Ближайший к нам разъезд Тчанниково Северной дороги постепенно занимал все большее место в наших мыслях и разговорах. До разъезда было двенадцать вёрст, кто их считал, но деревенские начали часто там бывать. Колхозам спустили разнарядку: направлять на разъезд рабочую силу с подводами для настила новых запасных путей. Рабочая сила захватывала с собой кто бидон молока, кто пяток яиц, но самым главным продуктом оказалась вареная картошка, еще теплая, в глиняной корчаге, присыпанная укропом, с блестками льняного масла. Когда корчагу открывали, то от вида сахарной рассыпчатой картошки и от укропного запаха пассажиры эшелонов теряли рассудок и отдавали последнее. Натуральный обмен на разъезде Тчанниково развивался и приобрел масштаб большого базара на колесах. Северная дорога была одной из главных магистралей страны. С запада на восток шли санитарные поезда, эшелоны с беженцами и блокадниками, станки и оборудование разбомбленных заводов, а с востока на запад двигались эшелоны с пополнением, бесконечные составы с танками, артиллерией, ремонтными заводами, санитарным порожняком. Военные эшелоны проскакивали разъезд с ходу, а остальные застревали на разъезде на долгие часы, иногда и на дни, и для некоторых эти дни оказывались последними. Их хоронили около разъезда в поле, а по другую сторону в низине была роща, протекал ручей, значит, были дрова и вода.

Сыроежка, сговорившись с деревенскими насчет лошади, решил ехать на разъезд. Он подозвал меня:

– Лошадь дадут, ты за ездового, упряжь проверь заранее, чтоб не подсунули гнилье. Девки сварят картошку, я им насыпал, малышня принесет землянику. Бабка Тупицына обещала две крынки козьей простокваши. Может, сменяем, как люди, на что-нибудь дельное. Поедем с утра, послезавтра, ты, я и братья Тихомировы.

Сыроежка поставил в известность директоршу. Она спросила:

– А зачем ехать-то?

– Так, посмотреть, что к чему, – уклончиво ответил Сыроежка. И директорша не настаивала. Она отдавала себе отчет, кто в интернате хозяин, и это ее вполне устраивало.

Накануне отъезда я задал кобыле свежего сена, утром поделился с ней пайкой хлеба, и мы потряслись, захватив с собой наши припасы, два топора, лопаты, пару досок – мостить гать через болото, если пойдет дождь. Но дождь не пошел, светило солнышко, дул ветерок, и до Тчанникова мы добрались к полудню вполне доброжелательно.

Разъезд жил своей жизнью. Не останавливаясь, проносились воинские эшелоны, на запасных путях стояли составы с беженцами и блокадниками. И тут мы впервые увидели настоящих дистрофиков. Они сидели у открытых дверей своей теплушки, смотрели на свет божий и никуда не торопились, ни за водой, ни за дровами, ни вещи менять на продукты. Да и были ли у них вещи? Сыроежка остановился как вкопанный.

– А чего же вы кипяток не поставите?

Женщина поживее других улыбнулась и спросила одними губами:

– Какой кипяток?

Сыроежка вдруг передернулся, схватился за горло и просипел:

– Живо к кобыле! Гони брательников в лес за дровами, сложи харчи в корзину и ходи сюда!

Я показал брательникам, куда нести дрова, навьючился харчами и направился к дистрофикам. Сыроежка ладил подножку, чтобы они могли спуститься. Подошли братья Тихомировы, принесли сушняка, и через несколько минут у нас запылал

костер не чета другим. Не зря мы ошивались в своем интернате № 8 Кировского завода уже целый год – научились кое-чему. Пока в котелке грелась вода, Сыроежка наладил спуск из теплушки на землю. Сам он поддерживал дистрофика наверху, братья принимали и ставили на первую ступеньку, а я забирал в охапку и ставил на землю. Не очень-то они и стояли. Седой бородатый дистрофик, поняв, кто у нас главный, спросил Сыроежку:

- Как вас зовут, товарищ?
- Сыроежка.
- А что мы будем делать, товарищ Сыроежка?

И Сыроежка важно ответил:

- Рубать будем!
- Простите?
- Ну, хавать будем, грести, уминать – харчеваться, одним словом.

Сыроежка чуть не вспотел, объясняя ему.

- Какой богатый у вас лексикон! – удивился седой.
- Сикон богатый, зато харч бедный. Садитесь вокруг костра!

Среди них был мальчик. Такой прозрачный мальчик. Его мать все беспокоилась:

– Осторожно с Мишей! Не выдерните ему руку! Ставьте его не сразу. Ставил его я, постепенно, и все удивлялся, до чего же он легкий.

Сыроежка все же цыкнул на меня:

– Держи слободнее, под микитки! Вишь, он как статуя алебастряный, разобьешь!

Это было уже на деревенском языке, а не на путиловском жаргоне. За год у нас у всех язык изменился. Мы стали говорить «полноко», «да пошто», «робота» и уже почти не отличались по говору от местных. А как бы нас еще понимали люди и животные? Как бы вы хотели чтобы я разговаривал с кобылой Мухой или соседским Полканом? Но здесь нашим дистрофикам пришлось за минуты освоить то, на что у нас ушли долгие месяцы.

Они послушно сели вокруг костра с кипящим котелком. Под Мишу мы подсунили охапку мухиного сена, чтоб не сидел на рельсе, и Сыроежка открыл крышку корчаги. Дальше была немая сцена «Блокадники смотрят на горшок с картошкой». Из корчаги шёл такой дух, картошка имела такой вид, что ни одно произведение искусства не могло бы его перешибить. Дистрофики, как зачарованные, смотрели в корчагу и вдыхали ее аромат.

Только один Миша оставался безучастным и от картошки отказался. Сыроежка молча посмотрел на него, раздал всем по две картофелины, закрыл корчагу, сбросил в кружки понемногу простокваши и начал вежливо расспрашивать, кто куда едет. Миша с мамашей ехали в Молотов. Он учился играть на скрипке и собирался там продолжать. Седой был их родственник, какой-то ученый профессор. Сыроежка это сразу понял, видя, как тот ничего не умеет. Остальные добирались до Урала к своим заводам. Я спросил Мишу:

- Ты что играешь?

Миша помялся немножко, как бы ответить попонятней, и сказал:

- Концерт Мендельсона.

Я всю жизнь хотел сыграть концерт Мендельсона, но до войны у меня не хватало техники, а после войны об этом можно было уже и не мечтать.

- Вот этот? Си-си-си, соль-ми-ми-си, соль-фа диез-ми-до-ми-си?

Мишина мамаша вздрогнула и уставилась в меня.

- Какое фа диез, откуда?

Она посмотрела на наши лапти-ступни, безразмерные полосатые порты, пошитые из интернатских портьер, на стриженные «под ноль» головы. Я подумал:

- Действительно, откуда?

Но Миша вдруг тихо сказал:

- Там в третьем такте фа диез на квинте.

– Вы что, играете на скрипке? – спросила мамаша.

– Он хорошо играет, – авторитетно заявил Сыроежка. – «Хасбулат удалой», «Раскинулось море широко», «Мурку» на бис. И ты сыграй, – обратился он к Мише, – руками помашешь – есть захочешь.

– Сыграй, сыграй, Миша, – встрял профессор, вот и товарищ Сыроежка просит.

– Сыграй, – тихо попросила мама.

Миша поднялся со своего сена, как птенец из гнезда, и попросил:

– Принесите мне, пожалуйста, скрипку из вагона.

Я слетал в теплушку и принес ему скрипку в дорогом полированном футляре. Он достал ее, отошел на пару шагов в сторону, стал настраивать. Уже по первым звукам я понял, что сейчас мы услышим нечто.

Миша вернулся, положил скрипку на свою острую ключицу, поднял смычок, закрыл глаза, и ... полились дивные звуки концерта Мендельсона: си-си-си...

Люди у соседних костров стали подниматься и подходить к нам, осторожно ступая по шпалам, чтобы не скрипеть щебнем под ногами. Когда Миша кончил первую часть, никто не шевельнулся, не проронил ни слова. Сыроежка прочистил горло и сказал басом.

– Здорово играешь, забирает!

И тогда все зашевелились, захлопали в ладоши. Миша поклонился и начал укладывать свою скрипку.

– Там картошки не осталось? – спросил он Сыроежку.

– Осталось, осталось! – торжествующе заорал Сыроежка и выкатил со дна корчаги последние три картофелины. – Ешь, только осторожно, а то подавишься, – протянул он Мише миску.

И все стали смотреть, как Миша потихоньку кусает рассыпчатую картошку, подбывая крошки ладонью. Его мама улыбалась, вытирая слезы.

– Теперь доедешь, – рассудительно сказал Сыроежка, – теперь начнешь есть. Он полез в корзину и вытащил туюсок с земляникой, отдал его мамаше и наказал:

– Будете давать ему по ложечке, а не то – понесет.

– Да-да, только по ложечке, – подтвердил профессор, я послежу, товарищ Сыроежка.

А товарищ Сыроежка, ощущая свалившуюся на него ответственность, осмотрел всех подряд и объявил:

– Сейчас будем мыться! Поди, с осени не мылись. Брательники, за водой! Ты задай кобыле сена, а я управлюсь с костром.

Потом они все у нас мылись и вместо серо-зеленых оказались бело-голубые. Мишу мы мыли сами, горячей воды не жалели и даже похлестали слегка свежим березовым веником, пока он не порозовел.

– Ты не расстраивайся, – говорил мне Миша, – ты еще сыграешь концерт Мендельсона.

– Какой там Мендельсон, – ответил я, – посмотри на мои руки. Я показал ему свои обмороженные, вечно красные лапы со шрамами, мозолями и ссадинами.

– Да, – протянул он неуверенно, – все равно, будешь ходить в филармонию. Мы еще увидимся после войны.

Уезжали мы от них уже к вечеру. На прощание нам подарили несколько коробков спичек и пачку «Беломора». Когда мы проехали болотину и выехали на ровное место, я бросил вожжи, мы повалились на дно телеги и закурили «Беломор». В голове закружилось, звезды поплыли, Муха перебирала ногами к дому, а Сыроежка рассуждал:

– Танков, видел, сколько прошло? Этот наши, кировские, и блокадники скоро к станкам встанут, еще больше наклепают. Не бластит им здесь немцев дожидаться.

По приезде директорша зашла к нам в дом и спросила:

– Ну, как там? Что к чему, выяснили?

– Брательники промолчали, а Сыроежка ответил:

– Нормально, терпение только надо иметь. Зиму-другую мы здесь еще прокочуем, а там по домам.

Как всегда, Сыроежка оказался прав.

КОМИССИЯ

По сравнению с антроповским замордованным интернатом наш степинский был просто махновская вольница «Гуляй-поле». Правда, слишком много поля и слишком мало «гуляй».

Когда комиссия по проверке идейно-воспитательной работы приехала к нам из Антропова, то у нее сразу же мозги набекрень поехали. Вместо заискивающих изможденных детдомовцев они увидели банду малолетних головорезов. Вместо красных пионерских галстуков на наших черных шеях болтались массивные оловянные кастеты с зубьями и без. Мы их отливали в кузне в формах из брюквы. Каждый по своему вкусу. Некоторые имели по два кастета. Так сказать, парадный и повседневный. На поясе у каждого в ножнах висела финка. Неважно, что финка была из расклепанного гвоздя, а ножны из бересты – все равно это было грозное оружие. А у Сыроежки это была настоящая финка в настоящих ножнах. В окрестных деревнях уже было хорошо известно, что и кастеты, и ножи у интернатских не «для блезиру». Они давали нам чувство уверенности, а деревенским постепенно внушили уважение. У комиссии же возникли совершенно другие чувства.

Комиссию возглавляла ленинградская училка из больших начальниц. Звали ее Ольга Ольдерогге. Она приходилась то ли сестрой, то ли женой знаменитому ученому. По приезде она собиралась сразу же дать взбучку нашей директорше. Но наша тоже была «не в поле обсевок». Ее муж был видный танковый конструктор на Кировском заводе, и на разных заполосных гороновских теток она плевать хотела. Так она этой Ольдерогге и сказала:

– Вы приехали – и занимайтесь своими делами, а у меня свои дела с колхозным быком.

Она еще надеялась уговорить быка обиходить нашу Майку и обеспечить нас молоком весной. Мы дружно пожелали ей успеха и повернулись к комиссии. Ольдерогге была тетка злющая, носила пенсне, и понятно, что прозвище у нее было «Кобра». Она посмотрела на нас, безошибочно выбрала Пету Маськова, у которого была физиономия менее злобная, чем у остальных, и велела:

– Позовите всех школьников в ваш дом, и поживее.

Пета рванулся в соседнюю избу и заорал:

– Все школьники, к нам на собрание, быстро! Из Антропова Кобра приехала – рыло чистить!

Пока народ собирался, Кобра осмотрела нашу избу.

– Просторно живете, – сказала она с завистью.

В Антропове спали на сплошных двухярусных нарах, а мы располагались на топчанах, которые сколотили под руководством дедушки Тупицына. Дедушка учил нас, что топчаны должны быть на вырост. «Года за четыре вы воон как вымахаете!» Он полагал, что раз первая война с германцем была четыре года, то и на эту уйдет не меньше. Каждый еще сколотил себе прикроватную тумбочку, а у братьев Тихомировых был цельный шкаф. Кобра сразу же шаст в шкаф, и на нее посыпались с полки репа, морковь, лук и другие сельхозпродукты, принесенные с колхозного и личных огородов. Кобра поставила эти овощи на стол, села на лавку, рассадил остальных двух теток по обе стороны от себя и объявила собрание открытым.

– Кто у нас председатель совета отряда? – спросила она.

Мы недоуменно переглянулись. Многие уже забыли, что это такое. А некоторые, которые проросли из малышей уже тут, и слухом не слыхали.

– Так кто же у нас самый главный? – повторила Кобра.

Подхалим Пета Маськов неуверенно спросил:

– Неужели товарищ Сталин?

Мы думали, что Кобра взорвется и разлетится на куски. Пенсне у нее слетело, она его судорожно поймала, пытаясь водрузить на нос, но оно снова соскочило. Малыши заржали, подумали: тетя приехала их повеселить, и приготовились к новым фокусам.

– Ну хорошо, то есть плохо. Просто отвратительно! Тогда ответьте, кто у вас тут старший!

Мы снова переглянулись, и кто-то спросил:

– Старший – это как, по возрасту? Тогда это Аркадий. Он пошел с директоршей к быку, корову случать. Тут уже прыснули наши девицы.

– Молчать! – взвизгнула Кобра. – Я вас спрашиваю, тут есть кто-нибудь главный, с кем можно разговаривать?

И мы дружно закричали:

– Есть! Есть! Сыроежка!

– Покажитесь, Сыроежкин, – сказала Кобра, – как вас зовут?

Сыроежка поднялся с топчана и сказал:

– Сыроежка – так и зовут.

– Хорошо, – сказала Кобра, – так и запишем, – Сыроежка Сыроежкин.

Она уже внутренне подломилась и готова была к компромиссу.

– Скажите мне, Сыроежка, – что это у вас на шеях висит? Тотемы, амулеты, обереги?

Сыроежка захлопал глазами, а отличница и выскочка Галя Белышева радостно подтвердила:

– Это обереги!

Кобра примирительно спросила:

– И как они, действуют?

– Еще как действуют, – расхрабрилась Галя, – как эти пристанут, или начнут выё... – тут Галя сгоряча брякнула, что именно они начнут, – так наши этими самими оберегами их по соплям – очень хорошо оберегает!

Комиссия застыла вновь в состоянии полного изумления. Очнувшись, Кобра решила не заостряться и сменила тему:

– А вот эти овощи – откуда эти овощи у вас?

– Мы их спи...

Но тут Гале кто-то закрыл рот ладонью, а Сыроежка взял инициативу в свои руки:

– Овощи мы собрали на воскреснике.

– И положили к себе в шкафчик, – ехидно добавила Кобра, – утаили от Красной Армии. Разве эта брюква, – и она взяла какой-то корнеплод со стола и показала его нам, – теперь будет бить по врагу?

Кто-то мрачно заметил:

– Это репа.

– Тем более, – разозлилась Кобра, – разве эта репа будет бить по врагу?

Мы посмотрели на репу и представили себе, как она может бить по врагу. Из рогатки, что ли? Я вспомнил картину из Эрмитажа «Давид и Голиаф» – Давид с пращей и Голиаф с дыркой во лбу. Если вместо камня засобачить репой? Давид с репой и Голиаф. Нет, пожалуй репа не будет бить по врагу, а эта и подавно. Мы же ее съедим сегодня вечером.

И как бы угадав ход моих мыслей, Кобра продолжила:

– Вместо того чтобы отправить все эти овощи на фронт или в тыл рабочим танковых заводов, вы просто украли их, чтобы самим сожрать. А разве эта луковица будет бить по врагу?

Вместо сомнительного корнеплода она взяла и подняла большую золотистую луковицу. И тут Сыроежка, которому вся эта бодяга уже давно надоела, сказал веско:

– Будет!

– Как это, как это? – сбилась со своего прокурорского тона Кобра.

– А так, – сказал Сыроежка, – что когда батя узнает, что я эту луковицу схавал и у меня цинга прошла, а ее батя, – ткнул он в Галю, – что у его дочки на морде фурункулы засохли после этого воскресника, то у них сразу боевой дух поднимется, и они этих танков еще дюжину наклепают. Пусть лучше мы все это съедим себе на здоровье, чем оно под снег пойдет и сгниет.

В 42-м году, когда за собранные в поле колоски можно было и срок получить, такое заявление звучало более чем смело. Члены комиссии переглянулись. Кобра спросила:

– Тебе сколько лет, Сыроежка?

– Двенадцать.

– Думай, что говоришь! Если бы тебе было четырнадцать, тогда бы с тобой в другом месте поговорили.

– В другом месте я и в одиннадцать наговорился, – огрызнулся Сыроежка.

Кобра встала и, обратившись к комиссии, подвела итог:

– Ну что же, надеюсь, товарищам всё ясно. По воспитательной работе у меня вопросов больше нет. Какие другие вопросы будут у комиссии?

Тогда одна пожилая тетка, докторша из местных, спросила:

– Как у вас с педикулёзом? Мальчики, я смотрю, все стриженые, а у девочек?

– Нет у нас педикулёза, – снова выскочила Галя Бelyшева, – понос бывает, а педикулеза нет, мы его изжили.

И это была правда. Мы его изжили, так же, как изжили фурункулёз, цингу и чешотку. В это время в избу вошел Аркадий, мы все рванулись к нему. Сыроежка спросил:

– Ну, как?

Аркадий, отдуваясь, ответил:

Ну и умаялся же я! Взял со стола луковицу, откусил половину, захрустел.

– Черт с тобой, что ты умаялся! А бык как?

– Бык тоже умаялся, сейчас отдыхает.

– Ну, не тяни жилы, – рявкнул на него Сыроежка.

– Огулял! – торжественно провозгласил Аркадий. И мы, как сумашедшие, заорали:

– Ура!!

И повалили из избы, сшибая комиссию. На радостях директорша пригласила комиссию пообедать, а мне велела задать ихней лошади сена. Я и им сена подложил под их тощие зады, в бричку. Сухо прощаясь, Кобра спросила меня:

– Вы, кажется, из интеллигентной семьи? Как вас здесь, не третируют? Не хотите в Антропово перевестись?

Прокрутив в голове варианты ответов, я выбрал самый дипломатичный и сказал:

– В гробу я видал ваше Антропово – у нас веселей.

Докторша хлестнула кобылу, и они укатили, скрывшись за бугром. Больше мы их не видели.

Корова Майка стала всеобщей любимицей. Каждый, возвращаясь с полей, нес ей самую сочную охапку клевера. Ее стойло выгребали и чистили по два раза на день, а когда родился теленок, его поместили в столовую в теплый угол, огородили ему место, и он мычал басом каждый раз, когда мы приходили обедать.

Когда директорше надоело предупреждать всех, как надо себя с ним вести, она написала на картонке: *Теленка в морду не целовать*, и прибила к загородке. Так табличка и провисела у нас в столовой, пока теленок не вымахал в здорового бычка. Имя ему само напрашивалось – *Выковыренник*, или, сокращенно, *Выря*. Когда его повезли в Антропово сдавать на мясо, меня уже в интернате не было, а Аркадия еще раньше забрали в пехотное училище.

БАБОЧКА СКАЖЕТ ЖИЗНЬ...

* * *

Волк в овчарне, следы случайного божества.
Белые, глядящие вверх цветы.
Гудящий чайник. Утром ничего не говорит Москва.
Москва в руках торжествующей гопоты.
Москва принадлежит предателям, дуракам,
сволочи, у которой все пальцы давно во рту,
поэтому не за вас поднимаю свой тяжелый стакан,
синеющий на свету.

Рука печальная все не решается помахать,
и на причале только и смех, что блиц
различает, чтобы фотографию угадать,
такая, наверное, особенность у столиц –
кроить по образу, когда образ нынче один –
борца со свободой за собственные права.
Как получилось, настойчивый господин,
что у тебя на дворе не растет трава?

Утром лица белы, да голоса красны.
Рельсы остры, масло еще в цветке.
Время вставать, десять часов весны.
Время гулять погоду рука в руке.
Время кружить по городу вальс-бостон,
воздух пить, набираясь случайных сил.
Слушать, как нежно за голубым мостом
песню поет буксир.

* * *

Пашня, мягкая, как хлеб, солнце прячется в малине,
пароходы облаков разрывают небеса,
ты не смотришь мне вослед, я лечу на цеппелине,
только здесь, и был таков, полосатый, как оса.

Плеск воды, а рыбы нет, жар огня, а мы устали,
белым голубем летит яблонева судьба.
Звезды в поисках комет, жук сидит на пьедестале,
он блестит, как апатит, капли падают со лба.

Тихо в доме, но зато в нем живут не для забавы,
пиво черное жуют, фонари горят дотла.
Не откроет вам никто, от Берлина до Полтавы.
Будет каменным уют для железного тепла.

Хлеб давно тебе не брат, только водка колкой горстью
забирает воздух твой, оставляя пустоту,
будешь сам себе не рад, привечая эту гостью,
по ледовой мостовой, на расшатанном мосту.

Но она тебя поймет, губы в губы, грудь ломает
вздорных звуков череда, голоса вчерашних дней.
Эти губы – чистый мед, но она тебя не знает,
в этой жизни никогда не встречайся с ней.

постылый романс

никогда я не стану отвечать на чужие звонки
лучше выпью вина лучше выйду во двор покурить
сердца полая рана отпечаток горячей руки
остаешься одна с кем ты станешь теперь говорить

утром воздух лежит обнимая туман за ключицы
не заря нас звала а усталая воля судьбы
приготовимся жить угадав приближение волчицы
из лесного угла где деревьев промокли столбы

нас никто не зовет только никнут под тяжестью ливня
плечи старых холмов где дорога лежит на земле
состоим из пустот и цены нам пробитая гривна
толкователи снов мы остались навек в ковчеге

открывая плечом эти черные страшные двери
рюмку солнца возьму чтобы светом лечить темноту
написать бы еще да чернил не достать в англере
да не сладить уму если слово замерзло во рту

суетная нота

цветок бессилия. растение суицида. сельва зовет тебя.
а ты такая красивая, глазом одаришь, рублем погладишь,
сельдью стремительной в горло нырнешь,
а что там у тебя за огонек, ты мне его в сердце вставишь,
или посадишь меня на нож?

ртуть кружит голову, олово стынет на сыром сквозняке.
одними уколами не получится гадать по руке.
иди ко мне, цыганочка, цыпленка своего не зови,
а сан саныча сегодня загрызут соловьи.
хочешь весны, скоромная, гладиолусы рви-не рви.
ничего, что так громко я о твоей любви?

пенка, пеночка, песня твоя легка.
здравствуй, милая девочка, гибкая, как строка.
пишу тебя, а что там у тебя за жернова?
это хлеб ломать, или ты опять не права?
это мы так познакомимся, или опять зима?
делай, как хочется. потом уходи сама.

* * *

На полях сидят грачи, огромные резиновые птицы,
в их желтых клювах приготовлен март, жуки бегут, но черные быстрее,
еще они так любят розовых, мягких дождевых червей,
а черви не кричат, когда их запихивают в глотку.

Сегодняшнее утро начиналось медленно, неспешно,
осторожно, горячее молоко смешалось с медом, малиновый чай,
еще сухой и страшно потенциальный, ждал в банке,
а рядом гречневая крупа пыталась что-то сказать нам,
но жестяная крышка глушила речь.

Сегодня утром воздух потеплел, над прошлогодней травой
поднялся небольшой пар, такой домашний пар,
высотой в спичечный коробок, а трава желтая,
а деревьев стволы черные.

Открывай все окна, воздух соткан из солнца и кислорода,
открывай двери, слушай, как происходит наше временное всегда.
Дуй на все, что пьешь, только не дуй на воду,
она и так холодна, эта медленная вода.

Поверни лицо к свету, оно станет золотом, или небом,
улыбнись, началась весна,
птицы, закрывают все поле своим черным, своим бесконечным хлебом,
и солнце зовет вверх, желанное, как блесна.

* * *

На небе козы, а в кустах соловьи,
високосные слезы самой, что ни на есть, любви,
сероглазые камни самого, что ни на нет, ручья,
была карма, стала опять ничья.

Ешь чахохбили, и тебя упрекнут за вкус.
Меня убили. Больше я не боюсь.
Отравили паточкой, никого больше не узнаю.
Меньше капает алое на скамью.

На рассвете зеркала отражают мрак,
ночь не ушла, осталась, в грязном стекле кипит.
Ты друг мне, или опять камарад,
которого маленький ленин в душе не спит?

На земле пьезозвук станет отражением пустоты.
Суп наливай, есть хочу. Хлеба не пожалей.
Пилишь сук, а оказывается, это ты.
Жжешь свечу. Ждешь заводных шмелей.

Я вернулся, вы давно хороши.
Маленький ленин укусит, и был таков.
Или грызет от хребта до холостой души.
От стихов моих до самых моих стихов.

* * *

Говори, чья, она сама тебя, брат, прости.
На запах и вкус, на завалинке, грея выцветшего кота.
В окружении дурачья ум спит.
Станешь пуст, когда случается дурота.

Мир эклектики, хоть об забор бей.
Распугаешь, брат, голубей, пить дать.
А сытому волку что ты, что взъерошенный воробей.
Вы одинаково нехороши летать.

Завтра утром ротор прогонит в провода ток,
колба забыла свет, только и знает, что брать спирт.
Если пахнет паленым, это горит восток.
Он всегда горит, замечая, что запад спит.

Занавески тронет сквозняк, бабочка скажет жизнь,
яблоко катится никуда.
Ты от меня беги, спать не ложись.
Между нами должна пролететь звезда.

Говори, чей, и ручей тебя унесет,
ты пропадешь в солнечной чешуе ручья.
Звездочет, небесная рыба, хмельной осетр,
нож в руках прочего дурачья.

Не говори алмаз, глазам станет совсем светло,
холод глаз – это единственное стекло,
в котором еще отражается день деньской,
не говори о пожаре, сам удушишь себя тоской,
еще живой, сверкающий не урони карат,
не говори ничего, молчание лучше, брат.

Прощание

На заре серая птица поднимается выше солнца,
дождь хочет пролиться, но ему не хватает сердца.
Ты стоишь на пороге, окруженная дымом ситца,
но ты не любишь его соседства.

Ты сама по себе, ты прялка и ты же пряжа,
ты песня, ты горло, ты белая, как бумага.
Сегодня никто больше тебе ничего не скажет,
сон твой алый будет сильнее и слаще мака.

Заката злато, кислит оранжевая облепиха,
ложатся спать меховые, а голые прячут лица.
Ты прости, что я ухожу так тихо.
Все как впервые, будет, зачем проститься.

Ты пойдешь прясть свою дорогую пряжу.
Я пойду плесть свою песню, былинку, сагу.
Потом ты без меня ляжешь.
Потом я не с тобой лягу.

* * *

Кейсария. Уходящий в песок акведук. На другой стороне земли серая утка тихо скажет тебе: дук-дук. Так что теперь голи. До десяти, если десять еще наберешь. Если не страшно тебе считать. Помнишь, ты украл хлебный нож, чтобы сердце его достать.

Корабел стоит у руля, но ему не дали ветрил.
Роза ветров цветет, но не дает корней.
Ты смотришь вниз, там земля, но ты ли ее открыл,
или это просто игра дорогих теней?

Поэтому пой себе, все остальное – разброд, разбой,
воровство последнего, когда первого не видал.
Серая утка плывет в воздухе над тобой.
Глаза ее, протяжные, как миндаль.

ПИСЬМА ДЛЯ ДАВИДА

роман

*"Yet when I go, my body stands
And when I stand, I lie"*

English riddle¹

1

В тёмной-тёмной комнате, на чёрном-чёрном стуле сидел чернобровый и чернотусый мужчина лет пятидесяти, худосочный, с курчавым окаймлением веснушчатой плешины. В чёрных носках. И в чёрном костюме с галстуком. Прямо перед ним на подушках у стены, скрестив ноги, сидел широколицый азиат. Ровный полукруг его смуглой лысины незаметно перетекал на гладкие щёки. А расстёгнутая на груди светлая рубашка облегла круглый живот и покатые крепкие плечи.

Два аромата, не смешиваясь, делили пространство в неподвижном воздухе – тёплое благоухание сандалового масла и резкий запах только что купленного кожаного ремня или чемодана. Так ещё пахнут новые автомобили внутри.

– Галстук тебе не мешает? – певуче обратился круглолицый к худосочному, от которого и разносился кожгалантерейный дух.

Тот стал развязывать узел на шее. Сначала одной рукой, потом двумя. Долго. В конце, когда шёлковый хвост уже выскальзывал из воротника, послышался звук «з-з-з». И галстук опустили на пол.

– А пиджак?

Пиджак упал с лёгким стуком, как будто в одном из карманов лежал пистолет.

– Иди сюда, посиди!

Худощавый перешёл и сел рядом.

– Покажи часы.

Он снял часы и протянул их вправо. Два раза они качнулись у него в руке и повисли на серебристом браслете.

Закрытые жалюзи матово белели своими рёбрами. Там, за окном, серое мартовское небо всё никак не прояснялось, и дневного света едва хватало на подоконник и на ближайший к нему край ковра. Кроме этих двух пятен, остальные предметы в комнате распознавались с трудом.

– Хорошие часы. Где купил?

– В Сингапуре.

– Я так и думал. В магазине?

В ответ худощавый мотнул головой. Часы оказались тяжёлыми. Чтобы держать их в пальцах вытянутой руки, ему пришлось довольно сильно напрягать большое плечо.

¹ Английская загадка: «Когда я иду, моё тело стоит, когда я стою – я лгу» (перевод Самуила Маршака). Разгадка – часы.

- А где?
- В аэропорту.

Через рубашку шёл жар, а вскоре стала просачиваться и кисловатая резь. Потом черноусый почувствовал, что на его плешине выступили капельки пота. Он спросил себя, зачем он терпит это «сверление» в лопатке, но не смог ничего сообразить. Потому что всё, что могла бы различить его мысль, было выровнено вдруг разлившейся грустью.

Черноусый вспомнил пар, выдыхаемый меж белых зубов Зухры. Она улыбалась одним ртом, глядя на блестящие в синеве вершины чилийских Анд. Лицо её, с чёрными глазами и грубой, как у индейцев, кожей, было совершенно мужским. И встающее солнце освещало эту её дурацкую шапку из альпаки, словно ещё один горный пик.

- С подсветкой?
- Не знаю.

Наконец часы у него забрали. Спустя короткий миг рядом в голубом сиянии возникло лицо его собеседника – тонкие губы и маленький азиатский нос.

- Четыре утра! А? – подсветка погасла.

– Это перуанское время. Я специально не перевожу, – пояснил черноусый, разминая пальцами плечо и шею. – Я там, в Лиме, познакомился с одним человеком в гостинице. У нас были балконы рядом, с видом на соседние крыши. И мы как-то вечером пили там кофе.

Перед глазами черноусого отпечатался тот самый – нарядный и шумный после палящего дня – далёкий мир. Стены красные, как мак. Решётки балконов чёрные. Золотистый херес. И глаза, тоже золотистые от солнца.

– Он мне рассказал, что приехал к индейцам, а из гостиницы ни разу не вышел. «В горах дожди, – говорит, – по утрам холодно. А у меня, – говорит, – такая-то болезнь, такая-то стадия», – черноусый рассмеялся. – Я размяк. Сижую, греюсь, вдыхаю вонь главной их авениды, а он мне про свою болезнь начал плести. Какая у него там стадия... Ну, я его, конечно, послал с его «стадией» куда следует! Благо он ни бельмеса не понял.

В голубом свете опять мелькнула монгольская маска круглолицего. Он вернул часы и легко поднялся с подушек.

- Давай-ка прибери здесь! Зайду минут через сорок. Чаю попьём.

2

Табло под потолком передёрнулось, проглатывая костлявую четырёхзначную цифру, и зелёные чёрточки расположились по-новому. «12.00».

Жоржик закрыл рабочую тетрадь и вытер вспотевшую ладошку. В комнате, где он вёл записи, не было ни одного окна, и звуки с нижних этажей сюда не доносились. Лишь деликатно гудели лампы да звенели каблук секретаря и медсестёр в коридоре. Он вспомнил запах столовой. Вернее, запах бледного, едва тёплого омлета, выложенного на большой поддон. Родной запах.

В возбуждении он быстро поднялся и вышел. Через несколько шагов он оказался в галерее, где вдруг остановился, толкнул сильнее приоткрытую раму и высунулся наружу. Маленькие его ноздри несколько раз расширились, как у собаки. Он зажмурил глаза, повернул лицо навстречу солнечному теплу и больше минуты сквозь веки наблюдал его живое розовое свечение. А когда ресницы с дрожанием расцепились, увидел и сам сияющий чистый диск....

Смотреть на солнце оказалось легко. словно через кисель. То ли это был пар от обильно политой дождём земли, то ли утренний туман, поднимаясь, упёрся в белесые облака, но только сразу за окном начиналось плотное и душистое небо.

- «Трава родится», – проплыли слова в голове.

Он ещё сильнее втянул ноздрями воздух и представил, как будет жарко здесь на галерее уже в июне. Как будут носиться ласточки. Как он будет всматриваться сквозь летнее марево, пытаясь разглядеть выгоревшие макушки гор. И как на закате будут сверкать стёкла машин у самого горизонта. Там, где дорога опоясывает склон крайней справа горы...

Внизу прогуливались психи. Жоржик высунулся ещё сильнее и лёг животом на раму. Дождевых червей на асфальте ещё быть не могло, слишком рано, но пахло уже многообещающе – сыро и тепло. В луже, что была ближе всего к корпусу, задрав голову, стоял пациент. Жоржик и не собирался делать ему замечание, но когда глаза их встретились, тот сам выбрался из воды и, улыбаясь, направился в сторону ворот. Ещё двое стояли в центре квадратного двора, беззвучно шевелили губами и кивали друг другу – разговаривали. Жорж поискал глазами майора, с которым проговорил вчера полночи, но его нигде видно не было. Зато гулял новенький.

Немного наклонив голову вперёд и захватив за спиной локоть, он прохаживался вдоль стены столовой; Жоржик сразу вспомнил один фильм, в котором преданный своими слугами царевич – весь в атласе, в золотом тюрбане – в таком же вот точно унынии бродил по каземату. Новенький, разумеется, был без тюрбана. Вытянутая шея. Мелкий, плавный шаг. Остановка. Ещё два шага. Поворот. Ещё несколько шажков полукругом. Остановка.

«Говорили, писатель, а похож на артиста балета...» Жоржик с интересом следил за движениями его голых ног в больничных тапочках. Голубые вены на икрах, алые пятки. Раз – два – три – четыре – стоп. Поворот – и раз – и два!

«Царевич» сделал ещё несколько непонятных поворотов, затем огляделся, перешёл к началу стены и повернулся. Голова и плечи его опять стали наливаться тяжестью и вскоре вновь опустились.

Жоржик тоже вытянул вперёд нос и шею, и когда пациент снова принялся вышагивать вдоль стены, вдруг догадался, нет – увидел! – увидел, что тот не просто выписывает кренделя ногами, а двигается точно вдоль намеченных линий. Ну конечно, вот же:

...выглядывая по очереди из-под полы халата, худые ноги вытоптали на асфальте букву *Я*; так, перешли ещё на два шажка и вытоптали... – *У*; переход на один шаг и... – *Б*. Переход – *И*, переход – *Л*...

Пауза.

Всё?

Да. Побрели назад.

– *Я У И Л*, – весь двор, все окна корпуса, все фигуры и предметы, включая мельчайшие кремневые камешки, прилипшие к подошвам тапочек, недоуменно оцепенели вместе с Жоржиком. – *Я У И Л ?*

Наконец пропущенная буква вышла из темноты, прыгнула на своё место.

Я У Б И Л.

3

«...Днём море или зеленое, или изумрудное, или серое, а вечером бывает молочное и лиловое. Утром я сплю. Это самое счастливое время моего плаванья – остальное время меня тошнит. Анна Фёдоровна накупила разных пилюль, так что меня не рвёт, а только мутит. Запахов я не различаю, есть не могу, фотографировать нечего. Прости, рюшечка, за такое нудное письмо – но если бы ты знала, как странно, когда твоя заветная мечта сбывается так буквально и неинтересно.

Вчера после ужина посадили меня за рояль в кают-компании. И знаешь, что я играл? – Песни из кинофильмов. Думаю, было слышно на весь Атлантический океан. Там были огромные иллюминаторы, и я видел на небе розовую полосу, которая всё тянулась и тянулась над горизонтом. И тогда я заиграл Грига. Песню Сольвейг. А у нас капитан и главный стюард – норвежцы. Они угостили меня водкой.

Ты моя Сольвейг, рюшечка! Ты ждёшь меня, а я жду Америку и проникаюсь братскими чувствами к Колумбу, Веспуччи и викингам, которые её нам открыли. Вот они натерпелись, бедные, на своих лодчонках. Легче всего сказать, что их не мutilо! А если мutilо?! Просто люди умели терпеть...

Честно говоря, я ужасно-ужасно волнуюсь, как я справлюсь с заданием Давида. Никогда, ни перед одним концертом я так не волновался. Сегодня писал ему про море. Получилось ужасно. Особенно про запах водорослей, который я совсем не различаю. Нюхал, нюхал, изо всех сил, голова даже закружилась – пахнет каким-то шампунем хвойным, которым тут палубы моют. А в каюте пахнет самолётом. Целуй руки маме Тане. Одинцову мою панику не выдавай. Сама не унывай. Буду писать теперь уже с суши. Паша. Атлантический Океан»

Лена сложила письмо по линии, пригладила пальцами угол сгиба и в течение минуты терпеливо просовывала непослушный листок в конверт. Прежде чем кинуть конверт на стол, она ещё раз взглянула на марку. Там был нарисован большой пупырчатый лимон на ветке. В школе они с подружкой менялись – цветы на животные. Она вспомнила движение – подцепить марку ноготком и склеить... Писем было много. Но раскладывать их в правильной очерёдности ей было лень. Она взяла следующее и посмотрела на штампель: 16.12.2003. Это что – середина декабря? Да, декабря...

...просыпаешься из глубины тепла – горячие ноги стиснули его колено, перед глазами змейки волос на его груди, а за сверкающим окном яркое морозное утро. И долго лежишь, не снимая жаркую щеку с его руки; солнце сквозь стёкла «жарит» тебе другую щеку и плечо, а ты лежишь, разглядываешь его кожу, как она лоснится от мельчайших, перламутровых капелек пота; и его сосок просвечивается насквозь...

Она убрала волосы за ухо и стала распечатывать конверт. Там была открытка. Улица с автомобилями и флагами. Цветы на окнах. Наверное, гостиница. Да, вот надпись... Лена вспыхнула и сжалась, как от удара. «Что же это, Господи?! Что же это со мной?!» – английскими буквами было написано его имя.

...DAVID...

«Ну и что? Ну, Давид? И что?» Она словно трясла себя за плечи, оставаясь при этом недвижимой, как статуя. Паша, наверное, прислал в шутку. Увидел совпадение. Наверное, и ему такую же послал. Сейчас прочтём – послал он ему такую же или нет. Если нет, то можно позвонить, сказать, что вот, смотри, какая шутка... Смотри! Ой-ой-ой... Какая я дура! Невидящими глазами она всё же складывала из букв слова, выискивая единственно нужную ей информацию, и потом наткнулась на неё.

«...Точно такую же я послал Одинцову. Пусть знает, что в честь него называют огромные города. А то он ревновал, что Павловск есть, а Давидовска нет...»

«Значит послал. Всё – успокойся! Послал. Сиди и читай дальше», – руки продолжали дрожать, и Лена стала перемешивать и крутить сваленную блином колоду писем: ...три, четыре, пять, шесть, семь – точно больше десяти. Пятнадцать или двадцать... Да уж, написал Павлик роман – до вечера хватит.

Она представила, что вечер уже наступил, что за окном качаются голые ветки каштана, а её голова и плечи вместе со спинкой дивана – копия сфинкса... В других окнах уже зажгли свет, а она не хочет даже пошевелиться и сидит в темноте. До вечера. А потом поем. Она кивнула и стала читать открытку сначала.

4

Жорж Санд так обрадовался своему внезапному прозрению, что сначала совершенно не принял в расчёт смысл самого этого слова – убил. Восторженно в ожидании новой надписи раскрыл он глаза и затаил дыхание... Но новой надписи не было. Было опять – Я УБИЛ. А потом опять – Я, опять – У, опять – Б...

Царапая соседний карниз коготками, запрыгал вокруг своей подружки воробей. От резкого звука у Жоржика похолодела спина, и он рефлекторно подался с подоконника немного назад. Постепенно голова заработала и заискрил в поисках ответа мозг.

«Ну, так. Ну, что... Либо этот парень помешанный, считающий себя убийцей... Либо он и в самом деле... голоногий душегуб», – думал Жорж. Конечно, ему не хотелось бы оказаться рядом с человекоубийцей. Мёртвое тело – а он представлял его себе жёлтым, сладко пахнущим, с бесстыже раскрытым пахом – казалось ему непременно заразным. Причём заразным на расстоянии, как радиация. И человекоубийца, с его точки зрения, непременно был тоже заразным. И надо бы подальше, подальше от этой закваски, чтобы ни капелька, ни шелушинка какая-нибудь не попали...

Жоржик отодвинулся от окна ещё глубже, так, чтобы снизу его нельзя было заметить, и стал следить за движениями новичка.

Лёгкое тело, тяжёлая голова. Плечами назад, носом вниз... Ничто в нём не вызывало неприязни. Даже наоборот. Может, он просто не знает, кому сказать, и поэтому пишет. «Сколько раз ведь ты сам, точно так же – говоришь с кем-то, а никто тебя и не слушает... – продолжал размышлять Жоржик, и вдруг красивая, как стрекоза, мысль сверкнула у него в голове. Ну как же! А когда ты сам, ты разве не думаешь – а почему никто со мной...» Волна мурашек пробежала по его спине и разбилась в затылке на целую армаду горячих звёздочек, и он потерял нить рассуждения.

«Так, – немного обмякнув, вздохнул Жоржик, потому что ясности не прибавилось. И что?... Что ж это значит? Вариант телеграфа? Робинзон жёг костер, индейцы, те вообще выкладывали на полях что-то безразмерное из камней – только птицы сверху могли прочесть. А этот, значит, ногами, да? Ну а чего тогда не руками?...» В ответ перед ним возникла картина: среди огромных мутных валов, в пелене брызг, качается на мостике моряк в чёрном бушлате, суровый взгляд, сдвинул зубы покрепче, и ну давай: несколько взмахов флажками: раз – два – три! Провалится мостик меж валов, выглянет снова, стечёт пена с палубы, а он опять флажки в стороны – и: раз – два – три! Лицом в голый горизонт: Я УБИЛ. Я УБИЛ. Я УБИЛ. Машет и машет. Бессмыслица какая-то...

А если не бессмыслица? Если это сигналият тебе: «SOS»? Ты тут на глубине сидишь, в перископ смотришь и думаешь: всплывать тебе или не всплывать? Всё! – яростно скомандовал он самому себе, – всплывай! Иди уже, подойди к нему! Пока ты нужен! Быстрее уже, ну! Ну!

Жоржик затрубил. Туру-ту-ту! Туру-ту-ту!.. И не давая себе опомниться (или, как сказали бы некоторые, «образумиться», ибо он был отчасти безумен, в чём можно будет убедиться немного позже), Жоржик быстро зашагал к двери, а потом побежал вниз – «туру-ту-ту!» – раскачивая перила и даже перепрыгивая по три-четыре ступеньки на каждом пролёте загудевшей под его прыжками лестницы.

5

«Мы выследили Мирабеллу и затащили её в пикап, когда она возвращалась из театра. Привезли на пустырь, и там эти двое "цивилов" стали уговаривать её саму

все сделать. А мы с Грыжей курили снаружи, под звёздами. По-моему, Грыжа ссал. А я нет. Мне было, как от вина. Всё весело. Всё красиво. Всему есть прощение.

Они попросили показать ей мои железки. Я подошёл к стеклу, потянул за все свои цепочки-струночки и ради славы пустил себе немного крови в губу... Не знаю уж, моей ли прыщавой роже она возрадовалась или ещё там чему, но только она вылезла из машины и сделала всё, о чем они договаривались.

...Грыжа всё ей с головы снял, оставил только запорожскую косу на темени. Стоит, заплетает. И тут она спрашивает: – А сколько, ребят, брови отрастают? – Месяц, – говорю. – Проверено, говорю, собаководами, и на себе проверял. – Да? Ну, тогда сбрей и мне одну бровь тоже, – говорит она Грыже. Ну, он и сбрил, раз просит.

Фото вышли небесные. Красивая она, конечно. И лысая, и любая. И орлята всё равно её любить будут. И пусть! Мы ведь не с ней боролись. А с гидрой заманчивой лжи и с её наглou крyсиной свитой! Вот и сработали... Огневые дни звали нас к новым трудам!»

Дальше шёл гимн про «огневых товарищей». Доктор решил, что с него хватит, и снял очки.

Перед ним сидела дородная заплаканная женщина, глядя на декольте и белые кудри которой, он сразу испытал желание предложить ей вместо стакана воды рюмку коньяка.

– Это не мой профиль, Гала. Здесь нет ничего депрессивного, суицидного. Честно говоря, я вообще здесь не вижу патологии. Форма выражения агрессии вполне известная – и относительно безобидная... Да. А что это за «огневушки»? Новое молодёжное движение?

– Это кошмар, Сергей! Это кошмар! Они жгут города! Города горят! Вы даже не смотрите новости? – мать «командующего фронтом боевого-огневого капрала Башни» встала с дивана и подошла к столу.

Доктор с удовольствием разглядывал её большую грудь, словно налитую тягучим мёдом грудь, ни на секунду при этом не теряя участливого и даже озабоченного выражения лица.

– Да. Новости давно не смотрел. Да, и что... Там ведь только вашу Москву и показывают. Вручения, съезды – всё в одни ворота, как говорится. И психам моим тоже бесполезно... Ну, а чего они там жгут?

– Ну, вот все эти... перетяжки над лицами. Плакаты. Щиты. И уже много актёров пострадало. Сельянову, про которую вы сейчас читали, они действительно безобидно наказали. А вот двух актёров убили. То есть – они сами умерли. Их накормили тем самым продуктом, который они... – она взяла из рук доктора дневник сына и стала им трясти перед своими красивыми пухлыми щеками, но слёзы мешали ей говорить.

– Может, вам пройти сеанс массажа? Вы приехали с мужем? – доктор услышал, что его вопросы звучат двусмысленно, и внутренне улыбнулся. – Нервы-то нужно привести в порядок.

Он встал, обошёл свой стол и довольно сильно сжал ей плечи. Она сразу заплакала в голос и, не прерывая сладкий поток слёз и вздохов, быстро сообщила ему о своём «нетрадиционном» семейном положении. О том, что ей надо ехать обратно, на суд, и о том, что она ждёт от него помощи: адвокату нужно заключение эксперта по поводу дневника сына. И что она может задержаться только на одну ночь, если, конечно, есть свободная комната...

Доктор убрал руки с её плеч и подошёл к телефону. Пока он набирал номер старшей медсестры, Галина Андреевна непрерывно шелестела страницами с гимнами сына и вообще всеми силами и всем разумением своим следила, чтобы в кабинете не воцарилась тишина.

– А фильм вы смотрели, с которого всё началось? Нет? Всё же началось с кинофильма. И эти «огневушки», и «фронтовые». Вот фильм сняли действительно преступники и убийцы. Французы! У них-то ничего подобного не происходит, а у нас и в маленьких городах, и в больших, и... и в Крыму... Одно и то же. Жгут, мажут разной гадостью, обливают краской, надписи идиотские рисуют... Ага, молчу, молчу...

Он стал договариваться о том, чтобы ей выделили комнату и о сеансе массажа, а потом спросил, на чём она приехала.

– На такси. Из аэропорта на такси. А что? Там были...

Доктор опять жестом остановил её и отдал в трубку распоряжение, чтобы ей заказали на утро такси к московскому рейсу и приготовили гостевой завтрак. А Галина Андреевна послушно кивала и охлаждала покрасневший нос, махая тетрадь.

6

Жоржик выбежал из корпуса в тёплую морось двора и, шумно дыша, чуть не вприпрыжку пошёл к новичку. Тот уже стоял, повернувшись к двери, – видимо, услышал топот по лестнице – и холодно смотрел ему прямо в глаза. Жорж замедлил шаг. Затем, сбитый с толку этим холодом, остановился на расстоянии, вытащил из нагрудного кармана ручку и, как молоточком, стал постукивать себя ею по ладони.

– Ваша фамилия какая? – как сумел, он спрятал своё волнение за должностью медицинского работника – он был в белом халате. – Вы ведь писатель?

– Да.

– А фамилия у вас какая? – не зная зачем, допытывался фамилии Жоржик.

– Одинцов.

– А я санитар. Георгий. Буду с вами работать, – он вернул ручку в карман, протянул свою руку для пожатия, но сразу снова убрал её за спину. Жоржик считал, что только руки ведут себя предательски. Но в первую очередь его выдавали, конечно, пятна на лице и одышка.

Одинцов молча следил за движениями Жоржика.

– Мне бы хотелось... Мне надо. Давайте поговорим.

– Это обязательно? – глухо спросил Одинцов, уперев взгляд в мокрый асфальт.

– Ну да. Придётся всё равно. Вы, если не хотите говорить, молчите. А если захотите – говорите.

Пока он мялся, вокруг них со всего двора стали собираться пациенты. Первым, конечно же, задребезжал Дятел, самый дотошный псих на свете.

– Скажите, э-э... А вы наши беседы, э-э, только доктору отдаёте? – он никогда не терял времени даром и считал, что у него всегда есть полное право задать интересующий вопрос. – А, э-э, медсёстры их, случайно, не смотрят?

Жоржик не отвечал.

Подошли другие.

– А правда, что в женском корпусе девушка отравилась? – утробно, вполголоса прогудел ему в ухо Маслов, огромный дядька в синем шёлковом кимоно, и пропустил вперёд своего зардевшегося от смущения друга Сашу. Саша сверкнул глазами и смело, хотя, по обыкновению, всё равно очень тихо уточнил предыдущий вопрос. – Её будут хоронить?

Жорж Санд улыбнулся. Вообще иногда он чувствовал себя с психами более чем комфортно.

– Куда «хоронить»?! – он ласково посмотрел на Тихого Сашу и на великана за его спиной. – Она отравилась шпротами. Поэтому и не пришла на завтрак, – он, наконец, решился, приблизился вплотную к Одинцову и потянул его за рукав. – Пойдёмте за корпус. У меня ключи есть.

– Скажите, э-э-э, а ваши записи можно пациентам проглядывать? Или, э, нельзя? – «Дятел» никогда не менял интонацию, чем и доводил.

Жоржик молчал. Тогда Одинцов вынул ногу из тапочки и почесал себе икру.

– Вы что, тоже, вроде, писатель? – подняв глаза, спросил он.

Жоржик кивнул.

– Ну хорошо... Пойдёмте...

Психи расступились, отдавая должное лечебной процедуре, на которую вели их соратника.

– Привет девушкам! – напутствовал их в спину повеселевший баритон Маслова.

– Георгий Александрович, а можно рядом с вами посидеть, на скамеечке? – на углу корпуса их догнал Тихий Саша.

– Извини, нет. Сегодня нет. – Жорж Санд приложил магнитный ключ к калитке и подержал ограду, чтобы Одинцов мог с порожка перепрыгнуть лужу. А так как ему уже никто ограду не держал, то пришлось, вставляя ботинки в проёмы решётки, перебраться до узкого перешейка. И широким шагом на траву.

«За ночь выросла, – Жоржик с любопытством оглядывал зазеленевший сад и дышал. – Таблетки-то мои запахи как глушили?!» Он вспомнил, что у него тоже есть тайна. Пять, даже уже шесть дней он не пил «свои» таблетки. Новые ощущения то восхищали, то ошеломляли его до испарины, до дрожи. Теперь вот запахи... Надо будет поделиться всем этим с хрупким царевичем, обладателем, наверное, куда большей тайны.

– Жопу промочим, – сказал Одинцов, оглядывая скамейку. Они постояли среди высоких кустов разросшейся сирени и вместе поёжились, когда Жоржик неосторожно качнул один из тонких изогнутых стволов. – Ну, чего? – Одинцов ждал, что санитар будет порасторопней и сам проявит инициативу. Но Жорж молчал. – Или назад... Или сходите к девушкам, попросите одеяло. А лучше – два, а то ноги замёрзли.

– Ага, – согласился Жорж и отправился по дорожке к домику-призраку.

Тут надо бы сказать несколько слов о лечебнице.

«Психиатрической» называть её можно было только с большой натяжкой. По регистрационным документам – это был просто пансион, или, как раньше говорили, дом отдыха с санаторным уклоном. Таких в Пятигорске и Кисловодске в своё время был не один десяток – правда, государственных. Потом, с уходом коммунистов в оппозицию, многие скважины почему-то засохли, дороги осыпались, а персонал весь до единого разбрёлся в поисках пропитания. Близость Кавказа скорее пугала, чем привлекала богатую московскую публику на родные минеральные воды. Ехали в основном в Крыницу, Баден, Карловы Вары – и длилось это без малого двадцать лет. И когда какой-нибудь курортный объект приходил в полную негодность, его выводили из баланса Минздрава и продавали под частные гостиницы; среди прочих продали и этот. Санаторий «Кубань», с пустыми оконными и дверными проёмами, с постаментом при въезде, из которого торчала арматура с остатком казачьего сапожка, и с котельной – копчёной, похожей на чрево парохода, но исправно обогревающей саму себя и пристроенный к ней сарай сторожа.

И вот как-то раз, мягкой, сырой зимой, подкатил к санаторию автомобиль с новым владельцем. (Может быть, это было всего лишь доверенное лицо нового собственника.) Этот человек вылез, без шапки, в пальто и в шарфе. Постоял перед основным корпусом, расставив ноги в чёрных блестящих туфлях, и санаторий – сначала только в его воображении, а потом и в натуре – стал преобразаться.

Получился частный платный закрытый пансион. У одного доктора в Москве была широкая психиатрическая практика. Здесь же ему предложили стать главврачом, а по существу, директором пансионата. И его клиенты, способные заплатить

за своих близких или за себя, потихоньку – на самолётах, на поездах и на машинах – потянулись за доктором. На «Кубу». Так называлось это место у таксистов в аэропорту «Минеральные воды». На «Кубу» – значит, очень далеко. Значит, очень дорого. Но дорога была такая красивая, что большинство пассажиров давали ещё и чаевые. Таксист мог потом неделю не работать.

Обеспеченные люди отправляли сюда своих детей и отцов под присмотр. Под наблюдение. Раз или два раза в год. Покушать, подышать, попить витаминчиков, массаж поделать. Поплывать в бассейне с минеральной водой. Подкорректировать курс антидепрессантов. В корпусе было двадцать мест для мужчин, а во флигеле, в саду – ещё четыре-пять женских мест.

С этим флигелем и с женщинами, которые там периодически поселялись, всё было чуть сложнее, чем с мужчинами. Доктор принципиально не занимался женскими расстройствами, но всё равно решил не отдавать флигелёк ни под гостевой блок, ни для персонала, ни даже под свои личные апартаменты, а придумал такой трюк. Через агентства он находил красивых актрис или манекенщиц, которые за небольшой гонорар соглашались в течение месяца разыгрывать из себя «пациенток». Им вменялось в обязанность всего три вещи: первое – во что бы то ни стало выглядеть обворожительно во всех этих тапочках и халатах. Второе – приходиться в столовую и в бассейн по расписанию. И третье – поменьше улыбаться и смеяться в присутствии настоящих пациентов. Разговаривать им не запрещалось, но доктор организовал такую систему изоляции, что в бассейне их могли видеть только издалека – как они выходят из воды и, закутываясь в халат, исчезают в дальних дверях, – а во время еды девушки сидели с ним за одним столом. Высокие, стройные – и печально ковыряли вилками в мисках. Это было то ещё зрелище. Разве что вместо прожекторов сцена освещалась блестящими глазами неврастеников и тусклыми – меланхоликов.

Сильный эффект наблюдался также при «смене составов». То есть когда кто-нибудь из девушек уезжал и её место за столом несколько дней оставалось занятым. В эти дни многие пациенты становились особенно контактными и открытыми для психотерапевтических бесед с шефом. Они «выздоровливали» на глазах – хотели жить, куда-то ехать, искать... И он их выписывал. И отправлял домой, на полгода. Но некоторые возвращались и того раньше. Они позволяли своим мамкам и папкам довести их до приёмной, смиренно сидели на осмотре и провожали родных одним лишь взглядом; но стоило родственникам отбыть, как они, скрывая возбуждение и дрожь в коленках, быстро спускались во двор, встречали старых знакомых, переговаривались и, наконец, истомившись, устремлялись в столовую. Навстречу свету множества ламп, запахам привычных блюд, лязганью тарелок. Навстречу желанию, грации, нежности, новому очарованию...

Доктор редко нанимал одну и ту же девушку дважды.

7

В аргентинском селении Филочча, что находится при входе в долину Чубут, помимо назначения нового падре, поводов для разговора было всего два: сошедшая с ума Соня, мать хозяина паррильяс², да бригада боливийских сезонных рабочих, вечно предлагающих кокаиновые листья в обмен на любое спиртное. Поэтому появление на пустующей лет десять ферме новых жильцов заметно оживило летние вечера рассказами и легендами, в которых история Бутча и Санданса по праву занимала первое место. «Давненько никто у нас здесь не скрывался», – на разные лады пережёвывали одну и ту же догадку местные сеньоры, продлевая недолгую в Патагонии фиесту ещё одной порцией мате де кока³.

² Таверна (аргент.).

³ Алкогольный напиток из листьев коки (аргент.)

Но всё-таки ни на гангстеров, ни на «политических» поселенцы никоим образом не походили – семейство, а это было именно семейство, а не группа заговорщиков, выглядело мирным и притихшим, а язык, на котором они между собой общались, был сначала определён местными синьорами как немецкий. В Сан-Карлос-де-Барилоче, единственном pobлизи богато курорте, на этом языке говорили многие. Только вот когда на каникулы приехал Мартин, который служил в Барилоче в билиардной, и поболтал с приезжими на трёх известных ему языках, оказалось, что ни маленькая брюнетка, одинаково хорошо говорящая и по-испански, и по-итальянски, ни её муж, белокожий великан, говорящий только по-английски, по-немецки как раз совсем не понимают. Тогда было решено, что они – канадцы. А индейскую девочку лет шести они, возможно, удочерили.

Два молчаливых гаучо навещали их ферму раз в три дня и, видимо, привозили на стареньком «лендровере» всё необходимое. И кроме того, что при них была доверенность на ранчо и на дом и письмо из туристического агентства Буэнос-Айреса с указанием номера счёта в банке, никакой ясности в историю поселенцев они внести не смогли – или не захотели...

Первое время семейство никуда не выходило из домика, который им сняли аргентинские «друзья». А потом стали выходить. Сначала всегда втроем. Они шли по улице, держа девочку за руки, и с опаской кивали всем встречным. Затем он выпивал кофе в баре, ждал гриль-бифо де кастилье бьен эчо⁴, а потом они с девочкой с аппетитом, но всегда отвернувшись от мамы, его пожирала. Остальных посетителей эта картина веселила. Позже они познакомились с местным падре и стали заходить к нему в гости, чтобы поиграть на клавесине. А когда токсикоз у брюнетки усиливался – великан приходил с девочкой вдвоём.

Падре верил всему, что они про себя рассказывали, кроме одного: всё равно он упорно считал, что девочка родилась в индейском племени, а Узбекистан, про который в их рассказе шла речь, – такая же мифическая страна, как и Атлантида. (Кстати, можно не сомневаться, что и в Узбекистане к Патагонии относятся точно так же.)

Как ни странно, но приступы тошноты приходили всегда после десяти-одиннадцати утра. И заканчивались к часу ночи. Иногда легко и быстро, иногда мучительно, но непременно оставляя им время для спокойного и глубокого сна. Когда они это обнаружили, то стали по утрам выходить на более далёкие прогулки. Брюнетка верила, что младенец у неё в животе всё видит: и ясные влажные рассветы в предгорьях Анд, и многоголовые стада овец и лам – шерстяные облака на зелёных склонах, и сельскую церковь с прекрасной, увитой лилиями Мадонной, и одинокую автобусную остановку на шоссе, до которой они доходили, когда солнце уже поднималось над головой. Оттуда после небольшого привала, во время которого они надевали свои шляпы и безуспешно пытались повязать косынку на Зои, они отправлялись назад. Наконец девочка научилась отпускать их руки и стала даже отбегать от них, что вызывало у них обоих беспокойство.

8

На стук Жоржика за стеклом появилась зеленоватого цвета личико с огромными серыми глазами и фиолетовым ртом. Долговязая худышка сама была укутана одеялом, и Жоржику показалось неловким одалживать одеяла именно у неё. Но объяснить ей это через окно он не успел – она уже открыла дверь и выглянула на крыльцо.

– Жорж, тебе чего? – сорванным голосом пробасила худышка. Видимо, её несколько раз вывернуло за ночь.

⁴ Хорошо прожаренное мясо на косточке (аргент.).

– Мне одеяла нужны.

– Ну, заходи...

Жоржик шагнул в дверь, переступил через таз с водой, через раскрытую спортивную сумку с торчащим пучком разноцветных носочков, ещё через одну сумку – и оказался в девичьей спальне, прямо напротив разобранной кровати. Под кроватью стоял ещё один таз. А соседняя кровать была аккуратно застелена.

– Давайте я лучше у них возьму, – он кивнул на застеленную коечку. – А вы им скажете потом. Ладно?

Она кивнула, села на свою кровать и, сложив вместе колени, вытянула вперёд палочки ног, настолько гладкие и тонкие, что шерстяные гольфы полностью сползли к тапочкам.

– Жорж, а зимой здесь холодно?

– Хотите приехать зимой?

– Думаю ещё. Шеф приглашает, на Новый год. Ты, говорят, Деда Мороза играешь?

– Да. Но вообще-то скучно зимой, – Жоржик кое-как сложил покрывало и принялся торомошить пододеяльник.

– А осенью? Красиво?

– Ну, да... Все листья жёлтые.

В комнате было прохладно и приятно пахло незабудками или фиалками. (Девочки всё утро проветривали, а потом разбрызгали, наверное, с полфлакона дорогих духов).

– А ты в настольный теннис умеешь играть?

– Да. Я ведь здесь уже четыре года живу, – складывать вынуженное одеяло ему показалось долго, и он собрал его в комок. Сверху положил покрывало, и ещё одно, с тумбочки, для себя.

– А я одна из девчонок не умею. Они сейчас там режутся! – она встала и лёгким катером прошла по фарватеру к двери, указывая ему путь шарканьем. – Я открою.

Из-за одеял, которые он прижал к груди, Жоржик не видел, что у него там под ногами, и споткнулся обо всё, что только было в прихожей. И наступил в таз. Сероглазая хрипло рассмеялась и даже закашлялась.

Жоржик, наконец, выбрался на крыльцо, пропыхтел что-то вроде «скоро принесу» и зачавкал мокрым ботинком по дорожке, торопясь к другу и унося с собой аромат лесных фиалок.

9

«Ну, первого, понятно, они отмечали, но вот... Где оно? А, вот – 07.01 – он опять пил?! И 12.01 – тоже пил эту... текилу. И 17.01 – опять пил!?!.. – Лена разложила прочитанные письма веером и улыбнулась, отметив, что этот латиноамериканский алкогольный марафон начался у Павлика ещё на корабле. – А здесь, кроме праздников, он и не выпивал. На день рождения Татьяны Васильевны бокал, на мой день рождения бокал. А тут – то фляжку, то бутылку. Так, ну ладно, и дальше чего? Где остальные?»

Она пересчитала письма: четырнадцать писем и одна открытка. С середины ноября по середину января. Сейчас конец марта.

– А как же февраль? – она впервые за три дня сказала несколько слов вслух. И тут же нырнула обратно внутрь. – Почему же он перестал?

«Может, они на почте? Почтальон увидел, что они не поместились в ящике, и отнёс обратно?»

А может, у нас индекс поменяли? Или, может... – страх сжал её так, что она стала дышать ртом. – Надо гнать от себя такие мысли! Нечего фантазировать! Может, ему Одинцов признался – вот он и перестал писать».

– Два месяца! – как же она раньше не заметила. – Надо звонить Одинцову, надо узнать – что же это такое?..

10

– Ага... Давайте.

– Я видел вас из окна.

– Ага.

– Вы рисовали ногами буквы, а я их сверху читал, – Жоржик поёрзал задницей по скамейке и неожиданно заявил. – Я тоже убийца. Я убиваю себя.

Одинцов пожал плечами.

– Если себя, то вы – самоубийца.

– Да разницы-то, в принципе, нет.

– Да?.. Ну, может...

Жоржик кивнул, а Одинцов состроил гримасу, которая, по его мнению, должна была отпугнуть навязчивого санитаря. Он изобразил на лице, что ему ужасно скучно. Что разговор предсказуем до буквы. И что соседство с таким заурядным человеком его чуть ли не унижает.

Жоржик увидел эту маску, весь съёжился вокруг колотушки-сердца, но вместо обиды ощутил почему-то весёлость.

– Вообще-то я здесь тоже пациент! – признание выпрыгнуло из него с удивительной лёгкостью. – Бывший, бывший, конечно. Сiju на таблетках, чтобы не «того». И вот на третий год мне доверили. В общем, взяли на работу. А тут, понимаете... Я решил их больше не пить. Таблетки. Так что теперь, похоже, я скоро всё-таки или «того», или справлюсь. Но уже без таблеток, – Жоржик почти тараторил, слова сами продолжали быстро соскакивать у него с языка. – А от этих таблеток... От них у меня вялость, понимаете? И запахов и звуков нормально не слышно. Я сейчас рядом с девушкой прошёл, а она – пахнет. Вижу ноги её, колени. Не как-то там, а «ви-жу»! В первый раз! А мне тридцать... четыре года. Даже забыл, сколько мне лет, такие у неё колени.

Одинцов посмотрел на мокрый ботинок санитаря, которым тот нервно раскачивал, и вдруг вспомнил выражение матроса Хиля – «ни одного шанса». Это был тот самый случай. Правда, теперь Одинцов не злорадствовал. «У Павлуши тоже не было «ни одного шанса», а он вот спал с Леной. Был у нее первый...» И навалилась на Давида тоска, такая чёрная и злючая, что он сразу понял, что не убежать от неё. «Откуда же ты берёшься, где ты ночуешь, милая? Почему ты меня выбрала в любовники? – найти её зрачки было невозможно, он просто выл в темноту. – Мне другая нравится, ты знаешь, какая. А тут – ты... Оставь меня! Оставь! Пожалей, пощади... Друга я уморил, жену его у него отнял, её сейчас уморю, себя... Мать моя, да насытишься ты когда-нибудь несчастьем моим?! Оо-о, горе мне... Горе мне!..»

Внешне Одинцов сидел почти неподвижно, только слегка наклонил голову. А вот Жоржик, наоборот, всё активнее и активнее шевелился рядом с ним на скамейке. Одинцов прислушался.

– ...чтобы жить! А я прячусь. Спрятался. Разве это не убийство?

– Да... Можно сказать, что убийство, – Одинцов расположился в холодной воде своего отчаяния и был трезв, как космонавт на старте. – Можно мы на сегодня закончим, доктор? Я ещё не готов, вы же видите.

– Не хотите говорить, да? – Жоржик в который раз за их короткое знакомство испытал эффект ледяного душа. – И слушать тоже? И слушать тяжело, да?

– Да.

– ...Молодец, вы, Одинцов. Умеете быть самим собой... Хорошо, – он коротко выдохнул, и его круглая энергичная фигурка вдруг сдулась, а кожа лица посерела; он посмотрел на точку у своих ног на земле и забормотал: – Сейчас закрою... Сейчас...

– Кого вы закроете? – испытывая неловкость, формально спросил Давид через паузу. Тот молчал. Тогда он чуть двинул своей ногой по ноге санитара. – Всё в порядке у вас?

Жоржик покачал головой – нет – и заплакал. А потом поднялся со скамьи и стал собирать одеяла. Сложил кое-как своё и потянул за угол одеяло Одинцова. Одинцов не встал. Тоска его совершенно исчезла. Он слушал хлюпанье толстого санитара так, как будто это были вообще первые звуки после длительной глухоты. Поэтому он дал ему спокойно поплакать, и заодно сам как-то воспрял за эти две минуты.

– Ладно, Георгий, садись. Я уже перехотел уходить. Садись... Давай будем, как ты предлагал, друг другу истории рассказывать. Или что там – положено как? – Одинцов вспомнил запах дешёвых сигарет; страшно захотел затануться и выпустить вонючий ядрёный дым; он так подробно представил себе, как это делает, что невольно, маскируясь под шмыганье, стал принохиваться. – Ну?.. – он ещё несколько раз шмыгнул. – Значит, ты перестал пить таблетки и опять «поехал», да?

– Похоже на то.

– А я куда не «поехал», но вот – тоскую. Бывает, думаю: всё, больше не могу! Но каждый раз обходится. Ты из-за чего «съехал»-то?

– Из-за мамы. А вы?

– Из-за... Из-за... – Одинцов чуть было не запел «Из-за острова на стрежень», – не знаю. Из-за девушки.

– Не любит?

– Не знаю.

– А меня мама любила, – Жоржик успокоился, вытерся, но продолжал стоять под сиренью с одеялом в руках.

– Садись.

Одинцов всё шмыгал, и Жоржик подумал, что у него, наверное, идёт носом кровь. У самого Жоржика такое было на днях. Он сел. И незаметно глянул Одинцову под нос. Нет – крови не было. Он видел красивое лицо. Немного задиристое. Губы слегка кривит. Надменно. Но глаза открытые, жаркие. Может быть, даже испуганные...

– А кого вы убили?

– Друга своего.

– Из-за девушки?

Одинцов кивнул, и они замолчали. «Из-за острова на стрежень, – пел про себя Давид, – на простор речной волны выплывают расписные Стеньки Разина челны...»

– А я, наверное, никогда с девушкой не смогу... По крайней мере, на их месте я бы такого обходил за километр. Но сейчас думаю – если бы мне сказали: она с тобой ляжет, если ты убьёшь, я бы, может, тоже убил. – Жоржик увидел, как худышка вытянулась рядом с ним на кровати. Прямо в одежде. За окном – совершенно жёлтые листья. Она провела пальцами по его виску. Фиалка. – Убил бы, наверняка, – зло сказал он.

Одинцов не выдержал и улыбнулся.

– Если красивая, то убить нормально. Так всегда и было. Если всех выкопать, кого из-за красивых девушек закололи и зарезали, – то мы с тобой, Георгий, будем в хвосте огромной очереди.

– Какой очереди? Куда?

– За девушками! – рассмеялся Одинцов. – Или нет. Мы-то ведь, наоборот, будем в другой очереди. Из тех, которые хотели девушку без очереди получить.

С третьего этажа на их скамейку смотрел доктор. Она была поставлена под окнами его кабинета специально для «визуального наблюдения». Доктор принял

коньяка после визита свой знакомой. И сейчас обсасывал лимонную корку. «Вот и славно. Смеётся себе наш писатель? – Вот и славно. Моя система потому что. Что вы там сидите в Москве – по зазубренному да по протоптанному?! Вот!» Он вытащил языком лимонную косточку и плюнул ею в стекло с точным расчётом, чтобы, срикошетив, она отскочила в горшок с алоэ. «И Галину мы сегодня завалим, и завтра, глядишь, актриски поближе подпустят», – пришлось ещё поцокать, очищая щели между зубов. А потом возникло желание прополоснуть рот ещё одним глотком. Прикидывая варианты, доктор стал закапывать косточку пальцем в чернозём и увлёкся. Палец «превратился» в детородный орган, и он несколько раз сильно ткнул им землю, вдавливая косточку в глубь горшка.

А потом, вычищая чёрное из-под ногтя, вдруг довольно громко сказал: – Ещё, может, и дерево вырастет!..

И полил алоэ из банки.

11

Лена добиралась до квартиры Давида около часа. Троллейбус встал, и все смотрели, как на крыше дома сидит человек с бутылкой. Внизу всё огородили и ждали пожарных. А потом он открыл бутылку и стал из неё выливать – и тогда Лена увидела, что два этажа посередине здания были затянуты белым плакатом с какими-то загорелыми спортсменами-бегунами. Струя лилась прямо на лицо одному из бегунов. Потом человек на крыше зажёл факел и кинул его вниз. И почти сразу два милиционера подбежали с двух сторон к поджигателю и повалили его на спину на скат крыши.

– Спасли! – перекрестилась рядом бабушка в пуховом платке и вопросительно оглядела остальных пассажиров. Но никто не стал комментировать её реплику. Многие смотрели на огонь, который почти мгновенно съел всю картинку и теперь «дожёвывал» более плотную раму. В раме теперь были простые окна. Два ряда по четыре. Цветы в горшках. Тюль. В одном – бабка в пёстром халате машет газетой перед форточкой – выгоняет дым.

«А вдруг Павлуша там заболел?» – неожиданно пришло Лене в голову, когда транспорт, наконец, поехал. Лекарства, страховка – как там всё это оформлено, я даже не знаю. Что, эта "Анна Фёдоровна" – сообразит позвонить куда-нибудь или "скорую" вызвать? Хотя – какую "скорую"?! Они где сейчас? В Мексике? Или, наоборот, в Чили? Я же ничего не знаю! Ничего!»

Как бы ей ни хотелось, но троллейбус всё равно ехал очень медленно, объезжая то грязные сугробы, то снегоуборочные машины, то пережидая на пешеходном переходе, пока толпа стариков с тележками и колясками перебежит по слякоти на другую сторону.

12

Весь рассказ Одинцова свёлся для Жоржика к одному: есть Великая Мать Природа и все люди буквально сочленены с нею своими ничтожными организмами в одно большое тело. Они живут и умирают вместе с Матерью и, может быть, возрождаются вместе с ней столько раз, сколько отпущено ей возрождаться во всей полноте и грации. Кто это ощущает – тот живёт, словно рыба в большой реке.

Но ведь и рыбу можно выдернуть из воды. Так и Одинцов, некоим образом против своей воли, сначала сильно, очень сильно привязался к природному образу Жизни, а потом, против воли же, был уязвлён не аристократической Её натуральностью, Её избыточным во всём совершенством. И был выдернут из густого Её течения и отмечен печалью, или, как он сам говорил, тоской. А если пересказывать подробно, выйдет так.

Воспитывался Давид без отца, одною матерью, которая после разрыва вернула себе и своему ребёнку девичью фамилию. Работала она в музыкальном училище, концертмейстером. Продвигала талантливых студентов, не щадя ни своего живота, ни своих нервов, ни своего ребёнка. Давид не стал заниматься музыкой, как она мечтала, а рос самым простым дворовым мальчиком. Хулиганил. Дрался. Но и у неё времени не отнимал – она даже успевала давать уроки. И вскоре нашла себе идеального воспитанника.

Ровесник Давида Павлуша был ясен и полон, как созревший месяц на небесах. Румяный и пухлый, словно по лекалу голландских живописцев, он не был разве что кучерявеньким, но когда им занялась Татьяна Васильевна, то перед концертами его русые волосы всегда бывали подвиты, как у образцового ангела. К её счастью, бабушка Павлика, которая полностью его опекала, оглохла, и его родители, необычайно молодые и шумные северные геологи, легко согласились передать «будущего Рихтера» в руки Давидовой мамы. За исключением коротких выходных, когда надо ему было уходить к бабушке, Павлуша стал жить в большой трехкомнатной квартире, как потом выяснил Давид, оставленной отцом при разводе.

Дети не подружились, но и не стали врагами. Давид был слишком явным лидером, а Павлуша слишком явным «учеником». Павлуша был моложе Давида на два месяца.

Потом Одинцов отправился служить. На три года – во флот. В учебке он из кожи лез вон, но уломал-таки начальство, и вопреки здравому смыслу и инструкциям, его, москвича, с оказией в лице бравого контр-адмирала Пищюхина, который летел туда с инспекцией, отправили служить на Тихий океан. Во Владик. Полтора года чистил он там якоря на берегу, а затем, также благодаря личной просьбе Пищюхина, простым матросом пошёл чуть ли не в последний дальний поход на эскадренном миноносце «Надёжный».

Давид лично выкрашивал серой краской каждый болт на опоре локатора. По требованию мичмана он повторил эту работу трижды, и как сам потом понял, не зря – в течение года именно эти болты подкрасить уже никто не мог, потому что локатор непрерывно вертелся. В солнце и переливах их серый стопятидесятиметровый утюг вышел в океан и пошёл на Кубу. И не через Панамский канал, а через Магелланов пролив и выше – мимо Фольклендов. Возвращались, сопровождая три сухогруза, этим же крюком, с заходом в Индийский океан и Японское море.

Природа вдруг открылась Давиду в самом конце похода. Полоска земли вдаль стала для Давида матерью – настоящей, ждущей. Курильские сопки, окружавшие гавань, куда они встали на якорь, превратились в женские крутые бёдра и груди, а сам портовый город с огоньками, стекающими в два ручья к маяку, был лонем, куда Давида и выпустили на третий день после приказа о демобилизации. Он проехал через всю тогда еще не развалившуюся страну на поезде; вышел из вагона с одним маленьким чемоданчиком и поступил с первого захода во ВГИК, на сценарный факультет.

Сразу после поступления хоронили бабушку Павлика, потом делали ремонт в её маленькой квартире, и Одинцов «уговорил» маму, что полгодика он поживёт в ней вместо Павлуши. Полгодика превратились в три годика. Потом прошёл ещё год, и Павлик пригласил его сначала на свой первый сольный концерт, а еще через месяц на свадьбу. Для Давида это было просто намёком – пора освобождать квартиру. Он приехал домой – прикинуть хотя бы, в какой комнате он будет реже попадаться на глаза приветливой и оттого совсем уж чужой маме Тане, и там впервые увидел Лену.

Конечно, это был мамин выбор. Студентка из провинции. Тихая, кивающая на каждое предложение Татьяны Васильевны. «Будет любить и заботиться о Павлике». Хорошо готовит, отличница. Они учились на разных курсах – Лена на три года младше Павлика, – и она их свела, усадила сначала за рояль, потом за стол, потом уложила. Уж это как ей удалось, можно только догадываться. Теперь она

представила Леночку сыну. И сразу сделала всё неправильно. Желая объяснить Лене, как воспитанной кошечке, с кем иметь дело нельзя, мама Таня несколько раз назвала Давида хулиганом и разбойником и вспомнила все драки, которые маленький Давид не смог от неё утаить. Давид только чувствовал, что вызывает у этой девочки интерес, и что чем больше он отводит глаза, тем сильнее невеста Павлика их ищет. Его это разозлило, он повёл себя в тот раз довольно грубо и мало того, что не попрощался, так ещё, уходя, крепко хлопнул дверью. Чем, наверное, только удружил маме.

Ни на какую свадьбу он в результате не пошёл. Просто потому, что свадьба расстроилась, или, как настойчиво повторяла Татьяна Васильевна, – отложилась. Причина ему осталась неизвестной, но он с радостью остался жить в квартире Павлика. Сам Павлуша закончил консерваторию и по благу был отправлен на работу в Минскую филармонию. Леночка, на положении невесты, ещё три года моталась между ним и постаревшей вдруг мамой Таней; и длилось это до двадцативосьмилетия Павла, когда он, наконец, вышел из призывного возраста и смог вернуться в Москву.

Давид к этому времени написал книжку для детей. Её издали. Однокурсник, режиссёр одной телепередачи, трижды приглашал его, якобы известного писателя, в студию, отвечать на вопросы якобы его почитателей; появились знакомые, которые называли гигантские суммы и заманивали его во всевозможные благотворительные фонды – он им был просто позарез, как «новое слово», как подставное лицо и официальный партнёр по бизнесу. Литература была только поводом прийти к государственному чиновнику и забрать из бюджета «детские» деньги. Давид всё-таки влез в одну историю – стал ездить на хорошей машине и даже искать новую квартиру. Но попал на праздник в детский дом и там как-то сразу понял, что надо из этого фонда валить. Все его партнёры только обрадовались – видать, деньги были уже выкачаны. Машину ему оставили, но так как писать статьи о детях Давид больше не мог, то он занялся извозом. Катался по треугольнику между тремя модными дискотеками и к семи утра зарабатывал на два дня нормальной жизни. А потом получил заказ: написать сначала сценарий для мультфильма, а потом ещё один, для фильма. Как позже выяснилось, заказы шли непосредственно от Фазилы.

То есть Фазиль о Давиде уже знал, а Давид о нём еще нет.

13

На столе у Давида Лена нашла всего пять писем. Она вытащила исписанный размашистым почерком листок из конверта с маркой и штемпелем Эквадора. Первым ей бросилось в глаза, что Паша опять упоминает какую-то местную водку, а потом ещё и виски, которым он угощал в автобусе попутчиков. В Кито «из-за высокогорья» они стали «подмерзать» по ночам – и поэтому снова пили водку. Потом «интересное предложение», и они поехали ещё в какие-то горы «с условием не пить ничего, кроме того, что предложат индейцы».

– Так, и что же, интересно, они ему предложат?

«...Мы пошли в этот лес. Чем выше, тем он был суше. Потом пошли такие, вроде наших ёлок, но, сам понимаешь, они какие-то у них тут свои. (Аня все названия записывала – как мы и договаривались.) Проводник наш вывел нас на дорожку из мягкой нетрескучей хвои, и мы почти бегом обогнули огромную гору или холм. И оказались в таком мрачном и тихом ущелье между двумя или тремя головами этих холмов. В тени, даже почти в сумерках, с эхом и замечательной акустикой. Пришлось смотреть под ноги – а то ветка попадетсЯ, или шишка, наступишь – хруст такой, что чувствуешь себя полным дураком, как будто чихнул в зале Чайковского. Мы пошли в этой полутьме от ствола к стволу – здесь они были совсем гладкие,

не обросшие вьюнками, мхами и лианами, как везде до этого... Наконец подошли к ровному месту и вышли на поляну, где среди деревьев росло два или три огромных земляных столба. В высоту метров по десять. Или немного ниже. А в ширину, если обходить, метров по сорок. Это трудно сказать, что такое было, — и не столбы, их и двадцать человек-то не обхватит, а как будто куличи в песочнице, с плоской верхушкой и ровными боками. Бока все в корешках травы и ещё каких-то корешках, но не рыхлые, а плотные: я ударил кулаком по этому боку — даже песок не посыпался, так всё переплетено и схвачено травой и корнями. Наверху там и деревья какие-то росли и кусты. А по бокам только немного травы и кустики, но в основном глухая земля. Я сразу понял, что мы пришли, и думал, что теперь полезем наверх на этот «кулич» или «пень», и там наверху встретимся с Духом, если Он прилетит. Но этот индеец только закинул наверх сетку с мясом и отвёл нас в сторону. Мы сели недалеко от этих столбов под деревьями и стали ждать. Не знаю, сколько мы так просидели в этой тишине, я уже начал засыпать — как вдруг прилетела сорока и стала долбить дерево, к которому я прислонился. На меня полетела шелуха, и я задрал голову, чтобы на нее посмотреть, но индеец, неизвестно как оказавшийся на корточках прямо передо мной, распахнул обе ладони перед моим лицом и так страшно вытаращил глаза, что я замер и дальше следил за этой сорокой одними глазами. Что тоже вызывало у него возмущение. Но он уже опять отполз под своё дерево и смотрел оттуда, как на меня сыплется сверху разная дрянь. И Аня тоже смотрела, и тоже с благоговейным ужасом. Каждый удар клювом, естественно, проходил через ствол прямо мне в печёнки.

У меня уже и в волосах что-то застряло, и за шиворот упало, и в глазу защекотала соринка от этой коры. И всё это продолжалось до тех пор, пока я не заметил, что Аня вот-вот засмеётся, — тогда я решил отсесть. Только я поднялся, индеец опять скакнул ко мне, но как-то неудачно, потому что сам наступил на шишку и спугнул эту сороку. Она тут же насрала мне на голову и на щеку и улетела. Я был просто в бешенстве. Аня заливается от смеха, а этот индеец машет руками, чтобы я не стирал говно. Наконец, когда я согласился уже идти в таком виде, он погладил меня, как умную лошадку, по плечам, и мы бегом пошли обратно. Но перед самой деревней я, пользуясь тем, что он меня не видит, всё-таки стер говно со щеки. Вот тут крику-то было! Я с ним ругаюсь, Аня тоже — а он на нас чуть ли не в драку лезет. Руку с помётом так и не дал вытереть. И волосы. Привёл к старику, тот, наконец, разрешил нам поесть, угостился моим «Паспарту» и по-испански всё объяснил. — Сорока эта была не сорока, а дятел (у Ани записано, какой). То, что она села и стала долбить «моё» дерево — очень дурной знак, значит, кто-то хочет вмешаться в мою судьбу или в жизнь и прямо к сердцу подбирается. Шелуха — это коварные планы, интриги и обман, которыми я окружён, а вот говно, наоборот, — знак очень хороший. И если бы я его не стёр — всё кончилось бы хорошо. А так ещё неизвестно... Может, меня и убьют».

14

Из одежды у Жоржика была тёплая зимняя куртка, тёплый свитер, плащ и серый костюм с двумя рубашками. Ещё одни брюки и водолазка были сейчас на нём. Он взял пиджак от костюма и плащ. В пиджаке во внутреннем кармане лежал его новенький российский паспорт. Он завернул в пакетик зубную щётку и туда же после небольшого раздумья положил мамин гребешок.

Зонт он украл. Снял его с вешалки, когда Фатима, секретарша доктора, зашла в кабинет. Стечение обстоятельств. Ещё он украл тридцать рублей из кармана куртки, что висела рядом с зонтом. Мосты сжигал — деньги-то у него были. В паспорт были вложены синяя и бордовая купюры — самые большие, за февраль.

Он мог просто выйти через ворота или через калитку. Но он отправился за корпус, через свою магнитную дверь. Проходя мимо скамейки, он застыл и снова

представил себе финальную ночную борьбу несчастных путешественников с мистером Фикусом. Он увидел, как Фикус поднял руку с револьвером, и большой двухметровой Павлуша, с ангельским румяным лицом и детскими пухлыми губами, шагнул навстречу белой вспышке, закрывая огромным телом маленькую Анну Фёдоровну. Увидел, как потом, несмотря на ошущаемый в воздухе сельвы запрет на убийство, раздвигая мокрые от тумана лианы и узкие веера папоротника, Фикус стал надвигаться на женщину. Словно шкура тигра, полосы чёрных его усов и чёрных бровей замирали перед каждым следующим шагом. Всего на один только миг. И пользуясь этими мгновениями, отталкиваясь пятками от скользких корней и глубокой глины, Анна Фёдоровна отползала от него, из последних сил волоча за собою труп Павлуши, не отпуская с коленей его большую вымокшую под дождём голову. Держа её двумя руками, локтями, ладонями...

Проходя мимо флигеля, Жорж Санд вытянул руку с тростью зонта и загнутой ручкой постучал в окно. Три девицы подбежали к окну, но среди них не было его «фиалки». Он стоял под окном в героическом довольно виде, не хватало только берета.

– Спасибо за одеяла! – справившись с комком в горле, возгласил Жоржик и, подняв сжатый в кулаке зонт, несколько раз потряс им над головой, как винтовкой.

– Рот фронт! – донеслось до него через стекло вместе с залиvistым смехом.

– Но пасаран!

Он уходил, а вслед ему насмешницы запели песню «итальянских партизан». Хорошую, красивую песню. Жоржик не мог сообразить, откуда, но он её тоже знал:

Я проснулся сегодня рано
О, белла чао! Белла, чао, белла, чао, чао, чао!
Я проснулся сегодня рано,
В нашем лагере в лесу...

Перелез, прыгнул и вдоль стены прошёл до шоссе. Держа дистанцию метров в двадцать от дороги, он двинулся в сторону совхоза. Потом, когда полоса деревьев между полем и дорогой сузилась до полупрозрачной, он перебежал через асфальтовое полотно и таким же образом прошагал ещё несколько километров. А когда уткнулся в глухой высокий забор, то не стал его обходить, а снова перешёл шоссе и полез вверх по усыпанному хрустящими дубовыми листьями склону.

Где-то рядом жгли костёр или топили печку – запах дыма так перевозбудил Жоржика, что он присел. И точно – у земли пахло уже не дымом, а прелью. Он поднял большую охапку листьев и подышал её мокрой изнанкой. Рядом, за деревьями проехала легковая машина. Жоржик вскочил, отбросил от себя листья и начал карабкаться вверх, где можно цепляясь рукой за тонкие кряжистые стволы. Высоко между верхушек деревьев небо было ещё совсем светлым и голубым, но солнце вот-вот должно было уже опуститься за горизонт, где-то там справа... Или слева. Он понял вдруг, что запутался в сторонах света, и нервная тошнота даже на одно мгновение испугала его. Дорога, вдоль которой он продвигался первые два часа своего побега, всё время поворачивала в одну сторону, а так как он её несколько раз переходил, то... «Неважно! Неважно! Они все погибли, а ты тут всё думаешь, "где закат?", "где восход?"! Потерпи!»

Он вытащил край водолазки из рукава и, как платком, вытер им пот со лба и с шеи. Шаг за шагом поднялся он ещё метров на пятьдесят и... оказался на тропинке. Это была первая тактическая победа! Теперь можно было двигаться хоть и под небольшим уклоном, но гораздо быстрее. Тропа, видимо, продолжала изгиб шоссе, и Жоржик, пройдя по ней несколько минут, вдруг понял, что снова ориентируется в пространстве и может показать пальцем, где его пансион. Он также пред-

чувствовал и то место, куда тропинка в итоге его выведет, и от радости стал «резать» перед собой воздух зонтом, будто расчищал заросли мачете.

Он дал себе небольшую передышку на макушке горы, расположенной на другой стороне долины как раз напротив «Кубы». Сначала он бегал по небольшому плато, ошеломлённый просторами и нежностью оранжевых и медных оттенков, которыми светились вокруг сухие и высокие травы и кустарники. На белёсом проветренном небе закатная сторона пульсировала, как, бывает, пульсирует уголь на костровище. Влажное солнечное яблоко стекало за край земли, и пурпурное зарево блекло и темнело прямо на глазах у потрясённого беглеца. Пока не стало совсем темно, он нашёл удобную для наблюдения площадку и стал подсекать и рвать траву, чтобы сделать подстилку. Снова взмок, запыхался, но в итоге собрал целый снопок колючей соломы, на котором с блаженством и устроился, промяв животом некое подобие гнезда. Он видел, как из ворот его родного пансиона выехал маленький автобус. Потом приехал фургон из прачечной. Потом, когда совсем стемнело, он увидел, как фургон, выезжая, освещает себе дорогу фарами. Потом у него стал замерзать нос. Он встал, повернулся к чёрному и звездному востоку лицом, перешёл через лысую часть вершины и в крошечной темноте стал спускаться с горы. Но через пять минут зашёл в такой густой кустарник, что расцарапал себе всю кожу, даже те участки, которые были защищены плащом. Безлуние не оставляло ему никаких шансов уберечь лицо и глаза, и, проламывая себе обратный путь, как медведь, он в отчаянии вернулся на плато. Нашёл свое гнездо над обрывом и, недовольный, снова в него улёгся.

В пяти или шести окнах далёкого пансионата горел свет. В темноте зрение беглеца так обострилось, а ночной воздух был настолько чист, что он с расстояния в пять километров без труда видел, когда кто-то из обитателей «Кубы» подходил там к окну и перекрывал собой часть жёлтого прямоугольника. Подъехала машина, и у сторожа тоже зажёгся свет. Потом погас. Потом все рыжие огоньки погасли и остался только бледный моргающий свет в окнах первого этажа. Потом Жоржик стал различать такое же моргание в угловом окне на третьем этаже. Или ему мерещилось.

– Брр...

Он поднялся, отошёл немного от обрыва и, высоко поднимая ноги, побежал на одном месте. Он был совершенно уверен, что за ним будет организована погоня, и думал, что будет двигаться по ночам, но двигаться приходилось вот таким нелепым образом – просто чтобы не закончить. Погони никакой не было.

15

Доктор наконец настроил федеральный канал. Он сидел и смотрел новости. Потом понял, что это может дать ему неплохие шансы, и позвонил в женский флигель. Две уже спали, а две – Жанна и Катя – с радостью откликнулись на приглашение.

Всё перемешалось: в присутствии симпатичных девушек доктор завёлся, перестал усваивать информацию из ящика и только цинично шутил. Жанна никак на него не реагировала, потому что довольно часто показывали её родной Питер. Обугленный, с выбитыми витринами вдоль всего Невского и пепелищем Гостиного Двора. Судя по крику корреспондентов, всё посыпалось и «формы выражения агрессии» оказались впечатляющими... Министерством печати был введён мораторий на уличную рекламу и ограничена трансляция теле- и радиопрограмм коммерческого содержания. А президентом и министерством внутренних дел этот мораторий был отменён, и «огневушкам» была объявлена война.

«Варвары вышли из своих берлог и отбросили страну в средние века, и теперь наша общая задача...»

– Чушь собачья! – деланно возмущался доктор, сидя на полу перед диваном и положив затылок на оголившуюся в разрезе халата ляжку Катерины. Каким-то боком его это всё-таки коснулось, он понял, что теперь того мальчика, «боевого-огневого генерала Башню», посадят, и никакой звонок в институт Сербского ему не поможет. Посадят надолго, и Галина больше не приедет. И в каком-то смысле ему повезло, что этот ультиматум объявили только сегодня, а не два дня назад. «Теперь и звонить не буду, и так она из меня "экспертную записку" вытянула. Ещё, не дай Бог, в суд вызовут...» Он почувствовал досаду из-за того, что на горизонте теперь будет маячить угроза каких-то поездок, отчётов и проверок. «Зато какая у неё задница была, и какая грудь», – утешил он себя и краем глаза посмотрел на худенькую спину манекенщицы Жанны.

«Глаза у неё красивые, оленьи. Но без разврата. Чего мне с ней? У "блондочки" в глазах хоть масло есть, и телеса, надо заметить, не ангельские...» Он продвинул свой затылок на сантиметр выше по ноге «блонды» и повернул голову, прижимая ухо к её горячей ляжке.

– Ещё выпьем, Катамаранчик? Прошу бокал!..

«Катамаранчик» приехала из Ростова, и новости её сейчас не занимали. Куда больше её интересовала длинная американская машина доктора, на которой он встречал её на вокзале. Бесшумная и покачивающаяся при езде. Про психиатров она слышала только, что главным у них был Фрейд. И что все они немножко извращенцы. Но зато всегда стерильно вымыты – потому что врачи. Ей уже не терпелось, чтобы Жанка пошла спать, как они заранее договорились, но та влипла в экран и, похоже, всё позабыла. «Если он напьётся – вся стерильность пропадёт. Будет нести, как от любого бандита».

– Вы, девочки, если захотите, – спите здесь, на диване. А у меня апартамент рядом – через коридор.

Катерина пихнула подругу. «Ну! Вспоминай давай – время двенадцать!»

– А Катя считает, что у вас в спальне есть станок для пыток, – угрюмо наконец заговорила Жанна, сидя к ним спиной. – Как у Фрейда. Если вы ей проведёте экскурсию, она у вас ещё неделю бесплатно поживёт. А я ещё пока посмотрю.

Второй пинок оказался по-настоящему болезненным. Хотя дело было, в общем-то, сделано – доктор тут же умело закатился от смеха, постонал, сколько положено, и, оставив бутылку, стал подниматься с ковра. На экскурсию.

16

«...В вагоне вокруг нашей скамьи стоял невыносимый шум. Несколько крепких, как картофелины, женщин в котелках и морщинистых, как чернослив, мужчин, дёргая друг дружку за рукава, выясняли отношения. С ними еще ютился старик, который сначала в споре не участвовал, а смотрел выцветшими глазами в окно. После одной станции они особенно разошлись и несколько раз толкнули старика, так что он, наконец, прислушался к их гвалту. А потом засипел длинным сердитым монологом, глядя то на свои туфли, то прямо перед собой, то есть на меня. Он говорил еле слышно, процеживая согласные между жёлтых зубов, а когда тянул гласные, у него на шее натягивались жилы. Все сразу замолчали. Вообще весь вагон заткнулся и все стали его слушать. Пока он не высказал им всё, что хотел. Только паровоз иногда его пересвистывал. Потом, когда он закончил, Аня мне перевела. "Он сказал им, что закон надо соблюдать". И всё. Все опять загалдели. А я подумал, что если человек говорит таким голосом, то действительно лучше "соблюдать"»...

Кстати, Анечка разгадала твой план! Ха-ха! Хо-хо!.. Понимаешь, о чём речь? Нет? Ну, тогда слушай. (Она сейчас спит, а я, как ты понимаешь, попиваю виски и чувствую себя энергично, как горный козёл.)

Аня считает, что писать книгу с помощью моих писем – это полный бред и враньё и что ты отправил меня в Америку, чтобы переспать с Леной. А?! Это при

том, что она её в глаза не видела и только с моих слов знает, что Лена неземной красоты девушка. Ещё она уверена, что ты послал за нами в погоню агента, который должен будет убить меня в лесах Боливии, когда получит от тебя сигнал. Она даже видела его, этого агента, какого-то дядю с "подозрительно бледной кожей". Я ей говорю, что ты чуть ли не сам нас пожегил, что мы с тобой как братья, что мама Таня болеет и что нужны деньги – и т. д., и т. п. Она не слушает. "Убьют! – говорит, – вас убьют!" В смысле меня – она со мной на "вы". Но, говорит, у меня есть шанс. Если агент тебе доложит, что у нас с ней тут завязались отношения, что мы вместе спим или полюбили друг друга – тогда ты отменишь своё решение и предложишь в таком случае уступить тебе Лену добровольно.

Не знаю... может, это всё к тому, что она не против, если я буду к ней приставать? Как ты думаешь? Она ведь ко мне относится очень и очень трепетно. Ты сам рассказывал – на концерты ко мне ходила. А здесь всю дорогу она ведёт себя просто героически, ради моего комфорта почти в каждом городе ссорится с хозяевами в гостиницах или с официантами в барах, с водителями. Сегодня, например, искала для меня шотландский виски на вокзале, и я всем этим, как видишь, спокойно пользуюсь. Этот поезд идёт очень долго, через красавицу сьерру, и ехать интересно – потому что туристов мало. Не то что в Уанкайо. Там, правда, мы ехали вдоль отвесной стены и по мостам прямо через пропасть. Страшно. Солнце заливает все окна в вагоне, а внизу, в щелях между рыхлыми облаками, виден тёмный лес. А потом стал виден Тихий океан. Вокруг всё синее – кругом ведь небо. Колёса не стучат по рельсам, а еле-еле звякают, потому что уши словно пробкой закупорены. Но свистки и дизель всё равно слышно очень хорошо. У меня там голова чуть не раскололась – высота километров пять. Можно дышать из кислородной подушки. А многие сосут мате и нормально едут. И все вместе, завёрнутые в платки и в одеяла, мы поднимались всё выше и выше, до самой верхотуры...

Я не знаю, Давид, чего Аня ещё выдумает, но, по-моему, если бы я тебя не послушал и у нас здесь с собой был бы телефон – фантазий разных было бы поменьше. Так что если она не уgomонится, я, возможно, нарушу наш уговор и позвоню домой. Сама Анечка звонить не хочет – во-первых, потому что "не верит тебе", а во-вторых, считает, что не звонить безопаснее. А ещё лучше, по её мнению, почаще менять намеченный маршрут, чтобы нас труднее было выследить.

Леночка – льдышечка моя сероглазая. Я даже подумал (ты только не сердись, это в шутку): ты такой быстрый, стремительный, от тебя искры летят, а из меня дым не валит. Разве я ей пара? Так что если этот загадочный дядя нас тут прихлопнет или на самом деле со мной что-нибудь случится, моё последнее желание – чтобы ты взял над Леной опеку. А там, кто знает, может, вас судьба и сведёт поближе – я был бы счастлив!

Спасибо тебе, Одинцов. Никакими письмами я тебе не передам то, что вижу тут. Сейчас была станция, и многие спали, а я пошёл к выходу и посидел там на ступеньке. Мимо меня выгружали бутылки и овощи в корзинах – я им немного помог. А потом долго стояли, и я смотрел, как эти корзины выючат на осликов. Привязывают к бокам. Бока у ослов ворсистые, и иногда они всем боком вздрагивают: повернут морду, и в глазах у них беспокойство. А потом опустят опять морду и ждут спокойно дальше, пока другие двуногие ослы, вроде нас с тобой, в пиджаках и в шляпах, грубыми рывками подтягивают на них узлы и вешают свои бутылки. Сейчас, подумал я, пойдут по тропинкам к своему селению. К вечеру придут. Там их разгрузят, распрягут, и они будут свободны до утра. Ночью – звёзды, пар из ноздрей, и никто тебя не трясёт. Сено, вода. Им-то ночью не холодно. Стоят там в каком-нибудь сарайчике. Рядом костёр жгут, так они на него смотрят. Их женщины толкают – отойди, скотина, не мешай – а им не обидно. Переступят ногами и отойдут...

Почему мы так не можем?..»

Третье письмо лежало внизу, под другими. Лена вытащила его специально, но оно, как ни странно, шло по порядку за двумя первыми. «Знал, что я захочу сразу в конец посмотреть. И специально – поиграть со мной».

В животе у неё болело – то ли от голода, то ли от усталости – ей ведь каждую мысль о Давиде приходилось терпеть. Каждую. Пока они туда войдут – в грудную клетку, железными прутьями. Рёбра ей там пока все не переломают. А со стороны не заметишь, ничего же не торчит.

Она глубоко-глубоко вздохнула ...

...Перед глазами возник лист исписанной бумаги.

Что это?

Это конверт. Письмо Павлика.

Она переждала ещё секунду, пока мутная боль немного не отпустила ей кишки, и взгляделась в штемпель. Тоже из Перу. Четыре дня спустя отправлено.

«Не могу молчать – у нас был секс! Она меня достала! Сначала мы с ней напились. Пили горячее красное вино. Тут гостиница на озере, прямо на воде – всё из соломы, кроме основного дома с рестораном. Все живут в плетёных из соломы хижинах, которые плавают на таких же соломенных плетёных плотках. Между ними мостки в виде соломенных дорожек, привязанных к высоким торчащим из воды шестам. Вода ночью ледяная, и мы боялись замёрзнуть. Сначала я в шутку сказал, что вдвоём будет теплее. А она ухватилась. А потом она просто вынудила меня. Она умоляла, просила, унижалась».

Главное, в ресторане она столкнулась с Фигусом. Я так называю усатого иностранца, которого она периодически, начиная с Лимы, встречает где-то неподалёку от нас. Помнишь – “Есть ли у вас план, мистер Фикс? О да! У меня есть план, мистер Фикс!”?

В общем, она решила, что раз он почти не прячется – то уже всё! Час пробил! Или меня вот-вот застрелят, или же мы немедленно “скомпрометируем себя” и он тебе об этом доложит (или даже пришлёт фотографии моей измены), и убийство будет отложено.

Зайти к ней в хижину, раздеться и лечь рядом – было просто единственным выходом. Я её предупредил, что всё напрасно, ничего не выйдет, что под таким давлением любой станет инстинктивно прятаться, замыкаться. Но она всё равно: “Главное выжить! Сорока – это дятел, её говно – обман, а тебе главное выжить. Я видела глаза этого человека, его послали за нами. Твоя Елена – убийца, она тебя не любит. А ты такой добрый, такой нежный, такой ровный, такой открытый, такой нежный, такой хороший”. Часа два она меня так гладила, по плечам, по рукам, по волосам, целовала мне ладони, пальцы, живот гладила. И всё шепчет: “Спи, спи! Я тебя спасу! Останешься живой, и ещё будешь счастливым. Ты должен выжить, ты очень нежный, открытый. Спи! Спи, радость моя! Спи...”

Она догладилась до того, что я заснул на этом соломенном матрасе, а во сне я просто отключился и реагировал на её ласку, на её тело совершенно, надо сказать, машинально. Просто отвечал ей, а когда потом разобрался в темноте, что к чему, – уже не смог остановиться. Так что скоро получишь фотографии...

Выручай! Отзови её отсюда. Ты же можешь как её начальник приказать ей вернуться из командировки. И всё! Я теперь уже не только по жене тоскую, но ещё и чувствую, что Аня будет очень переживать наш разрыв. Займи её делом, Одинцов! Женись на ней, в конце концов! Она несёт мне завтрак. Я якобы дописыв...
Оз. Титикака (это не подпись)».

На столе оставалось ещё два конверта. Лена ничего не чувствовала – ни ревности, ни обиды на Павлика, ни ужаса перед замыслом Давида – ничего. Просто надвигалось нечто неотвратимое. И живот снова сжимался, хотя ему уже некуда было сжиматься.

Она взяла оба оставшихся письма и пошла с ними на кухню. Руки так замёрзли, что она с трудом зажгла спичку. Поставила чайник на огонь и стала растирать пальцы друг о друга.

За окном уже мерцал фонарями вечер, и надо было зажечь свет, а не ломать глаза в полутьме. И заодно найти заварку.

17

Что Одинцов не рассказал санитару?

Да всё он рассказал, но как-то уж чересчур ёмко, словно сутры рубил в скале. Ещё бы гласные буквы пропустить – и совсем стало бы весело: «И пслл Двд Пвл в длкй крй, и тм згбл его чужими руками, бл».

Вся история с Павлушей отзывалась в нём ещё так оглушительно, что у Давида просто не хватало сил излагать её подробнее. Последние два года жизни он воспринимал, как ужасно банальную пьесу – водевиль про обманутого мужа. Но главное, на полях этого водевиля он то и дело замечал оставленные кем-то пометки: каракули, рисуночки, кляксы. Давид даже не знал, как об этом сказать, – но метки эти были не простые: все они были связаны с его верой. С его индивидуальным врождённым ощущением времени и смысла. Отсутствующего как такового времени и присутствующего сверкающего смысла.

Поэтому Одинцов и не рассказал Жоржику о Терме.

Его подвезли на машине к подъезду тяжёлого приземистого здания, длинными серыми стенами смотревшего в два переулка старой Москвы. Стоял январь. Воронь, исполняя чужие обязанности, хрипло приветствовали отражение солнца на капоте чёрной «Волги». Утрамбованный снег и рыжие россыпи свежего песка говорили, что это почти непроезжие переулки.

За четыре шага по тротуару он едва успел оглядеть подслеповатый фасад – в здании было не меньше трёх этажей, но окна располагались на нём всего в один ряд, чуть выше вытянутой руки.

На окнах густая вуаль кованых решёток. Если бы ещё крыльцо заканчивалось более солидной дверью, то можно было бы подумать, что это казначейство или музей.

Правда, и за этой дверью его ждал сюрприз – необычайно высокий и узкий предбанник, в котором помещалась куча всего: стеклянная будка охраны, турникет, убранный в деревянный каркас арка металлоискателя, столик с лотком для телефонов и ключей и две слепящие лампы на уровне лица. И сразу четыре или пять человек в военной форме стали проверять бумаги и отслеживать его передвижение в этом ярко освещённом колодце от входной двери к другим дверям: огромным и открывающимся, несмотря на прилагаемые усилия, всё равно очень медленно. Они сверлили его глазами, пока, наконец, проскользнув в щель между створками, он не оказался в сумеречном холле.

Давид сразу разгадал «во что тут играют». Это была стилизация под имперский, величественный, по-военному безвкусный Третий рейх. Строгий интерьер вкупе с избытком пустого пространства над головой действовали на психику безотказно и вызывали в памяти какую-то жуть – пытки, клятвы и прочие нафантазированные ими-школьниками «нехорошие» ритуалы. Он вспомнил их притихшее стадо в новеньких галстуках, толкающееся по тёмным коридорам Мавзолея. И ещё крематорий; прощание с родным бледно-зелёным дедом под еле уловимые переливы органа.

От массивных дверей по серому с чернильными прожилками мрамору тянулась зелёная ковровая дорожка. Впереди шёл дежурный офицер, и мягкий блеск его сапог напоминал зачарованному Одинцову бархатный мрак полотен Рембрандта.

Без разговоров Давид прошагал за ним три долгих коридора, где трижды, науглу, под тусклыми жёлтыми плафонами, им отдавали честь младшие офицеры.

Потом пришли к вратам «одевални». Провожатый пропустил Одинцова перед собой и рыкнул чью-то фамилию. В «одевальне» было пять одинаковых кабинетов, и адъютант сразу же возник из нужных дверей, за которыми Давида ждал личный халат, гетры и полотенце. В принципе это была ещё и комната ожидания – охрана и прочие прикрепленные к высоким чинам люди должны были ждать здесь. В комнате стоял сейф, холодильник, кресла, столик с чайником и телевизор. Да, ещё туалет. Пока Давид переодевался, адъютант ждал за дверью. У Одинцова с тех пор им всегда был Чирков, рельефно-атлетического сложения шатен с безупречно уложенной причёской, идеально обработанными ногтями и с блестящими серыми глазами немного навывкате. В его задачу входило подготовить клиента – провести в Терму, разогреть, распарить, сделать массаж, помыть, закутать – и лишь затем ввести в чертоги Зелёного зала, где у накрытого стола гостя встречал сам Барабанщик.

Когда Давид, чувствуя себя в гетрах каким-то английским дворянином времён лорда Байрона, вышел из комнатки, Чирков забрал у него полотенце и, развязав пояс на халате, заново перехватил его более туго. Сам он был одет в голубые кальсоны и майку и в белые, довольно грубой вязки, шерстяные полуноски – те, что женщины называют «следками», – он ужасно смахивал во всём этом на циркового силача а-ля Иван Поддубный. Позже Давид даже придумал ему псевдоним для афиши – Запленный. Владимир Чирков-Запленный. А для выступлений в маске – «Месье Рафинад, или Белая Смерть».

– Фазиль Бахадырович уже ждёт.

Дальше нужно было мять ковры гетрами. Ещё два светлых коридора, уже с запахами пара и воды, с белыми шторами на окнах, белым мраморным полом и красной дорожкой. Давид всегда обращал внимание на никелевые штанги с набалдашниками, которыми дорожка удерживалась в натянутом без единой складочки состоянии. В конце второго коридора была арка и лестница вниз – два пролёта с поворотом после площадки. Вот там эти никелевые растяжки были на каждой ступеньке. И ни единой складки. Восхитительно.

После лестницы начиналось оживление. То и дело между клоками тумана Давид наткался на туркменок в пёстрых васильковых халатиках или на узбечек, у которых халаты были зелёно-оранжевыми. Все с косичками, в тубетейках, белозубые, улыбчивые – они появлялись и исчезали всегда стайками. То пронесут подносы с фруктами, то чайники, то пиалы, то тюки какие-то, то кипу полотенец. При встрече с Одинцовым они опускали глаза в пол, а потом у него за спиной перекидывались между собой несколькими словами на своём языке. То в голос, то почему-то шёпотом – видимо, иногда их всё-таки призывали сохранять тишину. Скорее всего, никакое наказание им не грозило, потому что они то и дело щекотали мраморные своды вскриками и заливистым смехом. Удивительно, что между этими звуками и тишиной залов сохранялось некое равновесие, как бывает на море: крики чаек вызывают одновременно и чувство покоя, и ощущение свежести и бодрости. Такое же ощущение у Давида всегда вызывало накрахмаленное холодное бельё в гостиницах.

Чем-то эти девушки-азиаточки напоминали ему санитарок из советских фильмов про войну. Но само здание – как он выяснил спустя год, выстроенное хоть и на государственные деньги, но под полным контролем Фазиля, – даже целый ансамбль из трёх зданий с внутренним двором, его коридоры и залы – были совсем не похожи на госпиталь. Термы – они и есть термы.

– Я когда услышал слово «терма», то подумал, что где-то рядом должна быть и сперма, – сказал Одинцов Фазилю. И наткнулся на то, что назвал потом «настоящим» Фазилем.

– Ты когда что-нибудь замечаешь, ты сразу этим не торгуй. Помолчи, подумай, и может, увидишь что-то более интересное, чем своё тщеславие, – ответил Фазиль, и тёплый голос его только подчеркнул промелькнувший в глазах холодок.

«Будто я трёхлетний малыш, кнул взрослого дядю в пах и даже не понял, что сделал ему больно».

18

Жоржик заболел. Его потрясывало и заливало потом. Глазки его слезились, как от песка, нос и уши заложило, и он непрерывно слышал пульс своего сердца. Он заболел в середине дня. После рассвета, после спуска с горы, после встречи с косулей, после сна под грушей-дичкой. (Или под грецким орехом, или под инжирным деревом – весной попробуй разбери.)

Ему приснилось что-то ужасное. Он еле-еле успел открыть глаза и проснуться за миг до столкновения с белым камнем, на который он падал с верхнего этажа некоей иностранной клиники. Перед этим он стоял у окна и повторял вслух разные кодовые словечки вроде «тили-тили», «чунга-чанга» – нужно было вспомнить еще несколько пар. Это было задание – в виде теста, который предстояло отвечать перед комиссией. А к нему неожиданно подкрались сзади и, подняв за ноги, вытолкнули за раму. Это был кто-то из врачей. Из комиссии. В памяти оставались ещё их внимательные лица, их понимающее кивание, когда он рассказывал им, почему тоже хочет стать врачом, и их совершенно не выразимый словами какой-то тёмный сговор против него.

Но он всё-таки проснулся.

Листья шевелились у него над головой, как дырявая ткань, пропуская в дырки синеву. По брови у него полз муравей, только он не понял, что это муравей, и растёр его пальцами, думая, что это капелька пота. А уже потом увидел обломок лапки.

«На мне, может, полно муравьёв», – подумал он, перекатился на другой бок и начал поднимать своё тяжеленное тело с земли. Усадил себя спиной к стволу и осмотрел костюм. Муравьёв действительно было полно. Они карабкались по нему в разные стороны, а ему казалось почему-то, что они все бегут к его голове. Плащ был сильно запачкан зелёной травой и проткнут во множестве мест разными соломинками и шипами, но не разорван.

«Куда же они бегут! – Вместо того чтобы смахнуть лилипутов с груди и живота, Жоржик стал снимать с себя плащ. – Куда же вы бежите?» Уколот палец колючкой, оторвал верхнюю пуговицу и тогда только успокоился. Плащ остался лежать под ним, как простынка. А рубашка, которая оказалась насквозь мокрой, сразу стала прохладной от ветра. Он чихнул. Над ним встрепетали крылышки, и от дерева вдоль земли пролетели две пичуги. Взмыли в синеву и, проведя круглую линию по небу и белому облачку, вернулись на своё место в кроне инжира. (Или грецкого ореха, или всё-таки груши-дички).

Второй чих Жоржик смог удержать за сомкнутыми губами, но, правда, у него сразу заложило оба уха. И, не отвлекаясь уже на шум листьев и запевы кузнечиков, он стал слушать своё дыхание – частое, похожее на звук велосипедного насоса, а также стук своего сердца и верещание мыслей, за которыми поначалу следить было довольно интересно.

«...середине дня искать. И скоро найдут. И приведут меня в порядок. Приведут меня домой. Деньги я им отдам, зонтик они тоже... сами найдут. Переоденут, вытрут меня, дадут мне капли от насморка, чай с лимоном...»

– Это мои мысли, – ещё подумал он тогда и закрыл глаза.

«...вылечат, вылечат. Подумаешь, лёгкая простуда. Вот если не будут искать или не найдут – тогда да! Воспаление лёгких или менингит, или полиомиелит. В принципе – надо бы им помочь. Помочь бы... Но чем? Надо предпринять попытку

связаться с ними... Передать информацию, где я нахожусь. Подать сигнал, собственно...»

– Мои мысли говорят не моим голосом... – прослушав часть монолога, заключил Жоржик. – Они там сами по себе... А я тут сам по себе.

Словно в чугунном скафандре, он медленно погружался в темноту внутреннего пространства, оставляя этот «чужой голос» где-то на поверхности.

– И дыхание как чужое. Да, и стучу – тоже ведь не я... – он вдруг ощутил себя необычайно маленьким внутри чего-то огромного – как, должно быть, исследователь подводного мира на дне глубокой впадины. Вместе с глухим сипом воздуха в горле, непрерывным биением пульса по стенкам сосудов и бульканьем пузырей в лабиринте кишок, преисподняя показалась ему такой же просторной, как и та чёрная ночь, которая окружала его накануне на вершине горы.

– Да, кто же я такой? – думал Жоржик, угадывая во тьме вокруг дымящиеся бугристые своды, складки и тоннели. – Если не я всё это – то я-то кто? И почему оно меня слушается? Вот сейчас я подниму ему веки, например...

В подтверждение он, не всплывая наверх, открыл себе там глаза. И в них полился свет. Много света. «Как много там света!» – подумал Жоржик, и дальше произошло чудо.

Он захотел увидеть то, что обычно видел в привычном положении. Но то ли у него оказалось недостаточно сил, чтобы выплыть наружу целиком, то ли он не хотел насовсем покинуть эту волшебную глубину – но он безо всяких усилий разделился на двух Жоржиков, вернее, на две пары глаз. Вернее, на того, кто остался смотреть на себя изнутри, и на того, кто сначала поднялся к зрачкам, а затем, не испытывая затруднений, выплыл из зрачков дальше и с лёгким ошеломлением и трепетом оглядел себя снаружи. Толстого, вспотевшего, с неподвижным взглядом и открытым, как у рыбёшки, ртом. Ветер шевелил волоски на голове.

«Вот ты, Жоржик».

«А это – Дерево».

«А вот это, – ему позволили приблизиться к тому месту, где ствол жилами вступал в сухую почву и был украшен её пылью, как сурьмой. – Это – Земля».

19

Предпоследнее письмо было написано раньше других. В Колумбии.

«Ты вообще представляешь, как здесь страшно?! Буду откровенен, я всё время пишу тебе немножко пьяный, потому что всё время пью. Не напиваюсь, а просто создаю себе более ли менее сносное для жизни состояние. Когда мы первый раз ночевали не в большом городе, а в сельской местности, я впервые в жизни испытал настоящий приступ страха. Не помню точно, где уж мы тогда поселились, в каком именно месте. Это была совсем маленькая гостиница в одноэтажном бараке. Всего, по-моему, в коридоре было шесть комнат, два на полтора каждая. Душ и туалет общие, во дворе. Духота была хуже, чем днём. Я разделся догола и лежал поверх простыни, обмахивая себя картой, и Анечка, думаю, делала то же самое у себя в каморке через стенку. Ещё через две двери в коридоре в своей каморке спал парень, который нас устраивал. Может, сторож, может, сын хозяина. И кто-то там ещё спал, я не знаю, кто, но храп стоял такой дикий, что мы все там не могли уснуть. Потом Аня стала прямо через стены ругать на испанском или этого храпуна или хозяина за то, что он не следит за порядком, а я лежал и тряса, что они сейчас к ней полезут, а я совершенно не готов встать на её защиту. И я стал прямо из горлышка пить виски. С трудом, потому что заесть было нечем, я проглатывал глоток за глотком, как лекарство, как микстуру от страха. В общем, когда все, включая храпуна, затихли – я его допил. И жутко захотел есть. И вот

смотри, что я потом сделал. Я «тихонько» оделся и, стараясь передвигаться бесшумно, попёрся искать еду. Вышел в коридор, закрыл за собой дверь и на ощупь двинулся на свежий воздух. По дороге я подмигнул и показал «козу» парню-портю, который выглянул из своей комнатухи, и оказался на улице, один на один с «ночной жизнью» этой то ли деревни, то ли посёлка, то ли маленького городка. Свежести под открытым небом было, конечно, больше, и я зашагал к мосту через речку, за которым было какое-то оживление. Я шёл в темноте по мягкой пыльной дороге и не слышал звука своих шагов. Из-за этого сперва у меня было ощущение, что я где-то на Луне. А на третьем шаге я понял, что еле иду. В смысле – еле держу направление, меня мотает, и ноги мои подкашиваются, и перед глазами все ориентиры плывут то вправо, то влево... Слава Богу, мост был не подвесной, а проезжий, и на мосту были твёрдые перила, так что я мог за них держаться. Я даже постоял там, утопив сандалии в глубоком слое этой белой пыли, и посмотрел вниз, на воду, хотя так её и не увидел. Короче, подхожу я к ближайшему освещённому месту, а это как раз кабак. И перед входом человек пятнадцать усатых «амиго» в майках курят и смотрят по телевизору футбол. Или бокс. Кто-то сидит – ест, кто-то просто стоит – но, в общем, вход внутрь заведения загорожен. Но я понимаю, что ничего не боюсь. Что просто хочу есть. И просто иду покупать еду. Страх нет совсем! От радости я делаю грудь колесом и, так как меня сильно болтает, на всякий случай делаю крюк в несколько метров и несколько нарочито, по стеночке, всю эту толпу обхожу и вхожу внутрь. А там никого. Я стучу об стойку – ничего. И даже стульев нет за столами. Всё вынесли наружу. Я обратно – к дверям. Вышел на террасу и полез в самую гущу, поближе к телевизору, и давай толкать этих мужиков и показывать себе пальцем в рот. «Где, мол, еда?» Я был на две головы их всех выше, и они вежливо показывали мне пальцами на окно. Наконец я понял, что хозяин кабака сидит на окне и тоже передачу смотрит. Я опять пошёл внутрь, чтобы подойти к нему с тыла, а он уже всё понял и идёт мне навстречу.

Он мне вынес сковороду огромную, и бутылку вина, и хлеб. Хотя я ему вино не заказывал. И ещё кувшин с водой. Я заплатил ему бумажкой в двадцать долларов и всё съел. Это была фасоль с мясом. И когда я всё съел, я отчётливо помню – пришло равновесие. Всё перестало плыть и остановилось. Звук от телевизора стал чётким, а их голоса вокруг резкими. Я услышал пропеллер вентилятора на потолке, потом мотороллер на улице. Потом птиц. (Здесь ночью всё время орут птицы, воют, кричат – пением это назвать нельзя.) В общем, я отправился по пыльной дороге обратно через мост в темноту, и все эти парни у телевизора помахали мне вслед. Вот такая история.

Это похоже на песню. Она начинает звучать на пластинке, и ты знаешь, что у тебя есть столько-то минут в запасе. Когда тебе всё более-менее известно. По крайней мере я лично всегда знаю, когда будет переход из одной тональности в другую, когда будет повтор, когда кульминация. Я имею в виду простую музыку – песни Фрэнка или Луи. Они всё делали грамотно: где надо свинговать – они свинговали, где надо "staccato" – у них "staccato". И ты идёшь вместе с ними, предчувствуя каждый поворот, а они только тебе, знай, подмигивают. Повернут на секунду позже и улыбаются, рады, как дети: мол, видал, как я?.. Я это люблю. И вот иголка по канавке бежит, а ты видишь сверху всю пластинку и полосу песни на ней – это может быть широкая полоса, как "Baysen streets" или, наоборот, узкая, как "Dardanell". И вот пока иголка бежит по канавке, ты кайфуешь, грустная ли это песня или реактивная, как "Tiger Rag", – всё равно, ты словно в ладошках у Бога и следишь только за тем, как они это всё выделяют. Только за тем, "как"! И этот мой поход за горячей едой был такой песней, и я помню там и визг трубы, и стук бас-барабана, и...

И ещё, Одинцов! Ты не должен обижаться на то, что все письма я пишу тебе пьяный! Я не очень, во-первых, и пьяный! А во-вторых, я пьяный ЛУЧШЕ ВИЖУ! Чётче!

Когда мне страшно, я вижу не так чётко. Мне кажется, потому, что много внимания уходит на работу мыслей. Я всё время просчитываю варианты – как безопаснее, где спокойнее. Что, если так? А если эдак? Я всё время готовлюсь к нападению – неизвестно кого и неизвестно откуда. Я на войне. В окружении врагов, предателей и убийц. А когда выпью – я возвращаюсь в мирную жизнь, домой, и сразу ко всему готов. Вернее – нет-нет! Не "готов ко всему", а точно знаю, что готовиться бесполезно. Что я слабее всего этого, что вокруг. И тогда я как бы сдаюсь ему в плен. И волочу ноги дальше туда, куда оно скажет. А оно – всё, что вокруг, говорит: – Да, мне всё равно! Иди куда хочешь. – Понимаешь? Ему всё равно! Не нужен ему ещё один напуганный и пришибленный пленник. Оно ждёт... оно ждёт другого.

Слышишь, Одинцов? – Не нужны ему мы, пленники! Ему любящие глаза нужны, и душевное тепло, и твоя сила, с которой ты готов его защищать и поддерживать. – Конечно, писатель я никакой. Но ты, я уверен, ты напишешь об этом! Ты сам это чувствуешь, ты мне об этом же рассказывал. Вот ты об этом и напишешь. Я прошу тебя – напиши. Фиг с ней, с Колумбией! Не в названии же дело, а в том, что смог увидеть в этом месте. Вырази это всё как-нибудь, признайся ей в любви (ей – это тому, что вокруг), пусть её зовут Колумбия, пусть Коста-Рика, пусть Панама. Прошу тебя. У тебя выйдет».

У Леночки дрожали губы. За окном выли сирены, гудела сигналами автомобильная пробка. Вечер окончательно наступил, и из открытой форточки на кухню влетала сырость московского марта и отблеск ночных огней.

На последнем конверте стоял штемпель Боливии. Конверт пугал её своей отвратительной предсказуемостью, и она всё держала и поворачивала его в руках, выжидая удобный момент, чтобы достать спящий внутри лист. Последнее.

А тут зазвонил телефон.

20

«Р-р-ррр...» превратилось в «mmm», и внутрь этого плотного гула стали пробиваться сдвоенные и строенные удары большими кожаными грушами. Кольхание воды стало волнообразным, а сама вода более светлой. Вернее, стенки мешка – более прозрачными. Они пропускали свет, и он чувствовал, как огромные тени двигаются над ним, словно планеты...

Он вспомнил это место. После того, как его пятка уткнулась в плотную и скользкую стенку. Сила, большая, чем предыдущие удары, согнула его ножки в коленях и прижала их к попе.

– Куда на меня!? – он захотел КОГО-ТО ОТОДВИНУТЬ и сразу вспомнил. Мешок озарился зелёным и розовым... Он перевернулся, приник лицом к разогретому пузырю и получил прямо по голове и по груди чем-то тупым.

21

Так получилось, что прежде чем в мышцах появилась ломота и ноги стало сводить судорогами, Жоржик успел добрести до пыльной просёлочной дороги, на которой, повторяя путь тракторных колёс, хребтами торчала засохшая грязь. Хребты эти осыпались и крошились у Жоржика под ногами, он спотыкался, переступая из одной колеи в другую, и, наконец, сел между ними, прямо посередине.

В половине шестого его заметила Фатима – по субботам она всегда срезала здесь путь, когда было сухо. Её подвозили на автобусе до совхозного поля, и оттуда она шла вдоль этого керамического русла, изучая следы тракторных шин.

Женщина одинокая и бездетная, Фатима без особой радости проводила два выходных в родном доме. Пансион и его властный и обидчивый директор Сергей Александрович, изнеженные пациенты, глупые санитарки, массажист Федя, с которым она была знакома ещё по тибердинской больнице, её обязанности старшей

медсестры, а с недавнего времени ещё и обязанности секретаря – всё это постепенно вытеснило из её внимания вольную жизнь. Папа теперь старик, мама – старушка. Держат только козу с козлятами да кур. Барашки теперь только у соседей. Один трактор на всё село. И ещё грузовик у пчеловодов Рустама и Наны.

«Вот тебя бы на грузовик положить, в кузов – вот было бы хорошо, – думала Фатима, заплетая тяжёлую руку Жоржика на своей шее. Его зубы колотились в невероятном темпе. Он икал и дышал с таким жалобным стоном, будто что-то пел про себя. – А был бы у меня телефон, как у Федьки, – сейчас бы позвонила. Хотя и у Наны тоже нет телефона, она тоже пока мечтает только...»

– Ну-ка, Жора: пошёл – пошёл – пошёл! Пошёл сам! Пошел. Вот! Вот!

Спасённый, ликующий, преисполненный благодарности, но бессловесный от жара и озноба, Жорж Санд чуть ли не бегом пустился по дну глубокой рытвины, а Фатима, согнувшись, засеменила под его рукой по высокому её краю. Потом он упал – и её за собой утянул в пыль. Она лежала под мокрым от пота Жоржиком, и счастье, вместе с лучами тёплого вечернего солнца, пронизывало все её сорокалетние косточки. «Вот угораздило же меня! Под такого слона попасть! Расплющит сейчас меня, – не сдержавшись, она на мгновение присосалась губами к его подмышке, натянулась вся в струну в эту секунду и затем, сразу отпрянув, почти одним движением подняла его на ноги. – Съем тебя сейчас здесь, и никто не узнает. Обьедки если закопать...»

– Тьфу ты, чёрт побери! – она сплюнула. – Да иди же ты, сумасшедший! Оба сейчас рухнем опять. Пошёл, кому говорят. Ещё вон до куста надо дойти. Пошёл!

Она представляла себе, как свежует и разделявает тушу барана, спускает кровь, а потом кидает красные куски мяса в большую кастрюлю. Много раз виденное, это зрелище дразнило аппетит и вызывало в ней прилив сил. И поэтому она не гнала его прочь, а наоборот, чтобы подтащить Жоржика поближе к домам, смаковала эту кровожадную картину, чувствуя, как за ней уже начинает проступать другая запрещённая на людях игра. Она представила себе кровь, стекающую струйкой сначала по её руке, а потом и по её ноге, и это разбудило в ней такое женское томление и жажду, что последние двадцать метров до куста она протащила Жоржика практически волоком. И оттуда уже побежала к дому одна.

22

Когда Сергею Александровичу рассказали, что Жоржика вторую ночь нет на месте, он подумал, что это хорошо. «Первые шаги. Сам. Ну, правильно». Когда в понедельник оказалось, что и Фатимы нет на рабочем месте, – он обеспокоился её здоровьем. Когда майор заявил ему, что он «в полном порядке» и уезжает «на войну» – он написал ему подробную положительную характеристику и выписку в местный диспансер о том, что гр-н такой-то прошёл курс реабилитации. Хотя более тяжёлого случая уже лет десять не встречал – ни о какой реабилитации, конечно, и речи не было.

Когда девочки заявили ему, что они все (все!) хотят остаться в пансионе ещё на пару недель – он подумал, что слишком уж многое пошло не по плану, но всё-таки позвонил в агентство и попросил отложить приезд новеньких «пациенток».

Но когда приехала Чеча, он занервничал. Чеча могла нагрубить остальным девочкам, могла обидеть Фатиму, могла совратить кого-нибудь из пациентов, могла, в конце концов, устроить бунт или драку. Доктор настроился её отговорить и собрался долго препираться с ней в кабинете, но она быстро перешла от слов к своему любимому делу и через пятнадцать минут, получив ключ от комнаты Фатимы, свесилась из окна галереи и стала организовывать доставку своего чемодана на третий этаж.

Поимев за последние четыре дня третью женщину, доктор малость причумел. Рассказывать о своём баловстве Сергей Александрович не любил и обычно только намекал другому местному плейбою, Феде, о некоем приятном моменте прошедшего дня или ночи. А сейчас даже намекать не стал, а просто попросил Федю съездить к Фатиме домой и разузнать, долго ли она... Или даже лучше перезвонить ему оттуда, а он сам всё спросит.

И вот в середине дня, после проводов майора и суматошного обеда, когда надо было представлять девочкам Чечу, позвонил Федя. И спросил, надо ли их будить. Родители, мол, просят дать им выспаться.

– Кому им, Феденька?

– Фатиме нашей и Жоржу, – из трубки донеслось весёлое кавказское восклицание, которым обычно выражают своё восхищение удалью жениха. – Спит наш герой с дырой. Мама с папой говорят, дня три еще будут здесь лечиться. Что делать, Сергей Александрович? А?.. А?

Бесшумно, как в глазах контуженного, мир, ещё минуту назад казавшийся многоцветным и ярким, – в миг расстелился перед ним зловещей равниной пепла. Как Нагасаки. Доктор думал только о том, где ему сейчас найти в этом мире комнату – или кровать – и сесть на неё или лучше лечь.

– Будить? А? А?

– Нет, – доктор сам понял, что слишком тихо сказал «нет» и сделал последнее усилие, – нет! Не буди! Езжай домой, Феденька. Давай возвращайся. Ага... Ага...

Он не разгадал. Он не заметил измены. Вскормил... Вот к чему весь этот карнавал сегодня – то одно, то другое... Его оберегали от инфаркта. От приступа. Сначала разогрели, а теперь вот обухом...

Не может быть! Как она не понимала, что она для него значит? Как она не видела его особое отношение, его нежность... Он нашёл её, он оберегал. Скоро он уже мог бы ей сказать... А-А-А! Доктор схватил себя за голову, вцепился в волосы и стал тянуть себя руками к полу, в то время как голова почему-то отчаянно тянулась в обратном направлении. – А-А-А! – рычал пожилой, аккуратно стриженный, «стерильно» выбритый, крепкий, жилистый мужчина. Во власти, в чинах, в окружении стен своего личного замка, слуг, наложниц...

Он покраснел, и его вдох стал напоминать астматический приступ.

«Самочка! Самочка! Никакой ты не спутник, не хранитель! Тебе, оказывается, вот что нужно было всё время...»

Он оказался на ковре, на коленях. Где два часа назад его ублажала Чеча; из-за этого он не мог продолжить такую необходимую сейчас ругань и замолчал. Нет, он не винил себя. В чём ему было себя винить? Но у него не получалось вот так, впритык к собственной сладкой измене, винить в измене её.

Он тупо смотрел на свои брюки, на свои ботинки. Потом подполз к дивану. И стал думать, куда направить эту страшную обиду. В какое русло. Иначе она его разорвёт. Он задышал – быстро-быстро, как ёжик, – но и это не помогало ему заглушить нарастающий изнутри крик. А ещё серьёзные губы Фатимы и её послушные глаза никак не желали размываться и всё стояли перед ним, каждую секунду грозя оскалиться в оргазме под этим жирным, под другим, под третьим. – А-А-А...

23

«Позвони ей, чтобы она не волновалась», – советовали ему нейроны-советчики до пяти утра. Но на все резоны у Одинцова в эту ночь был один ответ. Неприличный. В конце концов они отстали от него, и целый час он сидел на кухне под тиканье часов.

Через плечо ему в глаза заглядывали молчаливые тени – наверное, умерших дедов и бабок, и их дедов и бабок, и так далее, включая совсем уж посторонних предков, и он делился с ними своим стыдом и иногда тёр себе веки, словно проверяя, нет ли там хоть немного влаги. Потом сходил в ванную и, не включая свет, умылся. Потом на ощупь снял с вешалки куртку, нашёл шапку с перчатками и ушёл из квартиры. Не знал Давид, куда теперь ему деваться. Мороз закатал все лужицы плёнкой, и прямо у подъезда он поскользнулся, шибанувшись локтем. Потом сел в машину и смотрел, как за лобовым стеклом мелькают алмазинки снега, а когда он включил фары, они превратились в простые бисеринки. Он долго грел салон, хотя холода не чувствовал, и куртка с шапкой так и остались лежать на соседнем сиденье.

Часа два он ездил по Москве, толкался среди других грязных машин. А ближе к десяти выехал на Вернадского и вдруг очутился на совершенно пустом проспекте, по всей видимости, расчищенном для правительственного кортежа. Повернул к области и помчался. А когда почувствовал скорость, уставшие от бессонницы глаза расслабились, взгляд немного расфокусировался, и он увидел сияющий чистым голубым светом небосвод – стройные, как грядки, ряды косматых весенних туч, выстроившиеся на высоком свежем небе вплоть до самого горизонта.

– Ай-яй-яй, – сказал он и упёр затылок в подголовник, позволяя свету заполнить свою стиснутую отчаянием голову. – Ветром бы ещё, и грудную бы клетку тоже...

Никто не мешал ему уехать в эту даль. В Калугу куда-нибудь. В Киев. Мимо подмороженных деревушек, дымящих печками в прозрачно-голубых тенях берёз. Мимо псов, коров и мужиков на жёлтом от солнышка снеге. Пожрать где-нибудь чебуреков с чаем. Прогудеть мотором по ночной дороге. Пропасть в какой-нибудь деревне, у бабки какой-нибудь, на сырой перине. Денег, как ни смешно, полно. Можно и до Варшавы доехать и там где-нибудь по польским дорогам покружить.

«У меня ведь даже оба паспорта с собой, – вдруг сообразил он. – Визу только не знаю, где... Да и к чертям мне виза-то?! Поеду в глушь лучше. Ведь свободен, чёрт. Ото всех, чёрт, свободен».

Он усмехнулся. Время свободного падения напрямую зависит от веса. А у него на плечах лежал дохлый кашалот. Просолённая океанской водой многотонная туша. И подсыхающая на солнце мраморная кожа прилипла к нему всё крепче и крепче.

«А! Всё равно! Поеду, – он проскочил последний перекрёсток перед Юго-Западной и поравнялся с мигающей милицейской машиной. – Только вот сейчас они мне крылышки-то...»

Милиционер погрозил ему пальчиком через стекло и кивнул на обочину. Давид встал прямо у метро. И стал смотреть в зеркальце, как издалека, бесшумно моргая, к нему приближается сине-красная гирлянда – охрана и членовоз. «Всё равно! Поеду...» Он вдруг почувствовал, что это желание наконец-то вернуло его в собственное тело. Уехать хотели и ноги, и руки, и печёнка, и селезёнка. Он весь хотел переместиться из кубиков города в огороженное одним лесом поле, а ещё лучше на обрыв реки, над долиной, или на склон горы. И походить или посидеть там всем телом. Всей кожей впитать движение ветра, оглаживающего его, как ещё один выгиб земли.

«Машину надо оставить. Иначе она не отпустит, зараза». Он вспомнил, где можно её оставить. Тут, совсем рядом, во дворе дома. Когда он приезжал к дядьке, там всегда было место. Его нагнал ленивый поток машин. «Вперёд! И на разворот. И вот здесь направо».

«В марте гулять по полям опасно! – заработал в голове сигнал тревоги. – Утром ещё куда ни шло, а когда наступит ночь? Что ты собираешься делать?»

– Ночь уже давно наступила, – грубо заткнул он последний пекущийся о его здоровье нейрон и вылез из машины в сизый от солнца и влаги морозный воздух. Крякнул, застёгивая молнию на куртке. Натянул шапку, перчатки, по привычке обстучал ботинком серый полужидкий снег с брызговиков и с крыльев, стукнул по колёсам. И на прощание качнул. А потом отправился обратно к метро – там всегда стояли такси.

Нашёл «Волгу» поновее. Нагнулся и заглянул через стекло в кабину. Тот показывает – залезай.

– Это... Отвезите меня за город. Подальше.

– Убейте и закопайте, да? Садись, сынок.

Залез. Захлопнул дверцу. Сразу – бензиновый запах в нос. Отлично.

«Попался добрый дед. Приставать будет», – с неудовольствием отметил Давид и заранее настроился против водителя. Насупился. А дед подкинул ему такую мысль замечательную.

– Может, тебя во Внуково отвезти, а? На самолёте-то можно ещё дальше улететь? В Нижний, вон, билет семьсот рублей всего стоит. А я с тебя до Апрелевки не меньше возьму. Мне иначе и резону нет ехать, а? До Нары – «штучка», в Малый – полторы возьму. В Калугу – надо бы три. Но... – дед с усилием прокрутил баранку, обгоняя длинную фуру. – С тебя, сынок, две пятьсот. Ты у меня сегодня первый. Или тебе куда?

– Давайте во Внуково. Хорошую идею подали.

– Пятихаточка... И, как говорится, – семь футов под килем.

«Вот чёртов дед! – окончательно растаял Одинцов. Свободное падение кружило ему голову. Он был, правда, немного удручён таким огромным выбором – близость гор, морей, пустынь и озёр, которую мог подарить ему авиабилет, вызвала у него в голове легкий ступор. – Семь футов под килем, говоришь? А куда плыть-то?»

– А куда плыть-то?

– Чего?

– Куда лететь-то?

– Чего не скажу, того не скажу. Ни разу не летал, – дед дал новый вираж. – А тебе что, погулять надо?

– Подышать.

– Подышать? Хе-хе-хе... Помнишь присказку такую: дышите глубже – проезжаем Сочи.

«Можно, конечно, и в Сочи... Но лучше бы не надо...»

– Голова у вас работает что надо. Следователем, наверное, были?

– Хе-хе-хе...

Постоял Давид под расписанием и поискал глазами Сочи. До вылета было ещё два часа. Ближе был Магадан, Барнаул, Стамбул, Тбилиси, Бухара, Минеральные Воды и Хургада.

Кавказские Минеральные Воды. Эге! «Привет, Михаил Юрьевич! – Я большой поклонник отдельных ваших строф и четверостиший. Помню. Греют. Всегда относился к вам как к старшему товарищу». Давид отнял двадцать семь из своих тридцати четырех. Девять лет. Старшеклассник Одинцов мог бы посадить первоклашку Лермонтова себе на плечи, а тот бы звонил в последний звонок. Вот тебе и разница.

Билет оказался жутко дорогой по сравнению с той суммой, которую называл таксист. Но Одинцова это даже обрадовало. Он понял, что в его случае это ничтожная цифра. У него была банковская карта и наличных на сто пятьдесят таких билетов. И он ни разу не был на Кавказе. В марте. «Там, может быть, и снега нет. Как в Боливии», – подумал он.

24

Фазиль включил свет – Григорий так и сидел на подушках у стены. Он поднял Гришин пиджак с пола, повесил на спинку стула, а стул откатил к столу. Потом взял со стола его тяжёлую дорожную сумку и отнес в угол, оторвав от неё по дороге бирку аэропорта. Сумку в угол. Бирку в корзину.

– Чай-то будем пить?

Григорий кивнул. Фазиль обошёл стол, плюхнулся в кресло, перегнулся через подлокотник и нажал на телефоне нужную кнопку. Когда там пискнуло, он сказал несколько слов по-туркменски – попросил принести чай. Потом повернулся к Грише.

– А знаешь, что в письмах они тебя Фикусом звали? – спросил Фазиль.

– Почему?

– Я так и не понял. Как раз у тебя хотел спросить.

– Нет, не знаю, – только теперь Гриша заметил, что вместе со светом в комнате включилась вентиляция – свежий воздух слегка раскачивал полотно жалюзи. Кто-то должен был начинать. И тогда, немного резковато для подчинённого, Гриша спросил. – А вы с Зухрой сколько прожили вместе?

Фазиль сохранил молчание. Потом девушки принесли на подносе фарфоровый, украшенный синими узорами чайник, две пиалы, сахарницу и тарелку с двумя горками изюма – светлым и тёмным. Поставили, следуя наклону смуглой ладони Фазилья, и закрыли за собой дверь. И по комнате разлился горький запах ошпаренных зелёных листьев. Григорий уже ничего не хотел услышать в ответ – молчание полностью его утолило. Он увидел, что происходит. Плавная тяжёлая рыхлость в движениях Фазилья и ставший вдруг грудным его голос дали ответ – всё это время Фазиль плакал по жене. Плакал – и не наплакался. И теперь не начинает говорить, потому что чувство держит его за горло, и он ждёт, пока оно, наконец, не протечёт сквозь него.

«Теперь я главный, – подумал Григорий Голошпак и от стыда чуть сам не заплакал. – Вот я, человек! Как же по-свински устроен... Фазиль Бахадырович, прости меня, прости...»

– Семь лет, – заговорил Фазиль. – Потом ещё пять лет, и ещё семь. Между этими годами мы с ней каждый раз года по три не виделись. Я в Бухару ездил учиться. В Самарканд. Потом в Ашхабаде жил. А последние десять лет я тоже редко приезжал. Раз в год. А тут даже два года прошло.

25

– Так... Теперь куда? – кожа дрожала от возбуждения. Вокруг были чёрные и коричневые кавказские глаза. Чёрные волосы, чёрные куртки. Гортанные крики. Здоровенные милиционеры в камуфляже, с автоматами. Просто солдатики с собаками. Здесь, в аэропорту, было страшно – страшнее, чем он думал, но ему по-прежнему мерещились пологие склоны и дымные впадины между ними. Он уже ступал на чистый сухой асфальт, когда сошёл с трапа, и теперь всё думал о том, как пройдёт по выступившей из камней траве. Как на неё присядет. Ведь куда ни глянь вокруг – снега нигде не видно, и сквозь авиационный бензин ветром доносится запах голой земли. Новой земли.

– Поселиться куда-нибудь и пойти уже, по тропе на гору забраться, – Давиду вдруг пришла в голову мысль не селиться в гостиницу и не снимать комнату, а записаться «на лечение» в один из местных санаториев. Большею неприкаянности, чем он когда-то ощущал, отбывая срок в санатории Тихоокеанского флота, он так

никогда и не испытывал. Ну, ещё один раз до этого, в пионерском лагере – в первый раз.

Он купил маленькую книжку с указанием всех здравниц курорта и, выйдя из вокзала на воздух и на солнце, открыл оглавление. Там всё было сгруппировано по профилям: желудочно-кишечные; сердечно-сосудистые; дерматологические; психоневрологические...

Ни на чём не остановившись в оглавлении, он пролистал её от начала до конца, разглядывая фотографии. Они ему не понравились. Кроме последней: высокие ворота и домик с одним окном. Ясно, что это не сама лечебница, а въезд на территорию. Дальше какие-то телефоны, адрес, и всё. Никакой информации о том, кого и от чего лечат, не было.

– Ну, и поехали, узнаем...

Поймав на себе взгляд таксиста, который курил рядом со своей машиной, Давид направился к нему. Таксист взял книжку с адресом и, то ли от близорукости, то ли от сигаретного дыма вщёрился в буквы, шевеля зажатым в зубах окурком. Потом отдал её назад Одинцову, вынул изо рта слюнявый фильтр и обиженно закачал головой, выпуская дым. – На «Кубу» не поеду, спрашивай дальше.

И кивнул на очередь из машин. Потом оказалось, что это такой маневр. Что так здесь торгуются и набивают цену. Второй таксист тоже ехать не захотел, даже присвистнул от удивления. Мол, туда только молокососы ездят, а настоящие мужики стоят на месте. Третий спросил у Давида, почему первые два его не повезли. Одинцов пожал плечами, и третий таксист пошёл разбираться с первыми двумя. Потом их собралась целая толпа. И кто-то сочувственно поделился с Одинцовым главным сдерживающим обстоятельством.

– Да в такую даль выедешь – потом и к ночи домой не попадёшь. Тут же почти триста километров накрутишь, не меньше. И дорога такая...

Давид подождал, пока дело сдвинется с мёртвой точки и кто-нибудь назовёт цену. Он видел, что все эти мужики годились ему в отцы, и не хотел их обижать. «Небрежное отношение к деньгам всегда обижает старших. Они злятся, что все их старания не имеют никакого смысла, когда такой вот "желторотый", как я, в минуту спускает их дневную выручку».

Наконец таксисты сгрудились вокруг него. Весь их вид показывал, что при любом раскладе их пассажир полное ничтожество. У того, кто говорил, интонация была преувеличенно ленивая, он зевал и смотрел по сторонам, а остальные пристально следили за тем, как он ведёт дело, кивали в нужных местах и перебрасывались друг с другом взглядами, как школьники в милиции. «Они все мне в отцы...» Одинцову стало грустно. Он, извиняясь, прервал это выступление.

– Мне, знаете, очень нужно туда добраться. Так что я готов заплатить столько, сколько назовёте, – он сообразил, что нужно выглядеть «безналичным», чтобы его не придушили где-нибудь за городом. – Только вы цену сейчас назовите, потому что у меня деньги на карточке. Я из банкомата сниму, пока в аэропорту.

– Четыре с половиной тысячи снимай, – сощурился опять первый таксист и пошёл заводить свою машину. – Отвезём, раз надо!

Вот так Давид во второй раз отправился на Кубу.

Тогда, двенадцать лет назад – он был брошенным и уверенным в себе двадцатилетним пацаном. Десять дней они стояли в Сантьяго-де-Куба. И политрук Моргунов взял его с собой – вместе с Хилем – на целую неделю в поездку по стране и в Гавану. Хиль бы и без Одинцова поехал – он был корабельным фотографом. А Одинцов заслужил такую честь, потому что всю дорогу как проклятый готовил и читал другим матросам политинформации и рисовал стенгазету. Капитан второго

ранга Моргунов не просто заведовал политической работой на destroyer⁵, но ещё имел полномочия на весь поход решать сугубо практическую судьбу команды – именно он определял, кто и в каком порту может сойти на берег, а кто нет. А из тех, кто сойдёт на берег, кому можно покидать территорию базы, а кому нет. И вот, в знак особого доверия, чекист поручил Давиду с Хилем делать фотоочерк – по революционным местам Кубы. Для отчёта в Комитете. Вот, мол, наши матросы на экскурсии в Санта-Кларе, а вот – в Гаване.

А Давид ещё во Владике стал думать про Гавану. Такая мечта у него была. Хотя по военным правилам матросам не полагалось знать, куда они идут, но слухи-то были. И он стал копить – весь поход он делал старшинам и мотористам альбомы, сочинял поздравительные телеграммы в стихах, помогал Хилю в лаборатории. А на базе местные коки поменяли ему заработанные деньги на доллары. По их курсу вышло всего сорок баксов.

В Гаване же случилось непредвиденное – на третий день чекист заявил им, что должен сделать какое-то важное дело и не желает, чтобы они путались у него под ногами, поэтому он поручает им съездить в Санта-Клару самим.

– Не позорьте звание русского матроса, – напутствовал их выпивший капитан второго ранга в номере с панорамным видом на океан. В руке у него был налитый до половины «папэрос», бумажный стакан, с приторным банановым ликером, которым он назидательно раскачивал перед носом у двух наполовину евреев Хилья и Одинцова.

– Не напивайтесь, не деритесь и с негритятами... – он икнул, отрыгнул и поправился, – и с негритянками не спите. У них у всех – АИДС! (Так Моргунов уверенно называл СПИД.) – Посмотрите на места боевой славы, сделайте побольше групповых фотографий и следите, чтобы ленточки видно было.

Они уже знали, что должны будут фотографировать не только друг друга, а ещё просить безусых кубинцев, которые хоть немного тянули на татар или на армян с грузинами, надеть матроски и бескозырки и снимать их тоже. Чтобы получалось, что их там было минимум человек десять. Для этой цели политрук взял с корабля десять комплектов одежды. И их надо было вернуть в целости и сохранности. В принципе, в Гаване эту процедуру они уже трижды легко проделывали. И кубинским студентам это, похоже, доставляло неподдельную радость. А так как Хиль ещё успевал напечатать фотографии в местной конторе и они один экземпляр оставляли местным на память, то вообще всё это выглядело вполне пристойно.

И они попали в рай. Даже отель в Санта-Кларе, куда их поселили по специальным жетонам, назывался «Парадизо». И не было для них ничего невозможного в этом захудалом, спрятанном от океана в глубь острова, городке. Перед двумя «камарадас» в белых матросках открывались все двери – в музеи, в бары, в школы, в комендатуру и даже в бордель на задворках: квартирку, в которой дружелюбная негритянка полюбила забывшего всякий страх «русского матроса» Хилья. Одинцов в неё тоже сразу влюбился, но не представлял себе, как это можно делать по очереди, без перерыва, и поэтому сказал, что придёт завтра. Без обиды, но всё равно опечаленный, он стал ждать товарища в компании развесёлых старых революционеров, за длинным столом, накрытым в соседнем квартале прямо на пустыре.

И всё в этом раю было такое бедное, такое выцветшее на солнце, высушенное ветром и потёртое любовью, что Давиду стало очевидно: счастье с теми, кто ничего про запас не держит и не бережёт. С теми, кто отдаёт и отдаёт, и когда всё кончается, то снова находит что отдать, – отдаёт жир с костей, штукатурку со стен, синеву с джинсов и прочие несметные богатства. А в ответ ночные волны

⁵ Эскадренный миноносец.

или порывы ветра в пальмах – треплют по голове этих голодных счастливиц своей прохладой, и масляная луна улыбается им с чёрного неба, глядя на их облезлые комнаты, как улыбается, глядя на заснувшего тщедушного любовника, довольная им любовница.

Ведь и правда, отдавала себя Куба всем – начиная от меркантильных мореплавателей, работорговцев и пиратов и заканчивая мафиози и богатенькими американскими извращенцами. А затем полюбила бородатых революционеров и писателей. И им отдала уже последнее.

И сейчас скулила и хлопала скрипучими ставнями в пустых гостиницах. Бубнила, забывшись, полуденным радио из дверей баров. Пердела по растресканному асфальту допотопными лимузинами и грузовичками. И губасто и прокуренно смеялась: под гитарные трио и хруст ломтиков сыбаса и под звон стаканчиков с ромом.

Небо потемнело от вечерних туч, а застолье на пустыре продолжалось. Пожилые кубинцы, пытаясь вернуть Давиду бодрость духа, сгрудились вокруг него тесным кольцом, и, все в слезах, запели героическую балладу про бесстрашного команданте. Позже вернулся Хиль и стал всех фотографировать. Ему понадобился свет, и внучка одного из этих буйных ветеранов повела Одинцова за лампой или за удлинителем к себе. И всю дорогу по лестнице на четвёртый этаж он спотыкался и путался в своих клешёных штанах, сжимая её горячую ладонь в своей. А в ответ она сжимала его пальцы ещё сильнее. И, наконец, в дверях её комнаты по животному притяжению они вцепились друг в дружку губами и ползли по стене до кровати, на которой, уверенно распорядившись, она довела его до горячего обморока. И стала первой из череды женщин-селёдок, только за которыми он с тех пор и стал охотиться, пока однажды не встретил Павлушину невесту и жену.

26

– У меня, по всей видимости, начался психоз. Мне всё казалось, что ей может быть ещё больно. И на всякий случай я стрелял в неё четыре раза. А потом, когда выпалывал могилу, вижу: сама она лежит рядом совершенно спокойная – и меня отпустило. С тех пор я больше не дёргался.

Фазиль уже давно встал из-за своего стола и давно слушал, стоя в углу. А теперь подошёл совсем близко и тоже сел на подушки. Его круглое тёплое плечо и бок прижались к руке Григория плотно, как никогда раньше.

– Всё дальнейшее ваши ребята взяли на себя. Посадили их в свою машину и ночью же увезли. Дом, я так понял, они ещё заранее нашли. А я утром уехал обратно в Сантьяго. Все документы, как вы просили, я забрал. Они здесь.

Внезапно Голошпак осознал, что вот уже дважды сегодня Фазиль прикасается к нему, а он не ощущает ни восторга, ни замешательства. Григорий был геєм, был тайно влюблён в Фазилю с первой их встречи и привык своё смущение всегда держать под контролем. Но сейчас вдруг оказалось, что держать больше нечего. Дно выпало, а в руке, вместо полного ведра, качается скрипучая жестянка.

– Что? Не ожидал такого поворота? – пуская в грудь Голошпака стрелу за стрелой, смеялся над ним младенец Амур. И стрелы эти, не причиняя ни малейшего вреда, ни даже жжения, пролетали через сердце Григория, словно через облако. – Ну, старик, – бывай! – малыш застегнул пустой колчан, перекинул лук через плечо и, серьёзно осмотрев с ног до головы, вдруг спросил. – А сможешь ли ты держать копьё, старик? Захохотал и, не дожидаясь, когда он откроет рот, улетел... Голошпак немного поморгал, давая улетучиться чудесному явлению, и поставил, наконец, точку в рассказе.

– Сплю нормально, Фазиль Бахадырович. Сплю нормально.

«Да как же это я – Я!!! – смог убить?» – несмотря на то, что все слова из него истекли, Гриша так и не произнёс вслух свой главный вопрос. Но Фазилю было вполне достаточно и того, что он непрестанно звучал у него в мыслях.

– Ты, Гриша, появился только после убийства, – вибрируя всем своим тёплым боком в такт речи, сказал Фазиль. – А до этого «тебя» не было.

Григорий даже повернул к нему голову – он и забыл, как тонко может слышать Фазиль. А тот впервые не стал прятать свой дар, и поэтому ответ произвёл на его помощника сильное впечатление.

– С первым выстрелом вылезла у тебя макушка, со вторым – голова, на третий – вывалился ты целиком, – раскатываясь по рёбрам и мышцам Григория, струилась сладкая, как музыка, речь Барабанщика. – А потом шлёпнули тебя по попе, и ты задышал. И сам себя теперь не узнаёшь. Холодно тебе – орёшь, голодно – требуешь грудь. Только никто тебе, бедолаге, помогать не станет. Теперь будешь один. Один на один со всем этим бардаком.

Голошпак подумал, что если бы они с Фазилем были ровесниками, одноклассниками, и пришли бы на свой секретный чердак, и там открыли бы друг перед другом каждый свою сокровенную мечту, то его, Гришина, мечта была бы «перепрятаться», переиграть по новым правилам, в которых всё то же самое можно было бы просто изображать, и никто бы не кричал и не показывал пальцем, что ты «жухлишь»...

Ещё не седой в свои пятьдесят лет, без лишних морщин, сухой, подтянутый, но всё-таки потрёпанный последними приключениями, Голошпак вдруг вспомнил все свои терзания. Хроническое безденежье, иступлённую экономию и диеты, позволяющие хоть немного поддерживать непомерно высокие требования к внешнему виду. Редкие, полные эмоциональных приливов любовные свидания, а затем долгие, до полного иссыхания чувств, отливы исповедей, обетов – и одиночество. Какое-то тотальное одиночество: из пятидесяти половину – один в квартире, в комнатке на двенадцать метров.

– А кто же это был, до этого? Кого я сейчас вспоминаю?

– Возьми у курицы, Гриша, яйцо с птенцом и шмякни его на сковородку, – Фазиль всегда отвечал в соседней плоскости, – у тебя ни птенца не получится, ни яичницы. Тебе повезло, ты счастливо избежал такой глупой судьбы! О чём же ты грустишь?

Голошпаку потребовалось время. В конце концов, надо было уже разобраться, что это за маска облепила ему лицо и что заставляет его говорить обиженным тоном. «Чего мне надо?..» Да. С одной стороны, он не очень-то верил, что назад, в скорлупу, пути нет. Но с другой стороны, похоже, что пути назад действительно не было. Он помнил, что сам вызвался в помощники, что стал для Фазила третьей рукой и всё требовал, требовал какого-нибудь... «настоящего» дела. И когда ему дали оружие и показали, куда бить, – он всё сделал... А теперь Фазиль говорит: – А зачем мне третья рука? И не хочет приставлять её обратно к телу... Если это рождение, то почему больно ему, новорожденному, – разве не мать должна кричать при родах от боли?

Очень больно... Впрочем, он не испытывал нужды в утешении. Это был ощутимый плюс – почему-то не хотелось ему теперь менять свою грусть ни на что другое. Что есть, то уж пусть и будет. Благодаря подсказке Фазила он вдруг понял, что тогда, стреляя, он каждый раз протыкал перегородку между устроенным миром и окружающим этот мир безликим хаосом. И теперь в четыре эти пулевые отверстия на него являлась сама Бесконечность. Он и дыхание её слышал. И смешки... И он снова, в который уж раз за сегодняшний день, ощутил себя предметом совершенно незначительным; такой свободной от притяжения тлём – и ещё подумал, что приди это ощущение раньше – и он, вероятно, не смог бы вернуться в Контору. Так ветром бы и носился.

Тут он окончательно выпростался из мыслей о себе и посмотрел на Фазила. Командор сидел, привалившись мешочком к стенке, и чуть склонённая голова его – смуглый, налитый мозгами и кровью шар, – вытягивала своей тяжестью заднюю линию шеи.

– Мне жаль Зухру, – сказал ему Гриша.

Фазиль, по-восточному, с благодарностью кивнул.

– Всех жаль.

Фазиль качнул головой ещё ниже.

– Давайте Давида найдём...

Фазиль опять кивнул.

– Простите вы его уже, Фазиль Бахадырович. Ради меня!

– Да куда уж мне на него обиду держать, – Фазиль опустил лысую голову совсем низко и коснулся подбородком груди. Помолчал. Потом поднял голову. – Найдём, конечно. Вон телефон, подай мне.

Гриша поднялся с подушек и принёс со стола трубку.

– Ты знаешь, – попросил Фазиль, кивая на кресло. – Сядь-ка пока, настроичь отчёт. Я обещаю, что мы с тобой отчитаемся по всей форме. Знаешь, что писать?

Голошпак не знал.

– Тогда пиши правду. А я потом, может, причешу, – сказал Фазиль и сразу же об этом забыл.

Именно Гришина бумага и стала основанием для закрытого внутреннего расследования. Контора непрерывно сама себя чистила, и в этот процесс даже г-н N. вмешаться не мог.

27

На шее и плечах майора были словно наросты твёрдого заочневшего жира. И на лице такие же мёртвые участки кожи, словно едва прикрытые пудрой гуммозные накладки. Хотя они с ним были почти ровесники.

Давид смотрел на его лицо и никак не мог понять, спит тот или нет. Сосед у него оказался не подарок – малоподвижный, напряжённый, как бультерьер, он ещё и спал как-то слишком бесшумно, словно притворяясь. Одинцов сам попросил директора поселить его в обычной палате, но представлял себе её как минимум шестиместной. А тут – вдвоём. С огромным герметичным окном, выходящим на козырёк подъезда. Наверху этого окна под гардинами была узкая фрамуга, которую можно было открыть «на себя» для вентиляции. На белой крашеной двери было ещё одно стеклянное оконце – в коридор. А сами двери открывались кнопкой на столе дежурной сестры или санитара. Нужно было только дать ей сигнал.

Давид промаялся без сна около трёх часов. Свет выключали в десять, и сначала он лежал на спине, чувствуя, что у него достаточно сил, чтобы не шевелиться. Через час не выдержал – подошёл к окну и ещё час разглядывал шевеление листочков и полёт первых мошек над рыжим фонарём проходной. Потом вот постоял у изголовья кровати соседа. Но мать внутри не проходила.

Он всё цеплялся за одну и ту же бредовую идею – что его найдёт Лена. Найдёт и поднимет. Когда он только лёг – он услышал, как подъехала легковая машина, и тогда же впервые мелькнула у него мысль о том, что это приехала его Элен. Он и так и сяк убеждал себя в глупости подобного предположения, но, как ни крути, а за последние сутки это была самая интересная для него мысль, и он к ней привязался.

Наконец он подошёл к двери и нажал на кнопку «в туалет». Дверь, едва слышно чмокнув, отомкнулась. Он выскользнул наружу и огляделся. Откуда-то издали прилетел перелив женского смеха. Давид прислушался. Опять перелив. Или ему показалось? Сзади опять чмокнул замок.

– Погулять? – спросил его мужской голос.

– Да... – Одинцов прищурился в сторону стола дежурной сестры. Наверное, по ночам санитар дежурит. За лампой, которая была в стекло на столе, ничего не разглядишь. – Курить чего-то хочу.

- Ну покури.
- Нечего. Бросил я уже давно.
- Правильно. Нечего курить.
- А у вас нет?
- Чего?
- Ну, это... – Давид сделал несколько шагов к свету. – Покурить.
- Угостить, что ли?
- Ну да, сигареточку.
- А хочешь сигару?
- А сигарет нет?
- Да есть, есть. На вот, бери.

Одинцов вошёл в свет. За столом сидел молодой кабардинец с тонким горбатым носом на бледном лице. Глаза блестели, как у всех двадцатилетних горцев. В Москве Одинцов не сажал таких орлов в машину. Дикие, крикливые, они всё время старались его задеть. Там он их избегал, а сейчас, на их территории, стоя ночью в халате перед одним из них, – не испытывал почему-то ни малейшего беспокойства.

– Купил сигару, попробовать – попробовал, курить не могу! Крепкие очень. Я так и думал, вообще. И купил поэтому вместе с футляром. Она сейчас там, – санитар постучал себя по внутреннему карману. – А без коробки – воняет!

Он протянул Давиду открытую пачку «Космоса».

– Если хотите, давайте я попробую. Мне как раз чего-то такого, вонючего надо сейчас.

– Сигару?.. Ну давай, – кабардинец отложил сигареты, залез в пиджак под халатом и вынул оттуда похожий на длинную оловянную пулю футляр. Отвернул у него наконечник и протянул под лампу. – На! Понюхай сам! – санитар постучал пальцем по донышку «пули», и вскоре из глубины высунулся лохматый, как дворняга, окурочок.

– Здесь, наверное, нельзя? – Давид бережно принял в свои руки футляр с сигарой, крышечку и коробок.

– Нет. Здесь нельзя. На лестнице поднимись на третий этаж – там урна.

– Хочешь, пошли вместе покурим?

– Не. Мне нельзя. Я, когда надо, здесь в окошко курю.

– А сигару в окошко – вонять будет?

– Да.

– Ну, так приятно же?

Кабардинец засмеялся этому, как шутке.

– Кому как! Если, например, Фатима Мурадовна пронюхает, она меня уволит. Кури, кури! Можешь не торопиться. Мне уже сказали, что ты «косишь».

– Я – кошу?

– Ну, что ты нормальный. Так что кури сколько надо.

Разжалованный из «сумасшедшего» в «обыкновенного» Одинцов не торопясь вышел на лестницу и поднялся на этаж. В коробке было всего пять спичек, и он понял, что должен собраться, чтобы прикурить хотя бы с двух. «С одной-то точно не прикурю. Чёрт! Зачем я связался?!.. Сигары! На Кубе! Парень-то небось сам и не понял, какое совпадение. Или понял?.. А я все эти совпадения замечаю, как землянику...У, чёртовы мысли! Хотел же в тишине покурить». Ещё не прикуривая, Одинцов вновь прислушался к звукам спящего корпуса.

Где-то гудела с переборами лампа. Смех. Смех?.. Голос мужской. Похоже, директор. Женский смех опять. Дверь хлопнула. И снова только одна лампа гудит, заикаясь.

Подойдя поближе к прозрачной двери третьего этажа, откуда шёл свет, Давид стал приспосабливаться, чтобы прикурить. Вытащил сигарный бычок из цилиндра,

и пока отряхивал от табачных крошек ладонь, крепко стиснул сигару губами. Коснулся языком – горько! Убрал колпачок и цилиндр в карман, взял спичку, отмерил взглядом, сколько ей гореть до пальцев, и чиркнул.

Вдох! Вдох! Вдох! Вдох! Вдох! Вдох!.. Вдох! Всё – обжигает уже. Он выбросил спичку на пол и продолжал пыхтеть.

Ну?.. Ну?.. Ну-у?.. Есть контакт! Затлело, зарделось, рот наполнился вонючим дымом, а язык аж сжался от горечи. Он перестал пыхтеть и, округлив зубы в чудовищной американской улыбке, подержал сигару одними зубами, боясь обжечь табаком губы, – больно они у него были нежные. Потом торжественно вынул раскуренный бычок изо рта и, двинув челюстью, выпустил перед собой большой клуб дыма. И чуть не закашлялся на вдохе. Во рту оказалось ещё достаточно этой дряни, чтобы встать колом у него в горле. «Тьфу ты, чёрт! Крепкая какая! Как же Че Гевара их курил, астматик?! Чёрт!» Слёзы выступили из глаз, он сделал глубокий вдох через нос и прокашлялся в кулак. «А Элечка моя сейчас где-нибудь тут, в кабинете с доктором, смеётся...»

Одинцов застыл. Всегда, когда что-нибудь подобное мелькало в голове, он застывал, как охотник, который хочет понять, откуда донеслись шорох или хруст ветки. Как боец, озирающийся в поисках места, откуда по нему ведут прицельный огонь. Но откуда в него стреляют – он не знал. Стреляли в спину. Значит свои. И сам бы себе Одинцов не поставил сейчас диагноз «косит». Потому что был в отчаянии от этих вылазок своего мозга, от навязчивых внутренних монологов, для которых не было совершенно никакого повода. В основном это были монологи про Ленку-сучку и её грязные измены. Никогда и ничего подобного его Элен не стала бы делать, но чёрт подбрасывал ему реплику за репликой, и каждый раз эти словечки выскакивали в самую тихую секунду и сотрясали ему неожиданной звонкостью своды черепа.

Он бы себе прописал лоботомию. Самое смешное, что сейчас не он её должен был ревновать, а она его. Он её бросил и, ничего не объясняя, уехал. Он сам же почувствовал брезгливость к их телячьим нежностям в лифте, в парадном, в больнице. Сам первый стал уводить свой взгляд от её глубокого долгого вглядывания в его зрачки. Сам же решил, что это «подстава», что любовь ушла. Что Фазиль оказался прав, и это вообще была не любовь. «Это не любовь! А я из-за неё такое совершил...» – ужасался он своему вдруг показавшемуся бессмысленным преступлению. «А это не она! Не любовь! Только выражение глаз! Только температура тела, движение сока, испарение пота, ферменты, запах – в общем, химия одна!» Сам же себе почти месяц наговаривал Давид эти слова. Искал им опору, искал им пути-лазейки, а в итоге что? Уехал, а теперь бредит тем, что она ему изменяет!? Ну разве это не бред?!

Лоботомию.

Лоботомию.

За стеклом послышалось шарканье, и к двери подошла длинная фигурка в таком же халате, как и на нём. Прикурила сигарету и... стоп! Испугалась.

Давид кивнул и показал девушке на свой тлеющий бычок – мол, «милости просим в наш "сигарный салон"».

«Вот она, наверное, в тупике – кто я? Псих? А почему на лестнице с сигарой? – Давид оглядел её тонкий, словно фарфоровый, силуэт. – А она-то кто такая? Женский корпус-то вроде там. Или их тут директор приютил у себя?» Он постарался, но не смог вспомнить ни одного из лиц тех девушек, что сидели рядом с директором в столовой.

«Я – не-псих! Я – ко-шу!» – отчётливо проартикулировал он через стекло и улыбнулся. «Бойтся».

«Бо-ит-есь?» – снова проартикулировал он беззвучно.

Девушка молча оглянулась в коридор и потом медленно вернула голову к нему, к лестнице.

«Вот пава», – подумал Одинцов и, сдаваясь, на прощанье помахал ей руками. – «Всё, ла-дно, у-хо-жу! У-хо-жу!» – и пошёл к урне гасить сигару. Раздавил её о край и стал нащупывать в глубоком кармане детали оловянного футляра.

– Вы не пациент, что ли? – раздался сзади хриплый голос девушки.

– А вы? – обернулся Давид.

– Я первая спросила...

– Вот первая и отвечайте... Я же вам уже «говорил», что я не псих. Я кошу. Это официальный мой диагноз.

– И я кошу, – девушка, повернув головку в профиль, выпустила тонкую струю дыма вправо. – В соседнем корпусе.

– Ага, значит, это мы у вас вчера одеяла одалживали. Георгий вас, наверное, фиалкой называл?

Девушка согласно кивнула. – Жорж.

– Георгий... Ну, или да...

– Жорж Санд его доктор зовёт, – хмыкнула она осипшим голосом. – Он ему пишет отчёты разные...

– Простите, а у вас какие сигареты? Тонкие?

– Нет. Обычные. «Лайт». Хотите сигарету?

– Да нет... – он показал свой развороченный об урну окурочок. – Я вот сигарой уже накурился.

28

– Ты уж не обижайся, если я ругаться буду, – сказал майор Жоржику – и почти ни слова не ругнулся за всю их беседу. Сейчас Жоржик обратил на это внимание, потому что на другой день после майора он разговаривал с Одинцовым, и ему было с чем сравнивать. Одинцов ругался гораздо больше, смачнее и метко прилеплял матерок к разным определениям. «Тем-то и тем-то "зае...ный" мужик», – говорил он, и Жорж сразу этого мужика видел, или «тётка была "...тая"», и Жорж отчётливо видел тётку. А у майора помимо пресного «бля», которое он тоже вставлял не так уж и часто, никакого неприличия в рассказе больше и не было.

К двенадцати ночи, когда майор, наконец, согласился и приступил к «анализу ситуации», – он стал говорить по делу. Очень сдержанно, правдиво и разумно, и всё равно оставил у Жоржика ощущение глухой душевной темноты, словно бочка с затхлой зелёной водой, на дне которой палкой пытаются нащупать выпавшую изо рта вставную челюсть. Палкой, потому что рука не достаёт. Бом... Бом... Скрёб... Скрёб...

– А у вас есть хоть какое-нибудь соображение – почему она так сделала? – спрашивал Жоржик, осторожно убирая из интонации даже намёк на надменность.

– Да я тебе говорю – сам голову сломал, не пойму... – в слове «го~~ло~~ву» майор делал ударение на второй слог, так что получалось похоже на «галаву». – Она его любит, что ли? Он же страшный, я не могу... и веришь, нет – плохой он человек. Все у нас там, конечно, бля, уроды, но он-то главный урод! И как она могла – тогда попробуй пойми... Нет у меня ответа, веришь. Как я упёрся в это, так, бля, и встал. Нет ответа, веришь...

– Расскажите про неё.

– Да чего она... одноклассница моя. Первого свидания даже не было. Как в пятом классе поцеловались, так ни разу потом не разговаривали. Прихожу из армии – встречает. У вагона. Ни писем не писала, ничего... Поехала ко мне домой, помогла матери на стол, там, накрыть, поужинала с нами и ушла. И опять мы, наверное, год не виделись.

...Потом мать говорит: «Женись на Светке». Я думаю, как я на ней женюсь – ещё с девками вообще ни разу не спал. Очко играло. Думаю, как я женюсь – она расскажет всем, что я салага ещё...

...И я не женился, а пошёл в менты. И вот там я, бля, через три дня уже дорвался до тёлочек – шлюх мы каких-то там везли – они сами предложили всем по разику дать. А я младший в группе был, меня и не спрашивали, сделали мужиком, и всё.

Ну, на следующий день я ей звоню – у неё гулянка. Я туда. А за ней, оказывается, пацаньё ухаживает, она вожатой у них, что ли, была, или училкой... Да. Училкой. Они мента увидели – перессали все и ушли. Ну и всё. Она, конечно, не целкой была – с пацаньём уже года три шлялась, но ко мне сразу привыкла, ну... в смысле, стали жить нормально с ней. Родила дочку.

– Я уже старшим сержантом был и перевёлся в эту... Рязань, бля, зачем-то. С повышением в исправительной колонии работать. В СИЗО тоже. Летёхой стал. Ну, после курсов, конечно, школы милиции. В общем, перевёлся и «пошел в гору». А Светка располнела после родов. Домашняя такая вся стала, пироги печёт – ну, я всех своих ментов со службы на пироги и водил. Мы пьём – она нет. Дальше капитаном стал. Порядок. А год назад съездили в Чечню – майора дали. Жизнь не меняется – деньги есть. В тур поехали – ничего... Приехали. Я два дня был там, на дежурстве, после отпуска, и ночью подбросило меня: «А чего они не звонили-то мне сегодня?» Сам звонить не стал – ночь уже, поехал на служебке. Там свет. Значит, думаю, нормально, не разбужу – и вхожу. И сразу, бля, всё – и ботинки, и китель. Дочка, слава Богу, у бабки.

...Шеф мой.

«Давай, говорит, объяснимся. Я тебя переведу с повышением...» Я ещё подумал – одного, что ли? Она, что ли, с ним останется? И спрашиваю: «А ты, Свет, чего? С ним останешься?..» – а она кивнула... Веришь, нет – вот тут я и упёрся рогом. Что?! Любит она его, что ли? Ты как думаешь?

Жоржик, не поднимая глаз от стола, пожал плечами.

– Он ведь чистый карьерист, веришь? – продолжил бесшейный, как матрёшка, под Кашпировского постриженный майор. Бугры у него на спине двигались, как будто он собирался через минуту поднять штангу. И ему тоже было чуть за тридцать, судя по биографии. – Жопу каждому начальнику лижет, а над зеками, как он – никто из наших не глумится. Урод он, в общем!.. Но ей-то как скажешь об этом. Я-то с ней говорить не могу – мне мешает... это...

Майор над чем-то задумался, потом почесал ногтями бровь, как будто счищая с неё прилипшую грязь или краску, и на лбу у него вся кожа сложилась в несколько одинаковых полосок.

– Вот, бля, тупик, Жора!.. – он разглядывал теперь свой ноготь. А там ничего не было, на брови. Просто, может, чесалась. – И здесь мне тоже делать нечего. Меня сюда наш интендант устроил: видит, что я не пью, и думал, мало ли что? Что, Жора, а? – он вдруг поменял тему. – А чего бабы-то эти тут сидят – больные все, что ли?

Жоржик пожал плечами.

– Все красивые, прям манекенщицы, бля... Красивее моей... И здесь торчат, – майор пристально вгляделся в лицо Жоржика, словно отгадывая, что у него на уме. И поддерживает ли Жоржик его, если что. – Забрать с собой хоть одну, что ли, а?

Жоржик, надеясь, что не видно, что он покраснел, опять пожал плечами.

– Думаешь, не поедут со мной, да?

Жоржик чувствовал в этом белотелом мужчине страшную агрессию. Ему казалось, что любое неправильное слово вызовет у майора припадок ярости.

– А может, у вас там уже всё кончилось, в Рязани? Ну, может... жена вернулась? – спросил он.

– Ну и чего? Бить её, что ли? Начну бить – переломаю ей всё, а то ещё убью, – сам подтвердил предчувствие Жоржика майор, – а не начну бить – тогда чего делать? А?

– Бить не надо...

– А мне вот доктор твой говорит – надо! Надо дать волю своему телу, говорит. А?.. У вас тут груша где-то висит – вот он мне всё советовал: плавать и грушу эту месить.

– Плаваете?

– На дне лежу, веришь, нет... Захожу в воду, ложусь и всплываю, бля... Поеду я домой. Там сейчас шухер стоит. Молодняк сажают за поджоги. Может, бля, развлекусь, – майор ещё ненадолго задумался, а потом, словно на дорожку, выдохнул. – Я думаю, Жор, если она его любит, то это уже не она. Это кто-то другая, бля. Как скажешь, а?

29

Приёмник работал с самого пробуждения Жоржика, но только на этой, неизвестно какой по счёту, песенке он стал его слушать. Фатима укладывала Жоржика на три высоких подушки, так что он скорее сидел, чем лежал. Укрытый до подбородка периной и прижатый ею, как пелёнкой, края которой были загнуты под матрас.

«...трам-там-там-тарам-там-там-там!

Я вас ждал, и я ждала!

Я был зол, и я сердилась,

Я ушёл, и я ушла!..

Мы оба были, я у аптеки, а я в кино искала вас,

Так, значит, завтра, на том же месте, в тот же час»

Артисты спели все положенные куплеты, и уже звучал участливый, как на поминках, голос диктора, а в голове у Жоры застряла и теперь повторялась последняя строчка. «...Так, значит, завтра, на том же месте, в тот же час!»

Так. Значит, завтра? На том же месте? В тот же час? – Завтра, на том же месте, в тот же час...

Он был ещё очень слаб, но голова была ясной. Он понимал, что он у Фатимы дома; что он болел, а теперь выздоравливает; что он сбежал из пансионата, ночевал на горе, потом спустился, и там... лежал под деревом и видел... муравьи... Казалось ведь, что он уже всё – выскочил. А они ему – «завтра, на том же месте».

Он помнил, какая паника овладела им после разговора с Одинцовым. Как он поднялся к себе на третий этаж и стоял там, точно оглохший, словно перед ним только что отгремела литаврами опера, и бархатный в синих лучах занавес отделил зал от светящегося золота декораций. Брат поднял руку на брата из-за жены. Отправил на край света, а затем пустил по его следу убийцу, так что брат погиб и даже не узнал, кто его враг. А с ним погибла его верная переводчица и секретарь... И это всё – среди диких племён, и высоко в горах, и в джунглях, и в глухих ущельях. В ливнях, в зное, в ночи... Он видел какие-то города, и гигантские портовые краны, и набережные рек. Над ними, над этими набережными, сыпал дождь. И карамельки фонарей то фиолетовыми, то жёлтыми пятнами расцветивали перед гуляющими вдоль реки женщинами мокрый тротуар, их вишнёвые шали, чёрные с цветными платьями и лиловые на узком каблуке туфли. А вокруг них вились и толпились сотни и тысячи мужчин, таких же темнокожих, как небо, как нависшая над городом влага, взвинченных, как боксёры перед боем, и неуклюжих, как шахтёры в туннелях, от сдавленных и скомканных в теле желаний. И когда один задевал плечом другого, у обоих со шляп срывались гирлянды дождевых капель и разлетались веером прямо перед их угрюмыми лицами, прямо перед их колючими взглядами.

Он долго тогда стоял перед своим столом. Стоял, пока этот обрывок, этот клочок другого мира не растаял у него перед глазами. Пока контуры стен опять не принялись лениво и подробно очерчивать пространство, в котором ему, Жоржику, надлежало жить до старости. Он всё контролировал, он видел боковым зрением, как потихоньку на стене, которая была слева от него, вновь проявились гладкие пупырышки краски. И он решил убежать. Не в Латинскую Америку, конечно, не в Африку, а просто выбраться наружу. Ведь он ещё не старик – он сможет! Он затаится, выждет и улизнёт...

Он затаился на целые сутки, выждал, сбежал. А теперь лежит в большой пустой комнате, три стены в которой увешаны от пола до потолка багровыми коврами, а окно – тюлем и гранатовой занавеской. Фатима, стоя к нему спиной у окна, готовит на столе какой-то отвар. Её спина дергалась – она что-то там тёрла в дымящуюся кастрюлю.

«Бедненькая! Как же она всё одна. Всё время одна, – подумал тающий у себя под периной Жоржик. – И завтра будет одна... ждать... "Я вас ждал, и я ждала"... Искать! Кого мы с ней найдём?! Куда нам?». На Жоржика накатила жалость. От слабости он не мог пошевелить рукой и поэтому сразу же заморгал ресницами и стал сушить глаза, чтобы Фатима не заметила, что он плачет. А просушив, уверенно шмыгнул, чтобы прочистить набрякший слезами нос.

Фатима обернулась. Под распахнутым на груди домашним халатом на ней была только ночная рубашка, вид был самый неаккуратный. Она смущённо закрыла своё «декольте» рукой, а другую руку obtёрла сзади об халат.

– Проснулся?.. Есть будешь?

– Не хочу, Фати...

– Понюхай хоть, пахнет как!

Фатима поднесла кастрюлю поближе к его лицу и осторожно качнула в ней горячий бульон, в который только что настругала с десятков чесночных головок. Благоухающий жар тут же ударил Жоржику в самое основание ноздрей и аж в переносицу; он точно во второй раз очнулся.

– Давай покормлю. Сесть сможешь?

Жоржик попробовал, но не смог. Фатима поставила кастрюлю на стол, вернулась к нему и, обхватив двумя руками, несколькими рывками усадила его повыше. «Да как же у меня всё быстро-то?! Подмышки уже мокрые, грудь поднялась! Что я – больная, что ли, какая-то?»

– Знаешь, Фати, – заблеял вдруг обессиленный Жоржик. – Знаешь, что мне Сергей Александрович говорил?

– А?

– Даже неважно, что... Я другое хотел, – пока она присаживалась к нему с бульоном и ложкой, он подумал над формулировкой. – Знаешь, что ты ему очень нравишься?

На секунду она как вкопанная остановилась, но сразу же задвигалась дальше.

– Он тебе говорил?

– Нет. Не говорил. Но я точно знаю, что ты очень, очень ему нравишься. Я знаю, меня мама учила такие вещи отгадывать. Вот только бы у него повод был – он тогда тебе сам скажет. А то он строгий очень. И ты вроде должна сама догадаться. Он так думает.

– Чего?! – она невольно улыбнулась и запела внутри себя.

– Ты не ругайся... – Жоржик уже свёл глаза на ложку, которая плыла к нему в рот, но перед тем, как сдаться и принять пищу, ещё раз серьёзно взглянул Фатиме в глаза. – Вот увидишь, я прав.

– Ешь давай... Говоришь! – процесс пошёл, и теперь она ловко переправляла бульон по воздуху и зорко вглядывалась в движение его губ – не обжигается ли.

– Это тебе всё в твоей горячке приснилось!

Неожиданно из окна шибануло солнышко и так ослепительно засияло на бело-снежной перине, что Жоржик на мгновение ослеп, потерял из виду ложку и облился.

– Может, подуть? – на всякий случай спросила Фатима, когда он закашлялся. Он кивнул, что «не надо», разинул рот и тут же снова поперхнулся.

– Точно не надо?

– Нет, Фатима, – он отдышался. – Он любит тебя. Вот только он человек такой... Непростой...

– Да ну, ешь уже! – радостное и свободное пение внутри неё продолжалось, потому что Жорж попал на что-то давно готовое, и она в общем-то и без него, сама чувствовала со стороны шефа подчёркнутое уж слишком давление. Строгий повелительный тон, требующий от осаждённых только одного – ключей от крепости. Словно обиженный ребенок во главе игрушечных армий, он встал лагерем вокруг Фатимы и объявил: – Я буду морить и казнить тебя, пока ты, наконец, не расплачешься тут передо мной, чтобы я мог простить и обнять тебя.

Чудно, думала она, устроена жизнь. Как всё перевернулось. Это к ней, оказывается, взывают. От неё в испуге прячутся. Перед ней играют спектакли и от неё ждут пощады. Само это слово – «мужчина» впервые предстало перед ней не в образе неприступного Эльбруса и даже не в виде джигита в козьей бурке, а в виде толстого испуганного кролика, с залысинами на увядших ушках и с таким же увядшим листом одуванчика в зубах. «Кто пришёл в мою клетку?! Чего принёс? Кто такие?» Можно временами кормить их, а временами притворяться крольчихой и слушать, как они там пыхтят сзади.

Жорж тем временем снова захлебал. Потом снова остановился. Убрал глаза в окно, куда-то далеко-далеко, за горизонт, и сказал: – А я влюбился в девушку Женю. Из этих... Из манекенщиц.

– Там нет никакой Жени. Жанна есть.

– Значит, в Жанну.

Фатима отправила ему в рот последнюю ложку, вытерла Жоре подбородок, и прежде чем уйти, открыла на окне одну створку. Комната наполнилась шорохами и дрожанием воздуха. Да ещё бумерангом прилетал визг пилорамы.

– Еэээаааеэ – еээаааеэ...

Георгий думал о том, что «в принципе, он может бежать и дальше; только вот поболует немного, восстановит силы, посмотрит, что это хоть за село, и в путь...» Он дышал холодным весенним ветром, в минуту разлетевшимся по комнате, и старался по звуку отгадать, «какое расстояние... далеко ли... до пилорамы...» Когда Фатима через пять минут зашла закрыть окно – он уже спал.

А ночью Жорж, наоборот, долго лежал без сна. Вспоминал маму. Как-то общался с ней, с покойницей, объясняя ей в темноту потолка причины своего побега. Опять прикидывал дальнейший маршрут, думал о Павлике, а потом вспомнил о майоре. Он, в отличие от мамы и Павлика, был жив. Значит, где-то был, в каком-то конкретном месте. Как он там? Уехал или ещё плавает? А если уехал, то что там у него с женой? Только бы не убил. Ведь не убил? Не надо! Уж не зная, как можно на всё это повлиять, Жорж Санд послал майору через космос дружеское рукопожатие, от самого сердца вложив в него эту мольбу: «Не надо, пожалуйста! Не убивайте».

Девушки ранней московской весны были сплошь раздетыми и пружинили, чем-то напоминая движения кенгуру, прыгая через лужи на полусогнутых от напряжения ногах. Они шагали, как будто разгуливая на цыпочках, а на самом деле просто

с трудом удерживая равновесие на своих ультравысоких каблуках. Их круглые, обтянутые яркими мини-юбками попы были почти карикатурно отставлены назад, бюст торчал вперёд, как спортивный бампер, и если добавить к этому голую шею, румянец, поминутно стряхиваемые с лица нити распущенных волос, схваченную, будто клеём, улыбку и злой блеск острых глаз, то станет ясно, сколько сил уходило у них на то, чтобы взбодрить спящих на ходу мужиков в шапках. Стоило солнышку хоть на минуту ополоснуть улицу, как они тут же распахивали курточки и шубки и, демонстрируя тёмный загар в глубоком вырезе футболок, не без расчёта ускоряли шаг, увеличивая колыхание груди до максимума. Чтобы всё там прыгало.

Разжечь мужиков в шапках не удавалось. Правда, в городе было столько азербайджанцев, абхазцев, ливанцев и других готовых к сношению южан, что снег на газонах всё-таки начинал помаленьку таять. Освобождая для этих сношений иногда целые поляны, иногда прогалины, а иногда и вовсе небольшие, метр на метр, островки сухой прошлогодней травы. И так оно получалось, что, действительно, лучших мест для коротких смычек ни азербайджанцы, ни ливанцы предложить девушкам не могли.

Одинцов вместе с Фазилем ехал по городу на бронированном лимузине и через затемнённые стекла глазел на текущий по мостовым людской поток. Большинство граждан, включая сонных мужиков, встречали и провожали их воющую и рыкающую сиренами кавалькаду по меньшей мере продолжительным взглядом. Впереди мчался беленький гаишный «шевроле», затем, через паузу, летел их «600-й» и, наконец, замыкал ленту – безо всякой паузы, наоборот, словно приклеенный к «мерседесу», – огромный чёрный «Таное». Во всех витринах Давид видел отражение красных и синих мигалок и, несмотря на отменную изоляцию салона, иногда слышал ругань инспектора из головной машины.

«Правее! Правее, водитель! Освобождаем полосу! Что – глухой?! Уходим вправо, сказали... мать!»

Все девушки смотрели на них. Кому было не лень, те общучивали их чрезмерно брутальный выезд, кто-то успевал соорудить высокомерную гримаску, но непременно чтобы вы, здесь, в машине, могли её заметить. Мужики в шапках смотрели, наоборот, дружелюбно, с поддержкой. Словно прикидывая, как смотрелся бы кортеж, если на крышу джипа привинтить ещё крупнокалиберный пулемет или если вокруг запустить мотоциклистов с автоматами. А если бы сверху ещё вертолет летел, вот было бы дело.

Фазиль тоже поглядывал за окошко, но он сидел с левой стороны и мог видеть людей только на перекрёстках. А хозяин машины, министр, вообще в окно не смотрел. Он говорил по телефону со своим папой. Делово. Спрашивал подробности о здоровье. Что-то там у его папы было с почками. Потом они обсуждали эту тему с Фазилем. Фазиль сказал министру:

– Да пусть поболит. Лишь бы не скучал. Мой папа сам знал, когда ему заболит. Когда делать нечего было! А когда друзья приходили или новости начинались – он тут как тут, здоров. Умер здоровым совершенно. Раз – сердечко прихватило, и в минуту умер. А почки – это сейчас ерунда. Их и без меня в три дня можно вылечить. Вон, смотри, какая пошла!

Они как раз давали вираж на перекрёстке, и Фазиль заметил со своей стороны «нечто особенное». Министр не успел вовремя повернуть голову и безо всякой досады несколько секунд смотрел в окно на прочих граждан, а водитель словно что-то почувствовал – чуть сбавил ход. Потом, когда министр отвернулся от окна, Одинцов опять углядел, что чиновник всегда себе немножко подыгрывает. Когда говорил с папой, он играл «государственного деятеля». Телефон, видимо, не передавал всего, что сын хотел бы предъявить своему отцу, – ни роскоши автомобилей, ни реакции пешеходов, и поэтому он как-то ловко «обезразличивал» свой

голос и скромно «тишил» в трубку, как если бы звонок шёл с важного заседания. А в данный момент он, видимо, решил чуть прибавить к своему образу другую краску и с ходу выступил с пикантным рассказом.

– Меня как-то летом в Белоруссии хлебом-солью встречали. У них там жара стояла и девчушка, которая у трапа хлеб вручала, вся, видимо, взмокла: у нее раз – и рубашка к грудям прилипла – а там вот такие соски! – он показал пальцами диаметр, – я до этого думал, что такие только у африканок, которые ещё племена-ми, голые ходят. А тут девчушка, в венке. Хе!

Выражение глаз было сальным, но в самих глазах у него по-прежнему не было ни искринки огня, и у Давида возникло даже ощущение, что на самом деле женщины министру неприятны. Но чисто формально придрататься было не к чему – перед Одинцовым сидел и пускал слюни «самец».

– У туркменок, Фазиль, бывают такие? У узбечек?

Фазиль засмеялся неизвестно чему, а Давид подумал, что все они, современные большие чиновники, возможно, ледяные в смысле секса люди. Всё-таки весь этот шум вокруг, напряжение психики в гуще интриг, да при такой концентрации власти, на таких скоростях и при такой осторожности, наверняка временно делали их всех импотентами. От однокоренного английского слова. Чем важнее, тем ледянее. Возможно, потом, после падения с Олимпа, они оттаивают...

Фазиль тем временем вновь перескочил на больные почки и сейчас спрашивал министра о том, захочет ли его папа лечь в больницу. А Одинцов продолжал размышлять о политике. Почему она его так интересовала? Казалось бы – наплевать! Всё фальшиво до мозга костей, а он почему-то всё равно очень любил разглядывать в лицо «большое начальство». Как, впрочем, и священников.

Вот, например, сегодня, когда Фазиль сказал, что они из «термы» поедут вместе с министром, – как он внутри стал весь переливаться! И потом эта идеально отлаженная церемония «посадка – отъезд», после которой пришло ощущение причастности к управлению огромной державой. По крайней мере, к её безопасности. Фазиль-то уже ко всему этому привык, он и сам был окружён подобной магией, и вообще был весьма близко знаком с N., ещё со времен Советского Союза. Ему этот пафос шёл намного больше, чем собственно господину N., который, кстати, был, строго говоря, и не министром, а чиновником в ранге министра, к тому же не прямого подчинения премьеру, а, так как речь шла о Службе внешней разведки, непосредственно главнокомандующему. Поэтому Одинцов и усомнился в его рассказе о «гигантских сосках» – вряд ли, подумал он, главу СВР вообще выпускают за границу, и тем более вряд ли его там встречают «хлебом-солью» у трапа. Хотя, с другой стороны, – в Беларусь он слетать мог, и там это было как раз возможно...

Автомобиль плавно встал, и возникла удивительная тишина. Сирены замолкли ещё раньше, разговор между Фазилем и N. прервался, и сейчас N. в полной тишине перебирал какие-то бумажки. Выронил одну. Одинцов вновь залился изнутри краской и ощущением важности происходящего и только благодаря стальному взгляду Барабанщика не бросился тут же поднимать документ. Министр секунд двадцать шуршал листками, наконец, сам нагнулся, поднял бумажку и снизу вскинул на Одинцова глаза. «Хитрая лиса. Вот они – шпионы. Сплошные тесты у них».

Он не дыша смотрел, как тот распрямил и убирает совершенно чистый лист бумаги в папку, затем поворачивается к Фазилю, и они оба, зеркально вскинув брови, смеются. «Черти! Придумали проверку!» – ему, конечно, было обидно, что он сидит перед ними красный как рак, попавшись на какую-то их глупую разводку, которую они наверняка подготовили заранее, когда увидели, что он замечтался.

– Выходим, – сказал заметно повеселевший N. просто вслух, и массивные дверцы тут же открылись.

Перед ними было здание старого цирка на Цветном бульваре. «В цирк, что ли идём?» – подумал Одинцов и, стараясь хотя бы в глазах телохранителей выглядеть невозмутимым, стал подниматься вместе с ними по ступенькам ко входу.

31

«Кричит. Это хорошо. Это хорошо, что он кричит». Аня ничего не понимала. Не понимала, какое отношение его истерика имеет к ней и к Павлику, но упоминание Гогой-Фигусом несколькими днями раньше об узбекском наркобизнесе и узбекской госбезопасности рушило перед ее фантазией все границы. «Да мало ли, какие у человека могут быть стрессы на такой работе. Может, их самих там колют. Может, они там все под гипнозом... Пусть себе поорёт. Вон женщина вообще не реагирует на него, бедненькая. На диктофон записывает его, что ли?» Она ещё раньше заметила, что крик поднялся как-то внезапно. Фигус вроде бы занимался своими делами, а эта женщина-узбечка вошла, села в центре комнаты и достала плеер. Сначала промотала его, потом послушала какую-то музыку узбекскую или лезгинку, и тут он взвился прямо. И вот уже минут двадцать на них орёт. «Уставился...» Аня чувствовала, что Паше сейчас гораздо тяжелее, чем ей, потому что Фигус вперился именно в него. И его глаза даже выкатились оттого, что он двигался и кричал, не отрываясь ни на миг от Пашиных зрачков, как вилка от розетки. Но хоть и жутко выглядел и этот его взгляд, а побелевший лоб и слюни, вылетающие у него изо рта, напоминали Ане о бешенстве и эпилепсии, но он всё равно был для нее уже Гогой – человеком, не способным даже ударить по лицу другого человека.

– Вы не понимаете, вы думаете, что вы – исключение. Но вы не исключение. Никто не исключение. Никто! То, что вы называете «исключением из правил», это наоборот – исполнение всех правил! Даже тех, о которых вы и представления не имеете! А ты – просто лентяй! Ты можешь делать всё по-человечески, но не хочешь тратить силы... Пусть она выйдет.

Анечка, ни на секунду не усомнившись в его мирных намереньях, вышла. «Пусть выговорится...»

– Ты – идиот, ты тратишь время и не понимаешь, что нужно тратить силы, а не время! Тупица! Непрерывно, непрерывно тратить, до изнеможения... Я на тебя очень надеялся. Я с тобой... ты столько видел, и чем ты занялся? Решил устроить себе семейное счастье? Или что?.. Сейчас, мы «устроим» тебе, – он полез одной рукой в карман, но потом вытащил её оттуда, расстегнул верхнюю пуговицу и указательным пальцем отвёл узел галстука вниз по рубашке. – Нашёл себе подружку, да? Думаешь – возьмёмся за руки и зашагаем вместе, глядя друг на друга смеющимися глазами? Прележим всю атаку у неё между ног? Прележни захотел на себе выращивать?! Ты хоть знаешь сам, чего ты хочешь?

Перед разъярённым и бледным от гнева Фигусом Павлуша чувствовал себя, как в бане на верхней полке. Кровь у него прилила к самой макушке, а вокруг глаз и на лоб выкатили градины пота. Он хотел бы лучше встать и стоять, но по-прежнему сидел, стараясь даже не моргать.

– Я вот с ней прожил пятнадцать лет под одной крышей, уже скоро пятьдесят лет её знаю и видел её тогда, когда у неё было сил больше, чем у кобылицы. Это уму непостижимо, посмотри на неё! Видишь – матовые щёчки, губки-черешни, шею тонкую, словно горло кувшина? А живот какой красивый? Какая грудь маленькая? Какие ноги стройные?

Зухра сидела в центре комнаты подобно куску скалы неведомой горной породы. Отшлифованным куском метеорита. Чёрные зрачки её хоть и блестели, но ничего

не выражали. Невозможно было понять её отношение ко всему происходящему. Судя по тому, как в отвороте длинного тканого платка равномерно вздымались черепашьи морщины на её шее, – она просто спала.

– Хочешь увидеть, какой она была тридцать лет назад? Ну-ка давай – представь себе! Отними четверых рождённых ею детей, утяти четырежды раздутое пузо, ужми лоно, вытянутые сиськи обратно подними к рёбрам, а все эти оспины и копоть со лба счисти. Сточенные ногти её, выдубленную кожу и мосла её вяленые замени на свежее мясо. Напои ей губы сухие заново кровью и посмотри: а не красавица разве это перед тобою сидит?!

Павлуша не возражал.

– Она у моих родителей служанкой была. Всю жизнь убирала за ними, мыла их, стариков, шила им кафтаны, халаты. И детей этому же научила, внуков этому же научила. Потом схоронила моих стариков, нашла своих, беззубых, и тем ещё три года прислуживала. А потом, как и те померли, она своих дочек и внучек собрала, кафтаны им раздала и в разные стороны распустила. И последние пять лет сидит одна и мне даже написать не может, потому что рядом некому, а сама не умеет. А заеду я к ней, к ишачку моему, заночую на родных простынках, которые с нами с первого дня, поскрежешу песком на завтрак – и бегу прочь из пустыни. Так она со мной даже до поликлиники доехать не желает, думает, что я, такой крепкий да молодой, буду её стесняться. Вот, девочку ей оставили – вот для нее щедрость небесная. Это ж не её дочка, и не внучка. Чужой ребенок совсем. Как зовут её? Зоя?

– Зои, – подтвердила Зухра грубым низким голосом.

– Зоя. Но она, видишь, зовет ее Зои. Теперь слушай, – Фигус приблизил своё лицо к голове Зухры, и некоторое время они смотрели на помертвевшего от волнения Павлика вдвоём, как со старинного дагерротипа. – Зои теперь останется с тобой. Так как я на тебя очень зол – я видеть тебя не хочу. Будешь сидеть здесь, пока я не передумаю. Если же двинешься с места или оставишь ребёнка – я тебя убью.

С этими словами Фигус опять засунул руку в пиджак и вытащил оттуда стальной блестящий кольт. Поднёс его почти к своему носу и поискал глазами рычажок предохранителя. Разглядел, где он расположен, затем второй рукой, ногтем, прямо перед своими насупившимися бровями отодвинул рычажок в сторону, приставил дуло пистолета к голове Зухры и, наконец, расслабил своё покрытое веснушками лицо.

– Ясно тебе?

Кровь с шумом отлила у Павлуши от темени. Вниз к пяткам. Он отчётливо видел, что ствол колта, словно рыло с одной ноздрей, плотно прижал женщине край уха к волосам. И как ни старался, он не мог отвести взгляда от этого побелевшего края ушной раковины. Правда, Фигус вскоре подал дуло немного назад, и ухо Зухры освободилось.

– Ясно?

– Я из Москвы, – пролепетал Павлуша. – Меня там...

– Значит, не ясно... – голос Фигуса потерял оттенки, и он снова сильно прижал ствол к волосам узбечки. Повыше уха.

Павел смотрел в чёрные глаза женщины и видел, как вокруг них плавно и синхронно разглаживается её смуглая кожа. Всё разгладилось, все складочки и морщинки до одной, а потом вдруг опять двумя лучиками прыснули в уголки. Зухра ему улыбнулась. А у самого Павлуши сердце медленным и тяжёлым галопом долбило о стенки желудка.

– БА-БА-АХ!..

Женщину бросило вбок, и она гулко ударилась головой об пол.

Иголка соскочила с края пластинки и юзом проползла к центру. Зз-з-зип! – и приткнулась. Сколько-то раз тишину пересёк царапающий шорох, а затем воцарился треск разнокалиберной пыли. «...конец» – подумал Павлуша. Но ошибся, потому что начался блюз.

...Ключки, капли, кусочки... (Оу – е)... Размножжённые, размноженные и вкраплённые в обои частички человека... Серые утопанные доски пола всё быстро впитывали, но в щели, может, что-то там ещё протекло...

Тот качнул пистолетом в сторону – «выйди».

Павлуша вышел.

Пум-пубум... «Как ватой заложило уши». Пум-бум-бум-бум.

«В барабанных перепонках – войлочные прокладки». Сначала он думал, что это шаги Фикуса в комнате, за дверью. Потом сообразил, что нет, что это кровь возвращается от пяток в голову. «Говно! Говно-то я тогда не стёр», – вспомнил Павел. – «Может, пронесёт...» На дорожке перед входом в дом стояла Аня. Он сошёл с террасы и сел на единственную ступеньку. Над ними мерцал своей кашей из звёзд и созвездий громадный купол неба. Безумие и дикость окружили их. Куда бежать и кого звать на помощь, они не знали. Ни он, ни она не смогли бы даже указать сейчас пальцем, в какой стороне находится их далёкая Европа. Оба знали только, что они всё ещё на Земле, на её огромном боку, в каком-то другом месте. И несмотря на такое положение дел, они держались достаточно уверенно.

Сзади «бабахнул» второй выстрел – песня продолжалась. Аня думала, что это Фикус застрелился. А Павлуша подумал, что в машине спит Зои и что хотя крыша и все стёкла в «лендровере» были подняты, она может проснуться. «Ребёнок ведь – без папы, без мамы, сволочи! Не разбудите хотя бы, там уж ладно, что-нибудь наврём...»

«Ба-бах!» – третий раз.

Аня посмотрела на Павлушу. Он сказал: – Потерпи, – а сам подумал, «если он выстрелит ещё раз, я пойду и скажу ему, что тут спит ребёнок. Чтобы он прекратил. В конце концов, сколько же можно...» И почувствовал, наконец, прилив сил.

«Ба-бах!» – снова ухнул домик всеми своими стенками, и прежде чем Павлуша поднялся для разговора, открылась дверь и на террасу вышел Фикус...

32

– Это Леночка?

– Да.

– Это Фазиль говорит, здравствуйте.

– Здравствуйте.

– Леночка, а как бы мне с Давидом поговорить?

– Я не знаю... где он. Он... Дома его нет... Я уже десять дней его не видела.

Он не звонит. Вы тоже не знаете, где он?

– Э-э... Ну, он в саду вроде был, но затем я его из виду потерял.

– В саду?

– Мда-а... В саду, в саду. Сейчас, подождите... – в трубке было слышно, как Фазиль спрашивает у кого-то: «Не поедешь? Или съездишь?» – а тот ему в ответ что-то совсем неразборчиво бубнит. Потом опять говорит Фазиль: «Ну давай, пожалуйста, поезжай, посмотреть-то хочется. А?.. Съездишь?» – и ему в ответ опять «бу-бу-бу». – Леночка?!

– Да?

– Солнышко, подождите немного на квартире, сейчас мой друг за вами на машине подъедет и, если можно, привезёт Вас в гости. Мы с вами вместе его быстро разыщем. Как скажете? Подойдёт через полчаса?

– Конечно.

– Ну, всё, ну, пока, пока... – в трубке опять послышался обрывок разговора: «...возьми мою и нечего капризничать!» – «бу-бу-бу» – «Ну, тогда ложись поспи...», и трубку повесили.

«Вот тебе и раз». Лена тоже повесила трубку. И её отражение в зеркале тоже. В другой руке у отражения был конверт. «Вот – и два». Она отвела рукой волосы с глаз и с ушей на затылок и вместе с отражением повернула голову немного в профиль. Буратино. Такой её увидит Фазиль. Это же будет их первая встреча. Голос у него приятный, тембр хоть и женский, но уверенность в голосе абсолютно мужская. Чайник. Сейчас засвистит... «Иди уже, хватит любоваться». Она всё-таки включила свет и посмотрела, как блестят на свету её волосы. Если жирно – можно ещё успеть вымыть голову. Нет, матово. Можно и так. Свист!»

...если держать марку над паром, она склеивается мягко, но пальцы можно обжечь, когда без пинцета. «Чем я занимаюсь?! Зачем мне марка эта?! Боюсь, да? Да?»

Вместо ответа Лена глубже вжала себя в спинку дивана и стиснула губы. На столе дымил единственной трубой крейсер-чайник, а рядом с его железным боком приготовилась затонуть белая, налитая до бортиков красным чаем шлюпка. «Ну, Паша, давай – доводи до конца. Нечего жалеть – я готова».

«Мойзес!

Спешу тебе представить г-на Фикуса! Мы с ним сблизилась и сошлись, как говорится, на "короткой ноге", он и вправду оказался "россиянин". По культуре, по духу и языку. А по паспорту, не поверишь – узбек. Надлы-Кырдым Удиян Маппедович, или что-то в этом роде. Он и сам запомнить и выговорить эту белиберду не в состоянии и просит называть его Гогой. А Гога – ему удивительно имя подходит, он и ростом и усами похож на молоденького Кикабидзе. В общем – ситуация целиком и полностью разъяснилась и разрядилась. Анна Фёдоровна всё равно бурчит про "твой план", но главное, она его уже совсем не боится, потому что тот оказался хороший мужик. Мы проделали уже пятьсот километров вместе, и сегодня он от нас уезжает, как он говорит, на три дня, и это письмо я передаю тебе с ним. Его история такая: он действительно агент, но агент спецслужб. Занимается защитой свидетелей. И сейчас готовит переезд одной важной свидетельницы из Узбекистана. Чтобы до суда, или, наоборот, после суда, спрятать её от узбекской и таджикской наркомафии. Или даже переселить с ребёнком навсегда. И он подыскивал место для неё и ещё для других. А за нами он действительно немного следил. Потому что ему показалось странным, что мы с Аней, русские, безо всякой цели болтаемся тут по Антиплано. И он даже навёл справки через свой Узбекский КГБ, а те через наш КГБ – кто мы с ней такие. И вчера нам в этом признался и рассказал нам полностью наши биографии. Сейчас он едет в Чили, встречать эту свидетельницу с ребёнком, а потом, говорит, вернётся и ещё немного с нами по Аргентине покатается. Хочет доехать до Огненной Земли. Туда, говорит, оказывается, раньше в царской России ссылали русских анархистов – по-моему, интересный факт, а?! Весёлый вообще мужик. Всё хочет послушать, как я Эллингтона и Гершвина играю, он в моей анкете узнал, про «Джазовые вечера» и всё пытается найти в этой глуши хоть какое-нибудь фоно. А я последний рояль видел два месяца назад в Панама-сити, в холле пятизвёздочной гостиницы. И с тех пор играю только на досках. Тут климат не рояльный! Не идёт этому континенту рояль совсем. Он же переливистый, молоточковый, водно-капельный, одним словом, от него звук кругами плывёт, как по луже, или как ручей по камням течёт, переплёскивается, курлычет. А здесь всё либо огненное и жгучее, как гитара с трубой, либо воздушное, как все эти индейские свистульки. Ну, до Буэнос-Айреса доберёмся – там,

может, ещё аккордеон с контрабасом услышим. Гога говорит, что и рояль в Буэнос-Айресе точно найдёт для меня... Но Анна Фёдоровна считает, что лучше бы нам с ним больше не встречаться – её версия стара: он едет в Сантьяго, чтобы отправить тебе фотографии нашей измены. (Она когда говорит об этом, то краснеет, – наверное, представляет себе эти фотографии.) Мы теперь всё время спим вдвоем. Чем это кончится – представить себе не могу.

Что насчёт природы и видов, то боюсь, бумага моих восторгов не выдержит и порвётся под ручкой. Ну что сказать, Давид. Привезу я тебе Анины дневники – там маршруты все и названия точные, с транскрипцией и транслитерацией, все эти кечуа, мачу-пикчу и т. д. Фотографий уже больше тысячи, она вторую память уже почти заполнила. Вот сядем у нас на Гоголевском, посмотрим снимки, я тебе всё прокомментирую. Потому что в устной речи я ещё куда ни шло, а в письменах я, как слон в посудной лавке. Хотя!!! Я тут написал стихи – мне самому понравилось. Я их Ане посвятил. Помнишь, ты мне про своих женщин-селёдок рассказывал? Ну вот, я ей без подробностей эту твою теорию изложил, говорю, что вот, мол, Давиду нравятся – долголягие, с гибкими тонкими костями в просоленной плоти – они называются "селёдки". А у меня другой вкус – мне либо пресноводная "форель" нравится, как Леночка, либо аквариумная «гупи», как ты, Анечка. Она обиделась и говорит: а сам то ты кто, кашалот, что ли? По-моему – метко! И ночью, мы сидели у воды, ко мне вдруг вдохновение пришло. От лунного света, может, а может, от виски опять. Получилось вот что.

Гранитным лбом проткнув плаценту,
Разъяв на губы влагу вод,
Из глубины люминесцентной
На волю вышел Кашалот.
Над полукругом океана
Витал тропический Зефир,
И ночь бездонным котлованом
Укрыла в гроте чёрном мир.
И словно в ритме звёздной дрожи
Дрожал гиганта мокрый бок
И, отражаясь в гладкой коже,
Далёкий зеленел Восток.

Не знаю, на кого похоже, может, на Брюсова? Или на Маяковского? Аня смеётся и говорит, что такое стихотворение наизусть запомнить невозможно и что его надо предлагать артистам для упражнения речи. Кто «р», «ж» и «з» не выговаривает – тому в самый раз пригодится. Ладно, пускай. Но оно всё-таки выражает меня. Мои нетрезвые, но отчётливые переживания и страхи. И вообще, передаёт дух приключения. Если найдётся ему место в твоей книжке, назови его «Кашалот» – или «Рождество Кашалота». Пусть дети читают его Деду Морозу на новогодних утренниках...

Мы, кстати, с Аней всё пропустили – весь снег, всю зиму. Недавно вспоминали с ней горки пушистые, скрипучий снег под валенками, она тоже мороз любит, лыжи. А тут только недавно лето стало переваливаться за середину, и снег, хоть и виден, но лежит на недосягаемой высоте. Кстати, если бы не высокогорье, мы уже давно истлели бы от жары. А так вполне сносное получается путешествие. Особенно пока Гога нас через всю Боливию на машине вёз. Сейчас он уедет, и мы опять на автобусах начнём передвигаться. Поезда здесь не водятся. Пока. Целую. (Хотел зачеркнуть "Целую", потому что всегда пишу так Леночке, а тебе написал случайно, но потом решил оставить – ты всё-таки меня в такую невероятную жизнь погрузил.) Так что – ещё раз – целую!

Твой Паша, с аргентинской границы. 11\02\ 2004 г.

P.S. Про стихи в книжку – это, конечно, шутка. Чем мучить детей, я лучше завещаю высечь их у себя на могиле».

Лена успела ещё выпить чай. Вымыть чашку. Посидеть, а потом полежать на кровати Давида. Успела погрезить о его просоленных долголетиях женщинах. Выстраивая их фигуры перед собой, словно пазлы, успела почувствовать себя непригодной для таких глянцево-эротических игр. Неспособной к деторождению. К воспитанию маленьких копий Давида. Ненужной. Не обязательной. Ни для себя. Ни для кого. Никто не станет настаивать, чтобы она была. Продолжала быть. Он не станет. Она не станет. Не обязательно продолжать, но только вот никто не возьмёт на себя смелость закончить. Прекратить её биение.

Ведь для этого она должна быть у кого-нибудь во внимании, чтобы он услышал её просьбу. Остановить. Биение это тупое.

Потом позвонили и сказали, что она может спускаться. Она оделась, распихала по карманам Павлушины письма. Всё погасила. Заперла, с проворотом чужого ключа в чужой двери. Убрала ключ в сумочку. А внизу, в подъезде вдруг стала, как самка вокруг детёнышей, кружить вокруг почтовых ящиков, не в силах справиться с волнением и вспомнить, из какой квартиры она только что вышла. «Номер! Какой номер!? Какой номер? Какой номер?! Номер, номер...» Вне логики выбрала глазами один из ящиков в стеллаже и уже совсем по-звериному стала царапать ногтями его внутренности, вглядываясь в чёрную щель, чуть ли не внюхиваясь. «Ну же, чёрт! Откройся! Что там?!» Она не услышала даже, как у неё за спиной открылся лифт и оттуда вышла женщина, соседка Давида по этажу. А когда заметила и встретилась с ней глазами, то совсем обезумела. Взяла просто вложила в щель обе руки и рванула дверцу ящика на себя. Достала оттуда газеты, рекламки и, побросав под ноги изумленной тётки всё ненужное, с одним новеньким конвертом вышла на улицу. Прямо у подъезда стояла красивая чёрная урчащая машина. Ей махнул человек – «прошу», она нырнула внутрь, в нору, дверь за ней мягко закрылась, и они поехали. Тот, который усаживал её в машину, сел впереди, рядом с водителем, смотрел на дорогу перед собой и не мешал ей рвать бумагу. А у Лены из одного пальца, из под ногтя, шла кровь. И прежде чем она вытащила напечатанный на компьютере бланк, она измазала белоснежные стенки конверта коричневыми полосками. На бланке были цифры и английские буквы. Даты...

– Это, кстати, полезная вещь. Выписка. По карте. Дайте-ка взглянуть, – мужчина с переднего сиденья протянул руку, взял эти бланки и зажёг над своим креслом плафон. – Выписка по картам....

– Давида?

– Ну да, вот последняя дата – двадцать четвёртое марта. Вы его потом видели?

– Не помню. Сейчас... – Лена сосала солёную кровь из пальца с усилием, как будто это могло ей помочь прояснить память. – Не помню... А нет, помню. Двадцать первого я его в последний раз видела. Он пришёл...

– Да и неважно, теперь найдём, Фазиль Бахадырович найдёт. Раз номер карты есть, остальное – дело техники. У вас кровь?

– Ничего...

«Кровь!.. у меня сил нет, дяденька! Вообще нет, – хотела сказать она, – быстрее найдите его, и пусть мне уже объявят. Как приговор. Где один мой любимый и где второй...»

Она зарыдала и выпустила палец изо рта, и он сразу же окрасился алой гуашью, и если бы не тёплая рука с тряпкой или с платком, то она наверняка накапала бы на свой плащ бежевый и брюки. И пришло облегчение. Потом она поняла, что этот дяденька каким-то образом на ходу перелез со своего переднего сиденья и уселся рядом с ней. И крепко держит её за плечо, а другой рукой сжимает ей па-

лец. И рыдания её, наконец-то, раздробили, растопили булыжник у неё в животе и превратили его в некое подобие огненной лавы, которая потекла, наконец-то потекла вдоль узкого её хребта в голову, в глаза, из глаз, в пальцы...

– Ох, – наконец смогла произнести она, как бы извиняясь за бурные свои излияния, – о-ох...

Ей дали ещё один платок, и она высморкалась...

– Простите....

– Да чего же, вы на то и девушка, чтобы плакать.

Она вскинула на него глаза. У него были не только тёплые руки, но и взгляд тёплый, мягкий. И усы капитана Крокуса.

– Меня Григорий зовут, будем знакомы, – сказал дяденька, улыбаясь и поднимая стрелы своих усов вверх. – Ваш муж звал меня Гога.

33

Если для Одинцова время было, скажем, равниной, пространством, на котором ему было иногда даже неуютно от его безграничности, то для Элен оно было гробом. Стиснутая им с трёх сторон, пусть даже украшенная и прибранная, как на праздник, она чувствовала, что жизнь – только лишь короткий промежуток, перед тем как сверху на неё ляжет четвёртая доска и настанет «ничто». Встречу с этим «ничто» она представляла себе как недолгое тление огонька в банке, которую в один прекрасный момент берут и плотно закрывают крышкой. Без воздуха он прогорит, ну, ещё... минуту, может быть... а может быть, и меньше. Вот поэтому она и была, как сказал Давид, – безбашенная. Ей поэтому и полюбить нужно было так, чтобы потом тысячи тысяч лет лежать себе в чернозёме с миром. Тысячи тысяч лет. И даже гораздо дольше. Девочка-фефочка, всегда с маникюром, с причёской, стройненькая, тихая, матовая, послушная и скромная невеста Павлика, – она вдруг невидимо и неосязаемо для мамы Тани привязалась всем нутром своим к Одинцову, которого и видела-то всего один только раз. Стала вечерами разговаривать со своей иконкой и с крестиком и молить их, чтобы ей суждено было отныне жить вместе с ним, с Давидом. Согласно на любое послушание – на хождение в невестах, на опёку со стороны упрямой Т. В., уборку, перелистывание нот, глажку воротничков, любое враньё, молчание, кивание, смех, если понадобится... Только бы он приходил, оказывался где-нибудь рядом, слышал бы о ней. Только бы Т. В. и Павлик о нём рассказывали. «Вот же он, мой суженый! Я же сразу узнала! – повторяла она крестиком сказку на ночь. – Если сможешь, подари меня ему, если не сможешь – пусть будет рядом! Знаю, прошу не то, знаю, что глупая, но я же люблю его, Господи! Люблю! Люблю! Люблю!.. И ничего кроме любви к нему в меня сейчас всё равно не поместится. Только бы притянул Ты нас с ним, Господи. Прилепил бы Ты нас с ним, Господи, Владыка. И Ты, Матерь Божья, – переводила она глаза на маленькую нагрудную иконку, – заступись за меня! Выпроси его у Бога Твоего и приведи нас с ним к венцу, или что же мне делать-то?! На Вас только двоих надеюсь – приведите меня к нему во сне, пусть бы он заметил меня! Во сне же я красивее, чем так. Я его полюблю, и он снова придёт. Будем вместе с Вами жить, в Вашем доме. И пусть все ангелы приходят, пусть Николай-угодник приходит. Лучше него никого нет на всей земле. Во сне хотя бы, Господи! Наяву-то я вытерплю и что скажут – сделаю. Всё равно, что бы ни пришло. Только не испытывайте меня, я слабая. Если вы мне его видеть запретите, я умру. Жизнь – свечка для Тебя, Господи. Все дедушки мои под землёй воскресения ждут, и я подожду. Буду там сколько надо смиренно лежать! А не дождусь – значит так мне и надо, дуре. Всё равно... "В руки Твои, Господи..."» – шептала Элен в продолжение к своим мольбам выученную в детстве молитву и только во сне кулаки её наконец разжимались.

А он на неё всё не смотрел и не смотрел. И Павлик с Т. В. тогда стали той ничтожкой, через которую она его чувствовала. Павлик под диктовку Т. В. ещё дважды

делал ей предложение, но она тянула с ответом сколько могла. А потом поняла – что мечты её глупые. Не нужна она Одинцову как собаке пятая нога. И если хочется ей хоть какую-то с ним ощущать близость, то, может, вот эта квартира, фотографии его детские, родные ему люди – это самое лучшее из того, что Господь может для неё сделать... Глупо так. Живёт в его комнате, спит на его кровати, целует её. И она расписалась с Пашей. Всё равно – холод уже был такой, что хоть не живи. Только надежда глупая. И ещё страх перед этим «ничто», в которое ляжешь и станешь с другими костями ждать чего-то наобещанного... «Да не нужно мне ничего, Господи... и зачем я Вам там нужна, дура полная? Вот Ты мне, Господи, нужен. Так нужен! Ведь я больше уже ничего не понимаю, зачем живу? Но, может, у Тебя на меня сил нет? Сам, вон, на кресте. Я понимаю. Есть же совсем несчастные, совсем. Сколько, вон, детей брошенных, избитых, и война где-то идёт, я знаю, знаю. А у меня ведь и так всё близко. Вот книжка его. Почерк. «Мамуле!» А мне написал: «Милая, не грусти!» Вот мама его – кровь его», – она лежала на диванчике в комнате мамы Тани и разглядывала при свете бра картинки в книжке Одинцова. После того, как у Т. В. начались боли, Лена часто спала у неё в комнате. Всё равно ночью вставала два раза, делала уколы, и Павлуша даже не замечал, что она не возвращается в кровать. Павлик был идеальный супруг. Очень приятный и добрый человек, и в общении, и в быту. Ну, немножко, по части болезни мамы Тани, трус – видеть боль её не мог, уколы видеть не мог, вообще стал избегать её комнаты и, когда мог, репетировал не дома. Так что они теперь вообще редко виделись. А Давид, наоборот, стал чаще звонить, приезжать...

Однажды приехал утром голодный, она его покормила, он ей про барабаны стал рассказывать, про устройство человека, про Фазилу. Потом заговорил о маме.

– Она только теперь для меня нормальным человеком становится. А так я её и за человека не считал, столько она мне боли причинила в детстве. На меня в жизни с таким омерзением никто не смотрел, как она могла посмотреть. Недолго, конечно, на секунду взглянет, и всё! Но я не понимал. И сейчас ещё не до конца понимаю – как так? Ну, изгваздал я куртку новую на второй день, ну, ругнулся, ну, накатали на меня телегу в школе, ну и что? Чего её так выводило-то? Сейчас думаю, что тогда вообще что-то шло не по её плану. И она, как Павка Корчагин, была на пределе сил, чтобы всё-таки добиться от жизни своего. А я был для неё олицетворением беспорядка и прочих препятствий для этих её планов. Как, видимо, прежде мой отец. Для него-то музыка не цель была, а стихия, в которой он себя просто замечательно чувствовал. А цели, в маминим понимании, у него вообще в жизни не было. И ценности у них разные были. Для нее – вон, – Одинцов качнул рукой ткань скатерти. – Занавески неподходящего цвета или мусор на ковре уже были катастрофой, а он ей всю квартиру целиком оставил, со всеми коврами и занавесками, и, мне кажется, ни на секунду об этом не задумался.

Давид совсем отложил вилку и стал хлебом собирать вытекший на тарелку желток. Потом съел хлеб и снова взял вилку, потому что она поставила перед ним сырники и сметану.

– Но она вроде меняется, а? Сейчас смотрю, как она спит, лицо – как оладушек стало. Мягкое, гладенькое. Не соглашалась раньше с чужими правилами – вот и была как кремь, а сейчас согласилась. Заболеть согласилась, а может, уже и умереть, ну, в общем, согласилась с тем, что ей уготовано, – и вся жёсткость её на нет пошла. Может ещё милейшей тебе свекровью стать в старости, если дело так и дальше пойдёт.

– Да я рада, если бы свекровью... – неожиданно сказала Лена отчётливо, будто ждала этого момента давно и давно заготовила эту ёмкую формулу.

Они были вдвоём на кухне. Павлика не было дома, а Т. В. спала. Элен насыпала две ложки растворимого кофе в чашку.

– В смысле? – переспросил Одинцов, подняв на неё глаза.

– Что? – спросила она и налила в чашку кипятка. Смелая стала. Как во сне, когда она ему признавалась, целовала его.

Давид снова стал есть. «Ну вот, теперь знает», – с облегчением подумала она, поставила перед ним его кофе и пошла к себе в комнату. Зашла. Прикрыла за собой дверь. Достала из маечки крестик и нежно его поцеловала. Всё-таки ей разрешили. Смиловались и отверзли уста её. «Всё, – мягко выдохнула она ароматную любовь свою себе в ладони. – Всё, теперь можно и... можно и... не знаю, чего можно. Постой тут, дура, порадуйся хоть пять минут, святых поблагодари». Она потянула за другую верёвочку и прижала к сухим губам Богородицу. А дверь за её спиной вдруг дрогнула и стукнула её по затылку.

34

– Железно, – прошипел Сурен пацанам внизу и, прицелившись взглядом, спрыгнул в остатки сугроба.

Они быстро осмотрели всю конструкцию снизу и стали зачищать под щитом свои следы. Неожиданно из темноты на них выбежали огромные, как дровосеки, омовцы в чёрных масках и стали непривычно бесшумно валить огневых братьев в мокрую жижу. Когда паренёк, сидящий «на шухере» на крыше автобусной остановки, заметил что-то неладное, кричать уже было поздно. Всех уже скрутили. Он понимал, что сейчас кричать – это значит просто спалиться самому. И просто лёг на свою крышу и вжался в неё всем телом. Наконец снизу раздался первый громкий выкрик.

– Малина, сучок – предатель! Ох!.. Падлы, не бейте!

И вслед за этим загалдели менты.

– Лежать, сука! Тихо, на!

– Всё, командир, – всех повязали!

– Свет давай!

– Шестой, шестой, это третий, – свет давайте, у нас, вроде, всё!

– Лежать, на!

– Сколько их? Четыре?

– Пятеро. Ещё один пацан на крыше лежит, на шухере.

Малина, который лежал, сгорая от страха и позора в двух метрах над землёй, вдруг почувствовал крепкую руку на своей лодыжке. И он вдруг заорал совсем не то, что собирался орать: – Всем на месте оставаться, падлы, – у меня пульт! Счас всех подорву! Ногу! Ногу, падла, отпусти!

Снизу донеслось дружное ржание омовцев, но ногу ему отпустили. Он вскочил, в горячке вытащил из джинсов ключ с брелком в виде металлического черепа и поднял его над головой.

– У меня не брелок! Это пульт на брелке, падлы! Сурен, я здесь! Я сейчас их всех взорву, если что! Я никого не сдавал, пацаны! Я здесь!

В эту секунду его залил слепящий свет. Причём фонари так и остались обесточенными на всю ночь, а зажглись четыре ярчайших галогеновых лампы, которые на соседних с рекламным щитом столбах установили те же, кто готовил и всю засад.

Ребята, его огневые братья, лежали на асфальте лицами вниз и ошалело косили в его сторону. У Сурена глаз, которым он вращал, пытаясь разглядеть орущего в белом сиянии Малину, был залит кровью. И он, не видя куда, заорал в ответ:

– Брось его, придурок! Они тебя пристрелят!

Это было худшее, что он мог сделать. Его снова уткнули зубами в снег да ещё придавили сверху ботинком. И получилось так, что вместо того чтобы присмотреться к брелку получше, милиционеры все пригнулись и стали разглядывать реклам-

ный щит. Чуть ниже измазанного говном открытого рта красоти блестела натянутая проволока; её, как плющ, обвивали голубенькие проводки, которые ниже сплетались и уходили в коробочку. Муляжи двух гранат тоже никто разглядывать не стал.

– Там растяжка, мужики!

– Тихо, бля! Отошли быстро! Пацана успокойте, на, кто-нибудь...

– Задержанных тащите оттуда. Да не поднимай ты их – так волоки!

– Кто в жилете? Есть кто-то в жилете? Синай, ты в «бронике»?

– А на х... он мне, товарищ капитан? Мы же бегать думали!

– Все ушли оттуда! – закончил командовать капитан и, отойдя от остановки на середину дороги, стал оттуда разглядывать трясущегося, как в ознобе, паренька.

На вид Малина был совсем мелким – не дашь и пятнадцати. Но запугивать его дальше не было смысла. Голодное, скуластое его личико и совершенно дикое от страха глаза указывали на то, что пацан может пойти на любую глупость. «Сам себя поранит, придурок, – соображал капитан, прикидывая траекторию, – осколки как раз на его высоте лететь будут».

– Ладно! Давай условия тогда! – крикнул он «террористу». – Хочешь, чтобы мы твоих ребят отпустили, да?

– Да-а! – орал Малина, кажется, на весь район.

– Ладно. Не ссы, одного можем отпустить! Какого хочешь?

– Все-е-х!

– Двух можем. Больше никак. Нас самих тогда вы...бут, понимаешь? Только двух. Говори, кого?

– Сурена! Старика! И Серого! Троиш! Падлы!

– Ладно, мать твою, по рукам. А ты мне что за это?

– Тогда не вззо-оррвуу-у!

– Да не ори ты, мать твою, так! Люди же спят вокруг. Вы же сами облажались, а теперь орёте! Чё, в казаки-разбойники не играл?

– Старика-а! Пе-еррвого!

– Синай, спроси там, кто Старик, и давай его ко мне.

Через полминуты Синай, коренастый бугай, сняв маску со взмокшей головы, под ручку вывел из темноты дедушку в пальто. С живота и с лица старичка стекали остатки слякоти, а шапка, надетая на него кем-то из омонцовцев в последний момент не очень ровно, опять могла вот-вот упасть. Капитан первым делом поправил шапку на его седой голове и вытер перчаткой серые капли грязи с его аккуратной бороды. Потом повернулся к остановке.

– Это что, дед твой, что ли? А-а?

– Неет! Это Стари-и-ик! Пусть он первый бежит! Дава-ай!

– Ну давай, дед! – обернулся к старику капитан, – партизань отсюда. Если ещё раз поймаю, убью! – Дед было засеменил, но перейдя обратно границу света и темноты, остановился. – Давай-давай – вали, отец! Видишь, пареньку плохо! – начал было подгонять его в спину капитан, но потом увидел, что дед оседает, и рванул к нему сам. – Тьфу-ты, ну-ты! Синай, чего с ним?!

– Суре-ена теперь! – орал с крыши ничего не заметивший Малина.

– Деду п...дец, похоже. Сердце, блин, наверное, товарищ капитан! Сипит, блин...

Синай опустил на одно колено и с удивлением разглядывал лицо старика.

– Суре-ена!

– Доигрался, блин, дед, а? – зарычал капитан, разрывая своими лапами воротник и освобождая горло старичка от совсем уже неуместного в этот момент галстука.

– Это муляшшь... – выдохнул дедушка посиневшими губами и так жалобно посмотрел капитану в глаза, что у того комок встал в горле. – Сынок, это муля...

– Суррена, падлы-ы!

– Ах ты блядь такая! Дедуля, ну, не надо помирать-то! Сучара! – пробормотал в отчаянии капитан и впервые в своей жизни решился припасть к чужому ослабленному и колючему от щетины рту своими губами. Но уже через секунду понял, что в этом что-то не то, и глупо, видимо... А потом его стал тормошить за плечо Синай.

– Да не надо, товарищ капитан, ему искусственное дыхание не поможет, сердце у него! Тут прямой массаж нужен!

– Умеешь?

– Нет.

– Ну и заткнись тогда!

Он взялся было нащупывать середину грудной клетки у старика, потом несколько секунд пытался сообразить, где там, с какой стороны сердце. Потом один раз навалился, сложив руки, как учили, помпой – в груди дедушки что-то хрустнуло, глаза и рот открылись ещё шире, и между губами вылез сведённый судорогой язык. Капитан отвалился назад и сел задницей на асфальт.

– Ладно! Хорош... – сказал он, освобождая теперь своё горло от шарфа и верхних пуговиц. – Давай всех ко мне в автобус.

– А пацан-то не грохнет всё?

– А ты глухой, блядь, или нет? Слышал – чего дед-то сипел?

– Бульон, вроде, хотел?

– Сам ты блядь, бульон! Муляж, он сказал! Иди к остальным и давай их ко мне в автобус.

– Понял.

– Счас взорву, гады! Сурена давай! – Малина увидел, что к нему приближается какой-то взлохмаченный военный, и, набрав воздуха побольше, взрезал своими связками висящий над городом смог. – Стоять на месте! Стоять! Или взрываю, падлы, – до трёх считайте! Раа-аз!..

– Слышь, слезай! – донёсся до него мягкий голос капитана.

– Дваа-а!

– Слезай, придурок, дед твой помер сейчас!

– Что-о?

– Не ори, говорю, слезай! Дед помер и завещал, чтобы ты больше никого своими визгами не мучил.

Про деда Малина так и не понял ничего, но чётко сообразил, что его раскусили, наугад прыгнул с крыши вниз, перекатился и тиканул по пригорку к домам. Разумеется, на секунду у капитана напряглись мышцы ног, так что он даже присел, но рефлексу он не поддался. «Пускай за ним участковые теперь бегают, мне-то чего...» – он развернулся и пошёл к своему «мобильному штабу». По дороге он достал рацию и отдал распоряжение «шестому» вызвать скорую и наряд милиции, и чтобы «первый» и «третий» подежурили рядом с трупом, а то его машина ещё переедет...

35

– Дай-ка сюда руку, – Фазиль где-то с минуту слушал его пульс, а потом велел Давиду сесть на дно ванны, так, чтобы над водой оставалась только его голова.

Скинув с себя рубашку и отбросив её на лавку, Фазиль подошёл к стене, выдернул из чехла две палки с мохнатыми набалдашниками и отделил от ряда верёвок два тонких шнура. Дёрнул посильнее, пустив волну-змейку к самому потолку, затем качнул их ещё раз, и там, наверху, блок, через который был пропущен этот шнур, прокатившись по штанге, отодвинулся от стены метра на два.

Прижав палки под мышкой к телу, Фазиль присел на корточки и завязал один конец шнура на ремне, который крестообразно охватывал набитый песком кожа-

ный мяч. Как и остальные кожаные шары в зале, этот мяч играл роль гири и боксёрской груши одновременно. Потом он потянул за другой конец верёвки, и Одинцов увидел, как она вытянулась через блок в единую жилу, и гирия-шар приподнялся и завис в нескольких сантиметрах над полом. Фазиль привязал и второй конец шнура к ремню и, оставив гирию на весу, поднялся. Словно футболист вводя мяч в игру пасом, он мягко толкнул кожаную грушу к центру зала, и спустя секунду Давид скорее почувствовал, нежели услышал, как она – бумм! – ткнулась где-то там в глубине в чугунный бок его ванны...

А Фазиль, дождавшись, пока груша маятником отплыла назад, почти к самой стенке, на обратном пути пнул её чуть энергичнее, будто пихая в овчарню опоздавшего барана.

– БУММ...

Вода сотряслась низким беззвучным громом. Давид ощутил, как его зад плавно отделился от тверди, взмыл на полдюйма, а затем так же плавно опустился на дно. Как телёнок в мамино брюхо, его копчик уткнулся в ванну, и по всему телу пробежала дрожь. Отражение отражения – подводное эхо от удара кожаной груши.

– БУММм...

Одинцов вновь, как космонавт, всплыл в невесомость, снова приземлился на копчик и опять услышал, что все его кости гудят одним тембром с чугунными бортами ванны.

– БУММмм...

«Не успеешь присесть!» – подумал он, снова взлетая вверх, закрыл глаза и приготовился насладиться новым приземлением на копчик...

«А-АХ! Аа-ахх...Мама дорогая...» – Фазиль что-то изменил, ускорил столкновение с грушей, так что оно точно совпало с приземлением на дно, и Одинцов, попав в резонанс, взлетел и всё еще продолжал возноситься к куполу своей озарившейся ало-розовым светом головы. – «Не готов! Не готов! К чему я не готов?!...»

– БУММмм... – опять удвоенная или утроенная резонансом волна протрясла неразличимым для уха звуком всю толщу воды, и вместе с ней взбурлилось и смешалось всё содержимое Одинцова, все составы и жидкости, заключённые в форму его человеческого тела. И опять алый, заливающий глаза изнутри свет. И Давид услышал вдруг скуление всей своей плоти, всех костей, мышц и связок, и каждой, казалось, клеточки и частички себя – голодно и жадно ожидающих следующего удара. И только он ощутил, как всё это размягчилось в нём, как примирилось всё меж собой, чтобы принять следующую волну света ещё более глубоко и полно, как вдруг заструилась откуда-то снизу и слева, высверливая воду вокруг него, непрерывно-длинная барабанная дробь.

– Уррли-уррррли-уррррррли-урли-вурррр! Вурррр! Вурр!Вуррррли-вуррррли-вуррррли...

Все возможные вариации рычания, урчания и бурчания переливались в животе Одинцова, словно уходя воронкой прямо к нему в пупок и затем путешествуя там бесконечными коридорами кишок. «Вурр! Вуррррррр!» – ускорялась иногда дробь, а иногда вдруг раскатывалась на отдельные пружинистые «пра-кта-кта-кта-ктон-кта-ктон-кта-ктон-ктонг-тонг-онг-онг-нг-нг...» и замирала где-то вокруг, едва угадываясь в неярких всплесках «инг-инг-бринг-нг-нг-ннн...»

А потом началось самое интересное. Давид по-прежнему сидел в ванне с закрытыми глазами, качался вместе с колыханием тёплой воды, когда послышался запах разогретого кунжутного масла и вытасченного из печи хлеба. И так как убаюканный Давид открывать глаза поленился, то он стал рисовать всё дальнейшее с помощью воображения. Его коснулись руки. Вряд ли сам Фазиль, там было достаточно помощников, да и девушки-узбечки всё время были рядом. Сладкий запах хлеба приблизился, и чьи-то тонкие пальцы начали смазывать ему переносицу

маслом, втирать масло вдоль носа, вдоль бровей, потом виски, потом раковины ушей... «Это девушка! Кто-то из узбечек! – Давид представил себе, как она перегнулась через край ванны, чтобы дотянуться до его головы. – Они малогрудые, ей нетрудно...»

Пальчики стали прокручиваться в его ушных проходах влево и вправо, разминая их изнутри, а потом – опп! – и уши одновременно запечатались. То ли маслом, то ли... Да, наверное, маслом. Теперь звук, проникающий через барабанные перепонки, сравнялся по яркости со звуками, идущими просто через кожу, и получилось, что Одинцов вроде как превратился в одно большое, да к тому же еще, как для компресса, обложенное ватой, ухо. Сквозь эту вату он смутно различил, что по всему овалу ванны потекли струи воды. Множество струй.

«Доливают, что ли? – подумал он. И услышал другое, объёмное колыхание всей водной толщи. – А это что?» Потом две руки, которые теперь стали двигаться более властно, потянули его за голову вверх. Затем назад, ближе к бортику. «Теперь наклонись», – потребовали ладони. Давид наклонился. И ему на затылок легли огромные скользкие губы. «Что же это такое там?!» Обхватили.

«Противогаз?.. Шапочка?.. Зачем они мне шапочку...» Снизу другая «губа» сильно обхватила подбородок, и челюсти сжались меж собой по всей подкове прикуса. «Шлем надевают, – он услышал звук воздуха их своих ноздрей и понял, что его голову засунули в маску, вроде маски аквалангиста. Только, в отличие от простой резиновой, эта нигде не резала кожу, не тянула волосы и вообще облегла контуры лица довольно мягко. Только вот челюсть прихвачена к ушам слишком плотно, а в остальном полная свобода. – Наверное, можно и глаза раскрыть...» Давид с огромным трудом разлепил умасленные ресницы.

Перед ним была полупрозрачная, как рыбий пузырь, плёнка, за которой, увы, ничего разглядеть было нельзя именно в силу её полупрозрачности. Давид скосил глаза вдоль носа и увидел, что плёнка там, под носом и перед его ртом, сужается и вытягивается в хобот. Он также увидел, как этот хобот уходит вниз и, резко меняя цвет, вступает в воду. «Не водой же я буду дышать!? – заволновался совсем беспомощный в эту секунду Одинцов и вдруг увидел, как тёмная граница воды в хоботе стремительно поползла к нему вверх. – Вот! Уже погружение...» Синеватая граница влаги, как туча в солнечный день, быстро окружила тенью его глаза, свет исчез где-то наверху, и сразу же за этим он услышал уже немного подзабытый гул от удара кожаной гири.

– БОМмм! – МБОУМмммм! – МБОУМмммм!

По мере того, как он опускался в воду, звук тоже менялся. Макушке стало тепло, и он ощутил лёгкое дополнительное давление на виски и на брови. «Это вода! Давит на маску... Она, наверное, из...»

– МБАУММмм!

«...полиэтилена или...»

– МБАУММаммум!

«...из мягкого пластика...»

– МБАУММаммуммммммм....

«...из этого, из силикона, да...»

Он чувствовал, что колыхание воды его немного разворачивает и что он автоматически этому сопротивляется. Потом понял, что это глупо – ведь если на него надели маску, то держать голову прямо уже необязательно. Он сможет дышать и на боку, и вниз головой. «Вряд ли я утону в ванне», – резонно заметил он про себя, улыбнулся этому достаточно серьёзному умозаключению и стал заваливаться вбок.

– МБАУММаммуммммммм... Мтуги-туги-туги-туг... – добавилось новое постукивание по стенкам. – Туги-туги-туги-туг - туги-туг - туги-туг!

– МБАУММмммм-туги-туги-туг....

Чугунные стенки ванны в его представлении должны были быть тёмными, но сейчас, развернувшись, он видел сквозь мутное бельмо своего скафандра только

зелёную воду. Он протянул руку вперед, ожидая соприкосновения с чугуном, но рука так ни до чего и не дотянулась.

– МБАУМммм-туги-туги-туги-туг...

Шланг, который тянулся хоботом от маски, теперь прижался к подмышке Одинцова и, крепко обнимая ему рёбра, натянулся. «Вправо – стоп!» Тогда Давид начал кружение в обратную сторону. Удивительно, но свет был равномерно зелёным вокруг него, хотя, казалось бы, вверху должно было быть светлее... И притяжение он почти перестал ощущать, видимо, потому, что кружился. «Там, может быть? – Одинцов попробовал угадать в изумрудном сумраке ближайшую стенку. И сам же откликнулся, чтобы не оставлять без ответа и без того ошалевший мозг. – Там, там...» И словно в насмешку, в невидимый борт дважды ударили.

– Там! Там! туги-туги-туги-туг... Там-там- туги-туги-туги-туг... Мбоммммм-туги-туги! Там-там-туги-туги...Мбоммм-туги-туги...Там-Там-туги-туги...

«Да сколько же у него рук?! – удивлялся Давид и, к своему полному изумлению, различил ко всему прочему ещё и знакомое сверление барабанной дроби. Здесь, в глубине, она скорее воспринималась как щекотка вокруг пупка, но если выделить её ритм из других и следить за ним, то дробь начинала бегать по всему телу, по мышцам и внутри головы, оставляя за собой длинный светящийся след в виде пузырчатого лабиринта. Отрезки этого лабиринта то растягивались, то сжимались, и Давиду стало казаться, что их длина соответствует длине костей, вдоль которых дробь бороздит его тело. Когда она пробежала вдоль руки или вдоль ноги – то плоть мышц, как земля под бороной, мягко отделялась от скелета и, взрыхлённая, освобождённая от гнёта плёнок и сухожилий, излучая пар, оставалась лежать отдельно.

Так он сделал круг. Теперь шланг натянулся и прижался к его рёбрам с другой стороны. Он снова вытянул руку в зелёную воду, ища края ванны, и, совершенно поражённый, увидел мутный контур своей ладони прямо перед пузырем маски. «Точно лапа чья-то... – он убрал правую руку за границу обзора, а потом захотел ещё раз полюбоваться своей как бы чужой рукой, повёл к лицу другую ладонь, только промахнулся и неожиданно ткнул себя пальцами в бок. – Ну вот, поздравляю! Это уже вообще полная потеря ориентации!» Давид подумал, что это размягчённые мышцы почему-то разучились выполнять команды, но потом понял, что нет – мышцы не ошиблись: он поднимал левую руку, обходя круговым движением шланг. Вот она, его рука, – тёмная культия, как осьминог, как морская звезда легла на плёнку скафандра. «Но тогда во что же я ткнул?!.. Такое мягкое?!» – животный страх на мгновение ослепил его, но родное мерное «боммм» вновь размягло ему живот, и он сделал несколько спокойных вдохов и выдохов.

– Боммм...

«Это стенка, что ли, была?..»

– Боммм...

«...Такая же, как и мой шлем, гибкая... Но когда они её... Где я, блин?!..»

Если бы Одинцов мог видеть себя со стороны, то он бы увидел, что давно уже не лежит в ванне, а взлетел над нею на полметра и висит в воздухе. Точнее сказать, «висит в воде», подобно аквариумной рыбке в презервативе, в огромном мешке, спаянном из трёх десятков облитых каучуком воловьих шкур. Снаружи шкуры облегла тончайшая титислойная капроновая сеть, затем шла корзина, сплетённая из широких эластичных бинтов, а поверх ещё одна двойная сетка поглубже, вроде кольчуги из тонкой лески. С помощью каких-то крючочков к этой кольчуге цеплялись круглые пластины из разных материалов – резина, твёрдый пластик, медь – вот в них-то Фазиль и барабанил. Потом – раз! – отлепит, как липучку, перевесит блин на другое место мешка и опять стучит. Это то, что называлось практическим Зодиаком. Вся эта конструкция, способная выдержать давление и вес тонны воды, была ухвачена сверху двадцатисантиметровой полоской грубой кожи, в которую, как кнопки, была впечатана тысяча стальных петель. В каждой

петле весьма крепкий шёлковый шнурок, который вместе с другими такими же шнурами уходил вверх к огромному обручу, придающему мешку правильную форму. От нижнего обруча шнуры, уже сплетённые пучками, тянулись к точно такому же верхнему, к которому крепились с помощью карабинов. А затем через девять блоков верхний обруч поднимался к штангам и к балкам на потолке настоящими металлическими тросами.

Когда Давиду стали втирать в переносицу масло и он закрыл глаза, нижний обруч, который до этого лежал по внешнему периметру ванны, подняли от мраморного пола, а верхний опустили с потолка. Затем девушки соединили их карабинами, и мешок стали медленно и плавно вынимать из его чугунного ложа. Тут-то Давид и слышал звук струящейся воды и чувствовал необычное колыхание – может быть, вода в какой-то момент переливалась через края, а может, чтобы было легче отлепить мешок от бортов, в ванну добавляли воду – но ему было слышно, как она ручьями стекает с уходящего вверх мешка.

Позже, когда Давид наблюдал, как Фазиль работает с другими посетителями Зелёного зала, он утолил свое любопытство. Но тогда, в первый раз, – он был совершенно ошеломлён этими непрерывными волшебными превращениями пространства вокруг себя.

36

В цирке уже шло представление. Дневное. Но амфитеатр заполняли не только дети – было полно и взрослых. «Вот удовольствие!» – поражался Одинцов, глядя на дородных мадам с брошьями в стиле звезды генералиссимуса, на их лысых мужей, на молодых мужчин и женщин, которые пришли без детей. На бабулек. «Ну, эти-то, наверно, с внуками – в качестве сопровождения, с классом. На свободные места просто сели...»

Первые четверть часа он сидел, как мышонок в планетарии, зачарованно глядя по сторонам. На ложи, облепленные прожекторами. На бегающие по рядам гигантские зелёные, фиолетовые и ослепительно голубые овалы лучей. Выше, на вспыхивающие под самым куполом металлические качели, мостки с перилами, стальные нити страховок. И вниз, на алый бархатный пятак арены, чётко, до рези в глазах отгороженный светом от зрителей. Кто и чего делал там внизу – ему даже было и неважно.

–Трамц! – упал!

–Трамц! – снова упал. Смеются. Значит, клоун.

Ачч! – щёлкает кнут. – Ачч! Ачч! – и перья закружились, розовые, на белых лосадах. А на них сверху собачки сидят? Нет? А кто? – Мартышки? Мартышки в юбочках? – Ачч! Ачч!..

И оркестр необычайно громко, во все трубы, фонтанирует фокстрот за фокстротом... «Ну и нафталин! – восхищённо, наконец, начал озираться по залу Одинцов, ища глазами ложу, в которую его не пустили. – Если они здесь свои конспиративные совещания проводят, то это, пожалуй, – высший класс. Подслушать уж точно невозможно: я, вон, про себя говорю – и то ору! Такой грохот!.. Но чего ради меня было тащить сюда, если не пускаете?!.. Может, Фазиль меня порадовать хочет? Роды вторые мне устроил, теперь хочет, чтобы я детские ощущения вспомнил... Боже! Да как же они гремят, сумасшедшие! Прямо по ушам!.. кто же им такую громкость выставляет, какой садист?»

Объявили антракт. Оттого, что зажгли свет, зал сразу потемнел. В сумраке к нему подбежала женщина-администратор и сквозь гул ожившего амфитеатра прокричала (видимо, тоже оглохла), что «его просили не уходить; что вот, выписана контрамарка в первый ярус, хорошие места, в первом ряду, напротив главного выхода; просят не уходить, а если ему надо, сейчас, – то тут есть специальный

буфет и туалет без очереди; коньяк хороший армянский, виски, водка, бутерброды с рыбкой. Осетрина, икорка; можно сейчас туда...» Весь её монолог был похож на фронтное донесение сразу после артобстрела. Если бы в потемневшем зале ещё пахло гарью, стоял бы чад от сражения и вокруг огромной воронки сцены валялись бы растерзанные взрывом тела – картина была бы вполне законченной. Он стал кричать ей в ответ, что «спасибо, ничего не надо, он сразу пойдёт на место».

Пока Давид пробирался узкими лесенками вниз, навстречу бегущим и толкающимся вереницам отличниц, ябед, озорников и просто отставших от своего класса учеников – через один класс, через второй, третий – он не заметил среди детворы хоть кого-то, кто разделил бы с ним его недоумение и испуг. Ни грустных заплаканных глаз, ни одного измученного грохотом личика. Все возбуждённо-радостные. Дерутся. Жуют конфеты. «Поросята!» – он терпеливо поморщился, когда они в шестой раз протопали по его ноге, и через опустевший ярус подошёл к бортику арены. Внизу замечательно шибало в нос конским навозом и вообще воняло животными. «Да... За одно за это с городских деньги брать должны...» Он ещё раз сделал панорамный осмотр дымного театра снизу и вдруг в оркестровой ложе заметил Фазилья. Тот его тоже заметил и помахал, показывая на часы и на сцену, что, мол, «надо подождать до конца представления, и он его заберёт отсюда». Давид кивнул и стал дальше скользить по ложам, пока не признал, наконец, ту, в которую прошёл министр. Она была самая тёмная и маленькая. «И звук в ней, возможно, не такой громкий. Наверное, вся в бархате, как футляр, высунешься – слышно, отойдёшь вглубь – тишина и покой. Чего им тут... – тут он увидел одного из телохранителей, который спускался к нему по ковровым ступенькам. – Ага, смилостивились? Сейчас или позовут в ВИП-ресторан, осетрину есть, или облагодетельствуют и пригласят уже в ложу».

Но парень прошёл во второй ряд и сел в кресло, предварительно сверив номер на спинке с номером в своей контрамарке. «А, тоже вытюрели?.. Ладно...» Он этого парня уже не раз видел: как и многие другие ребята из известного ведомства, этот тоже бывал у Фазилья в Терме не только в сопровождении господина N., но и как подопытный кролик в институте Гриши Голошпака. И даже на каких-то сольных сеансах у самого Фазилья бывал. «Может, Фазиль с Гришей этим «киборгам» там стресс снимают. Или, может, кодируют их, чтобы они были гарантированно преданы "объекту". А может, готовят к другим заданиям? Чёрт их знает...» Какую-то информацию Фазиль от него не скрывал, но, скажем так, знакомил Давида с возможностями института только в общих чертах. А во что конкретно они с Гришей «вбарабанивают» каждого посетителя, Одинцов, конечно, не знал.

Место его почётной ссылки оказалось ровно под креслом телохранителя. На один ряд ниже. И во время номеров он слышал, как тот по-подростковому коротко ржёт над чудесами «иллюзии», над клоунами, над потешными обезьянками и акробатами.

А потом выяснилось, что будет ещё и третье отделение. Парень было вскочил, как только зажёгся свет, чтобы бежать к «объекту», но ему, видимо, передали в ухо «отбой». Прижимая рукав к губам, он попросил повторить команду, затем прижал «ухо» пальцами, и ему ещё раз точно подтвердили, что «да, он может сидеть на месте». Он сел. Потом администратор принесла им обоим по мороженому.

– Просили передать.

Одинцов хотел шоколадное и был уверен, что коричневый шарик предназначался именно ему – Фазиль знал его вкус, но тётка, видимо, всё перепутала, а с телохранителем он это обсуждать не очень хотел. Он стал обиженно облизывать и хрустеть стаканчиком с белым пломбиром. И как раз когда униформисты закончили выставлять над ареной сетку-батут, тётка с извинениями принесла ему ещё и шоколадный шарик. Пришлось съесть и его.

Неимоверно долгий антракт в итоге закончился для него третьим свиданием с тёткой. Она припёрлась с программками и на прощание вновь предложила им воспользоваться ВИП-туалетом без очереди. Выносливый, как верблюд, парень из охраны равнодушно мотнул головой и отказался, а Одинцов понял, что ему и впрямь неплохо бы туда заглянуть. «Там, наверное, президенты разные писают, когда приезжают. Посмотрим...» Она провела его опять на этаж к ломам, телохранители министра его кивком пропустили, и прямо рядом с секретной ложей оказалась малюсенькая дверь. «Гельмут Коль бы и не влез в такую... Кто там у нас ещё крупные-то?..» – думал он, журча в элитный унитаз. И вышел из гальяна, так и продолжая мерить всех известных ему политиков по росту и ширине жопы.

В чёрном зале уже мерцали фонарики администраторов, которые рассаживали таких же, как он, опоздавших к началу третьего отделения зрителей. А ему и искать не пришлось – первый ряд, место с самого края, и ещё выделяющийся из всего зала монументальный силуэт охранника в костюме, который своими плечами серьёзно перекрывал обзор двум следующим рядам.

Уже звучала, извиваясь дудками, таинственная восточная музыка, опять кружились во тьме синие и рубиновые овалы густо зафильтрованных световых пушек, а потом из темноты раздался голос сказочного джинна. Начался цирковой аттракцион под названием «Волшебная лампа Аладина» – представление группы воздушных гимнастов, одетых в широченные шёлковые шаровары, в золотые жилетки и турбаны.

Гвоздём всего номера были, конечно, эти шаровары – они, как флаги, трепетали на ветру, меняли цвет, отливая то зелёным, то синим, то искрясь серебром, а в моменты тишины было слышно, как они – фрр-р-р... бьют своими крыльями за ногами гимнастов. И лампы, которые девушки-принцессы в полёте держали в зубах, были красивые, и свечки в них действительно не гасли...

Потом Аладин, жонглёр-канатоходец, бегая взад-вперёд по проволоке, жонглировал этими лампами; потом все до одной поймал, нанизав на изогнутую саблю, перебросил их на перила девушкам, и... Классно придумано! – одна из этих персидских красавиц с голым животиком – Ой! – Ох! – и обронила последнюю лампу вниз – точно мимо сетки! На бортике арены флакон со свечкой раскололся и – фахх! – по всему кругу вспыхнуло высокое синее пламя, так что Одинцов, вместе со всем испуганным первым рядом, вскочил и честно проаплодировал финал номера стоя. И уселся обратно только уже когда выбежали клоуны с красными носами и стали – один взбитыми сливками, а другой клизмой из штанов – «тушить» огонь.

Внизу, на ковре, спустившаяся труппа акробатов оказалась удивительно малорослой. Одинцов даже подумал, что, может быть, это китайцы или вьетнамцы, но когда их руководитель, «Аладин», стал русским языком упрашивать добровольцев из зала пройти под куполом, он решил, что они буряты. Добровольца всё никак не могли сыскать. И хотя клоуны, прыгая на батуте, уже продемонстрировали всю безопасность мероприятия и подёргали друг дружку за страховочные тросы, взлетая с визгом чуть ли не до самого каната, но дураков всё-таки не было. Давид быстро просматривал лица зрителей в первом ряду, надеясь отгадать, кто же из них «подсадной». Но не отгадал. Один из клоунов, прыгавших на батуте, вдруг плюхнулся животом на сетку, вытянул в его направлении руку и заверещал, указывая на него пальцем: «Да вот же он! Вот он!» И тут же другой, выскочив откуда-то сбоку, покатылся своей дурацкой рожей прямо к нему.

«Да что?!. Неужели Фазиль?!.. Да-а! Да! Да...» – лишь успел вскрикнуть себе помертвевший Давид, как клоун уже оказался рядом. Прыгнул и... потащил на арену кого-то сзади. А там...

«...ну нет, ребята, этого лося вам не поднять!» – Давид оглянулся и сначала с облегчением, а потом с нарастающим ужасом стал наблюдать, как тщедушный артист пытается оторвать от кресла гору мышц в костюме. – «Опять напутали! Меня! Им сказали меня... Сейчас они сообразят!..»

Уже двое клоунов, униформист и девушка в шароварах с голым пупком, под одобрительный смех зрителей, возились с телохранителем, а Одинцов всё еще сидел, вжавшись в своё кресло и лихорадочно соображал, как ему быть. Можно сбежать, пользуясь секундой... А можно чего?!.. Ну, чего? На помощь бугаю, что ли, прийти, пока тот не достал пистолет не перестрелял кривляющихся идиотов. «Да где Фазиль-то? Они там что, не видят, чем всё пахнет?!.. Что придумали? Что за проверка опять? Кого они сейчас-то проверяют?!..»

Раздалась барабанная дробь... Клоуны все вдруг разом отвалили от покрасневшего парня, а свет в зале опять поменялся. Опять раздался волшебный голос... Огромный, как гром.

– НУ, ЧТО ЖЕ ВЫ, МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК ?..

Свет совсем погас и снова вспыхнул ещё ярче, и Одинцов понял, что это их с телохранителем выхватили из всего зала лучом прожектора, и голос, стало быть, тоже обращается к ним...

– ЧТО, ТАК И БУДЕТЕ СИДЕТЬ ?

Одинцов невольно выпрямился на своём месте и стал делать вид, что это точно обращаются не к нему. Он даже повернулся вполборота с улыбкой на этого парня, на телохранителя.

– ВЫ, ЧТО ЖЕ, БОИТЕСЬ? АЙ-ЯЙ-ЯЙ ! ТАКАЯ ДЕВУШКА ВАС ПРОСИТ !

Девушка с колечком в пупке вошла в луч света и опустила (чёрт! опять непонятно, перед кем!) на одно колено. Грубо накрашенные её глаза были печальны, как глаза умирающей антилопы из мультфильма. Она манила их руками за собой куда-то ввысь, и ещё вдобавок опять полилась эта восточная дудочка, и бумкающий, как бубен шамана, барабан начал собирать кого-то из них двоих на этот идиотский подвиг.

– РЕШАЙТЕСЬ ЖЕ! ПРИНЦЕССА ЖАСМИН ГОТОВА ВМЕСТЕ С ВАМИ ПОД КУПОЛ ПОДНЯТЬСЯ! НУ ЖЕ... СМЕЛЕЙ !

«Чёрт! Чёрт!» – выругал себя из последних сил Давид и стал вставать. Его кто-то дернул за рукав вниз. Он оглянулся. Тётя его пожалела какая-то. Нет? Не его?

До него не сразу дошло, что всё уже свершилось, что на арену под руку с персидской принцессой уже выходит детина-охранник и что зал уже аплодирует атлету и красавцу, а кто-то, заметив движение Давида, ржёт и над ним...

«Черти! Что опять устроили! Дураком выставили... Ну ладно... Чёрт! – он сел, поправил на себе рубашку и ощутил, что весь вспотел от стыда и от испуга за эти секунды. – Уфф, ладно... Этот-то куда полез, с пистолетом, придурок?..»

Не сразу, но до него стало что-то доходить, что-то он стал понимать во всём этом маразме... «Фазиль! Фазиль-то не зря же он видел в этом оркестре! Вон оно, в чём... Вон оно...» Он прислушался и в тот же миг безошибочно различил прыгающий, как мячик по ступенькам, слишком сложный, слишком красивый и многомерный барабанный бой за довольно примитивной и однообразной индийской дудкой. «Ах вы дьяволы, вон вы чего проверить решили – барабаны свои, да? Ну-ну... Посмотрим, что у вас выйдет, посмотрим...» – и он стал вместе со всем цирком внимательно следить за движениями гиганта.

37

Зачем она ему эти сказки читала, Андерсона? Зачем было нужно это лицемерие? Никогда она сама не следовала этим алгоритмам, не пыталась даже поступать согласно логике несчастных этих героев. Не были для неё самым никаким примером ни Дюймовочка, ни Герда, ни уж тем более Девочка со спичками. И ему в пример любимый его одноногий оловянный солдат никогда не ставился. Хотя был им... Был и оставался и сейчас для взрослого уже Давида непререкаемым авторитетом в умении терпеть и выстаивать. А сама эта история так и осталась для него загадкой.

И так и зияла где-то в памяти эта первая выставленная на его пути волчья яма, в которую он тогда так доверчиво ухнул... И сочилась до сих пор жертвенной кровью эта первая душевная его привязанность. – Почему? – Почему именно к нему, к верному и покалеченному ветерану, так жестока была судьба?! – Ганс Христиан не давал ответа. А оловянное сердце из огня и прыжок этой глупой балерины нисколько его, зарёванного Давида, не утешали. Наоборот, поступок кокетки вызывал у него даже какой-то приступ ревности. Он и сам был готов прыгнуть за ним, как за своим исчезнувшим в чужой семье отцом. Но она ловко на его место вскочила, хотя могла бы, даже должна была бы пожертвовать собою раньше, гораздо раньше. Чтобы тот чертёнок на нее бы отвлёкся, на её красоту, отстал бы от инвалида и не кидал бы, не плавил бы его...

А матери его нужны были победы. Любые – и маленькие, и совсем маленькие, и даже малюсенькие. Ни клочка земли не готова она была уступить из охваченных острым её взглядом холмистых ханаанских наделов. Т. В. была русская. Но устремлённость выжить среди чужих племён, зацепиться на благодатных землях, не пощадив ради этого ни женщин, ни детей иноверцев, выкрутиться из клешней врага и уязвить коварного его же хитростью – была у неё прямо как у ветхозаветной Эсфири. Для неё и примером были люди, добившиеся в жизни, вопреки всем, намеченной себе высоты положения, и непременно признания. Какие-то чокнутые певицы и писательницы... И не в этом даже было дело, а в том, сколько времени она уделяла «выстраиванию нужных отношений» с совсем уже ничтожными, по андерсоновской шкале, персонажами. С гнидами какими-то вроде Ч. из Гне-синки, или с А. Г. – директрисой его, Давида, школы, та уж вообще была исчадием холодного ада... Как же она могла, вместо того чтобы сблевануть им обратно в подолы навязчивую их вонь, как могла она с ними «сюсюкать», обтекая все наглые их рассуждения и замечания приторным согласием в голосе?!

– Ради детей!

У неё все было «ради». Ей достаточно было только подобрать и произнести вслух эти два слова, и после уж можно было делать что угодно. Хочешь бей, хочешь режь. Когда, например, Давида отправляли в армию и она лично укладывала ему в мешок носки и прочие вещи, она всё время говорила ему слово «испытание». И глаза её не увлажнились, когда он обнял и поцеловал ее. И потом, в письмах, которые он получал от неё точно раз в месяц, она всё повторяла про это «испытание» – по два раза на странице. И была спокойна. Это называлось на её языке – «духовная установка». Хотя если кто-нибудь посягнул бы на учёбу и на гражданскую свободу её Павлика и того потянул бы в армию – она бы вмиг оборотилась кем надо и взвилась бы тенью и глотку клыками бы перегрызла – и сомневаться нечего! В конце концов «духовная установка» стала представляться Давиду эдаким изобретением современной медицины – процедурным агрегатом, вроде стоматологического кресла....

– Давай ручку сюда-а... та-ак. Молодцом... Другую – сюда-а... Умничка, – добрая тётя-врач всё пристегнёт, все холодные бляхи приплюснет тебе к телу, улыбнётся, конечно же. – Вот так, хорошо-о. Сейчас мы на саа-амую маленькую поставим, на чу-уть-чуть. Как ниточка, да?.. Хорошо?

Щёлкнет чем-нибудь, и потом давай, мальчик, держись – даём духовную установку.

...близко-близко наклоняются её глаза, – помнишь, «ради чего»?! Тогда ещё немножко... Сейчас надо будет потерпеть, милый.

А потом тампоны с кровью сплёвываешь в белую миску и полощешь, и легче, разумеется, после слёз-то, горячее, весь мир в бликах... Все эти скальпели, пинцеты в плошках... В пп-п... ппп... Ооxxxx... Всё-всё-всё...

И он сплёвывал. И в саду-пятидневке, и в школе, и в лагере, и в учебке, и потом, когда хохлы его в моторном отсеке чуть не оскопили, падлы... Не один гальюн

он этими тампонами заплевал там. И вроде каждый раз действительно становилось полегче, но только со временем Давид сообразил, что никакого отношения эти «процедуры» к духовности не имеют. Нормальные шкурные разборки, у любой дворняги на дню по пять таких... Если приятно ей, Т. В., называть это духовными испытаниями и привешивать к этой грызне бирку с надписью «грызня ради того-то и того-то» – то пускай привешивает, никому от этого хуже не станет. Великому Духу уж точно.

Вот теперь лежит перед ним в цветах, красивая маленькая старушка. А он в дублёнке принимает адресованные ей пожатия, поцелуи и всхлипывания. И непонятно, кто из них выиграл... Кто победил? Она сделала Павлику имя. Вот даже сейчас вся эта шайка-лейка, все о Павлике спрашивают, и все ревниво – «Гастроли? Контракт?» А он, Одинцов, вместо гастролей отправил Павлика к чёрту на рога. Но кто об этом знает? Т. В.? Нет, посмотри на неё – она лежит очень довольная – она вместе со всеми уверена, что Павлуша получил очень и очень выгодное предложение и... И не хочет она ничего знать другого. Она Павлика женила, и вот – рядом стоит молодая, румяная Элен. В глазах покойницы и общественности – жена Павлуши. «Как повезло Павлу Романовичу! Такая умница...» А он её уже давно исподтишка выкрал! Но кто об этом знает? Даже то, что он стал писателем, – в этот момент было триумфом её «духовной установки»! А то, что он под псевдонимом сделал этот провокационный фильм, – никому не известно. И зачем он согласился на панихиду!? «Ученики её... Какие же они ученики, и какой она им учитель?... Элен да Павлуша, ну, может, эта ещё, Шестакова, положим, были под её влиянием. Боялись её, попросту говоря. Вот и всё. И ради того, чтобы она не сверлила их ледяным взглядом, никогда ни в чём ей не перечили... Но это же счастье, что теперь им не надо никого бояться, а не... Ладно, сейчас уже отнесём её в автобус. Надо кончать уже спектакль».

Ну не было для Одинцова времени! Ну никаким боком он его не чувствовал! Ни когда рухнули два коренных зуба, ни когда волосы седые полезли вдруг в тридцать лет, ни когда сморщилось мамино лицо – ни разу, никак! А чего он не чувствовал – того для него не было. Вот он и требовал разоблачения мёртвых, потому что не считал их ни мёртвыми, ни заслужившими снисхождение. И жаждал мести и суда не потом, а сейчас и тут же. И сам на себя злился, что терпит и соглашается отложить взмездие на несуществующее будущее. Была у него детская уверенность, что к счастью можно прийти лишь одним шагом, сразу, признав свою неправду и приняв на себя весь гнев, сразу вернуть все долги и отдать зуб за зуб. И никак по-другому! Ведь если все сразу друг другу отдадут – то все при своём же и останутся...

«Но вот только постой-постой... Да как же всё сразу-то?.. А этот ещё не готов ничего отдать. И этот только во вкус вошёл, только еще приценивается... И эта не понимает, что взяла что-то чужое... а?»

«Да я-то сам – разве готов? Разве не люблюсь я тем, что украл?» – спрашивал он себя. И отвечал: «Я готов. Если взял чужое – предъявите мне, и я отдам. А с Леной я ещё просто не разобрался... Я ещё не знаю, как объяснить... Но тут просто путаница какая-то! Не могли же мы оба так ошибиться... Два дня дайте, и я объясню!»

«А-а... времени не хватает, да? И Павлику сказать испугался, вон – полгода себе выцыганил. А другим жалеешь отсрочку дать?»

Ну и как ему было не злиться?

Их отношения с Т. В. продолжались и сейчас, здесь, в пансионе. Спустя два месяца после её смерти. В этом смысле Одинцов был очень похож на Жоржика. Но только вот для Жоржика *время-то* было. Не будучи столь же тесным, как в

представлении Элен, оно и воспринималось Жоржиком не так болезненно, но, тем не менее, весьма отчётливо. Слово несоразмерный человеку, бесконечный, толстый и сонный питон Адишеша, который непрерывно проползал рядом с ним, во все его дни. Слово бракованная молочная сосиска, которую забыл перекрутить автомат. Однообразная розовая масса всё выпирала и выпирала новыми мёртво-розовыми сантиметрами, ещё одним сантиметром, ещё одной секундой, ещё, ещё, выпирала и периодически заваливалась под собственным весом – то очередным кольцом бесчувственной плоти, то длинной дугой. И Жоржик прекрасно понимал, что всё то хрупкое, что хотелось ему спасти и чему так бы хотелось продлить жизнь, – и ярко-зелёные стебли, и мимозно-жёлтые в пыльце соцветия – всё будет этой массой придавлено. Сначала слегка, а потом, неминуемо, кольцо за кольцом – совсем плотно и глухо. Хуже мешков с песком...

Он с нежностью осмотрел окружившие скамейку молоденькие лопушки и завязи мать-и-мачехи, искал на голых ветках сирени особенно крупные почки, которые уже завтра – или ночью – лопнут... Взглянул мимоходом на Одинцова.

Тот всё молчал...

И Жоржик захотел приоткрыть ему ещё одну тайну. Даже доктору не говорил. А этому можно.

– А ещё мы с мамой просили.

– О чём? – Одинцов понял, что «выпал» из разговора, причём давно. – Я прослушал...

Жоржик ещё раз восхитился про себя его прямоотой. Так просто. «Ну что? С какого момента он прослушал?»

– А вы про что ещё слышали? – спросил он.

– Э-э... Прости... Я чего-то про своё задумался... Прости. Давай заново.

– Я про маму стал рассказывать. Что она у меня очень жадная была до переживаний. Помните? Нет? Что ей всё равно было, какие переживания, она всё могла переварить – и грусть, и уныние, и отчаяние. И всем одинаково упивалась.

«Как свинья», – подумал Давид и попытался представить себе, как Жоржик выглядел, когда был ребёнком. – Глаза большие, стригли «ёжиком», а лоб уже тогда морщил, наверное. От напряжения. Думал, наверное, чем маме помочь. Вот пацану нелегко пришлось тоже.

– Она всё это до донышка старалась выскрести, а потом начинала скучать. И по новой. Могла, например, целый день рыдать в голос. И два дня могла. А сорвёт голос – хрипит, но не бросает своего. Или ещё ругаться начинала. На людей. Не на тех, которых я видел, а на тех, которых я и не знал. Потом ещё могла меня жалеть. Тискала, обнимала, советы давала на будущую жизнь. И вот, я говорю, главное, она меня учила просить. Мы с ней просили..-

– Слушай, погоди, Георгий, потом дорасскажешь... – Одинцов пронзительно ясно увидел это чудовище, мамашу Жоржика – бабу с распущенными волосами, лунообразным лицом и грушевидным телом. – Она у тебя была с длинными волосами?

– Точно.

– Полная?

– И полная, – Жоржик замер. «Вдруг он сейчас опять фокус покажет. Шаги его превратились в буквы. А вопросы превратятся... во что?»

– Ага... ага... – чужой кошмар только теперь выдернул Давида из воспоминаний о своём болоте, из зимы, и вернул его вместе с тапочками и халатом на мокрую скамейку в саду. В раннюю кавказскую весну. «Вот, смотри ты, а!? Водила сына своего, малолетку, по краю бездны, босыми ногами по скалам. Ни от дождя, ни от холода его не прятала, думала небось – так честнее будет. А уродства и зоба своего пеликаньего не замечала! Вывихнула парню мозги с детства, сука! А всё

почему? Ведь ясно, как Божий день ясно, почему – потому что сама наркоманила своими эмоциями! Разум ведь что угодно обслужит, вот и прикинулась "открытой для страданий", и малыша, паскуда, не защитила. Хотя даже птицы в гнёздах, даже лисицы в норах своих щенят прячут! Сволочь!» Он с трудом поднял глаза и посмотрел на Жоржика почти точь-в-точь так же, как минутой назад тот смотрел на лопушки. – Здорово тебе досталось в детстве, да?

Жоржик хоть и ждал «фокуса», но не такого, и сейчас мгновенно запьянел от таких вот прямых солнечных глаз. Но Давид сразу почти убрал...

– Ну, и что? – Давид по себе знал, что нужно небольшими порциями. Фазиль ему по крупичам отмеривал, и то он захлёбывался. Так долго ждёшь, что потом, естественно, напиться не можешь. «Реки воды живой». – О чём вы просили, с мамашей?

– О... А...

– Ты сам-то на массаж ходишь, Георгий?

– Да.

– Ходи. Ходи.

– Она просила, в основном, чтобы сатана был повержен. Но мне разрешала просить, чего я хочу.

– Ну, и чего?.. Или секрет?

– Я просил о том, чтобы она не плакала, не кричала. Чтобы в школу меня отпускали почаще. Ну, и про сатану просил тоже. Вот вы знаете, кто такой сатана? Кого называют сатаной?

«Так, тпрр-ру...» – сказал себе Одинцов, но потом передумал и снова отпустил вожжи.

– Мне мужик один так объяснил: сатана – это то, чего нет. Ну, смотри, например. В тёмной комнате кто-то визжит, как полоумный. Есть в комнате полоумный или нет? – он подождал пять секунд, пока не заметил, что санитар «подвис». – А включили свет – это электродрель! Вот так и человек, пока не видит своих отвратительных желаний, называет их дьяволом. А когда видит – то знает, что это такая же тварь, как и все прочие.

– Желание – тварь?

– Тварь. Конечно. Нечто созданное, и для чего-то созданное. И более того, непременно парюю. Так что если есть отвратительное желание, можно не сомневаться, что есть и восхитительное. Это уж кого первым заметишь.

– Да?..

– ... и всё.

Птички прилетели и сели на куст. На них опять пролился крупными каплями дождь. Засигналила машина у ворот.

– Тебе идти? – спросил Одинцов.

– Нет. Там няньки бельё носят, – они довольно долго молча наблюдали за тремя вертяльвыми скворцами на ветке. Оба получили ещё по несколько капель в лоб, на губы и на щёки, но оба не шевельнулись. Парник над пансионом двигался. Он плыл за их головы, так что если провожать его взглядом, можно было опрокинуться назад.

– Ну, расскажите и вы мне про вашу жизнь, – попросил наконец, Жорж. – Хотя бы чуть-чуть.

Она никогда раньше ему не звонила. И как она нашла его номер?

– Да?

– Это я, Зухра (она говорила по-туркменски).

- Ты болеешь?
- Нет.
- А что?
- ...Приезжай.
- Да. Ладно. Хорошо, джами. Ты будешь дома?
- Да... Приезжай.
- Ты сейчас откуда звонишь?

В трубке раздался громкий мужской кашель. Арчан всегда так откашливался, из вежливости давая собеседнику дополнительное время.

- Это Арчан говорит, Фазиль Бахадырович, здравствуйте!
- Здравствуй, Арчан. Как дела?
- Всё хорошо. Вот неожиданно супруга ваша приехала. Я ваш номер дал.
- Молодец, Арчан. Всё в порядке. Я сегодня-завтра прилечу. Зайду к тебе.
- Давайте мы встретим вас, Фазиль Бахадырович. Номер рейса сообщите просто.
- Ладно-ладно. Если не трудно, жену ещё отвези домой, пожалуйста.
- Конечно. Хорошо. Тогда до свиданья, дорогой Фазиль Бахадырович.
- До свиданья, Арчан. Будь молодцом.

«Ну что? Потерялся ты совсем? Ничего понять не можешь?.. Ну, вот и поезжай. Там всё и поймёшь... – Фазиль прокрутился на своём директорском кресле так, чтобы сидеть лицом в сторону окна, и по одной закинул ноги на подоконник, прямо в туфлях, и закрыл глаза. – Ковбой отдыхает...»

Мгновенно оказался он рядом с ней. У неё под защитой. Какое чуткое сердце у неё. Стоило ему «поплыть» – она уже звонит. Нет-нет-нет – это не с ней что-то случилось. Она даже прощаться бы не стала... Это с ним. Это у него беда – и она сердцем своим эту беду сразу учуяла. «Приезжай!»... Командир.

- Может, и Гришу взять с собой?

Грише сейчас без присмотра оставаться нельзя. Чёрт! Сколько же он в него колошматил дряни, если даже сам третий уж день – еле ползает. Вот беда так беда... Беда.

Фазиль впервые за много лет претерпевал такой крах. Крушение, которому и слов-то не подобрать. Он всегда рисковал. Всегда шёл по самому краю. И всегда интуиция, танцую, прыгала впереди. Вот и в этот раз – он шёл, нет, скорее бежал за ней. Но вот только скорости не учёл. На такой скорости не мог он уже себя контролировать.

Одинцов, конечно, вывел его из себя. Ведь глупо, конечно, было во всём идти ему навстречу. Денег он ему дал на эту афёру с Павликом, документы все оформил, визы, паспорта, дорожные чеки, кредитные карты – ну почему было не послать его со всей этой галиматьёй любовной?! Вот, доверился интуиции. «Поддайся, дай ему разогнаться и отпусти его прямо мордой в стену – когда уже некуда ему будет спрятаться! Пусть он крови своей солёной нахлебается! Тебя ведь и самого так учили. На таких баранов, как вы с ним, ничто ведь другое не действует!»

А вот когда Давид уже отправил Павлика своего, когда уже зажил с зазной своей через стенку от большой матери, когда вкусил райских яблочек и мечтам стал предаваться – тут Фазиль, и как ловко, чрезвычайно ловко! – и навёл Давида на мысли о наиболее простом разрешении всей ситуации. И направил его по тропинке в самое сердце этой гати – чтобы забредила в нём надежда на «случайность», на «несчастный случай», на малярию, в общем, на лёгкое избавление от необходимости говорить Павлику правду! А лишь заметил, что гадость пустила корни, поинтересовался...

- Ну как, пишет он тебе, рогатенький-то твой?
- Пишет.

– Что пишет? – Фазиль все письма уже читал, потому что получал их первым. Это было просто очередным милым подарком со стороны господина N.

– Пишет, что... в Колумбии они уже. Что страшно ему.
– А... Ну, в Колумбии действительно страшно – там же вокруг наркоты всё небось крутится, да, вся жизнь? Там и хлопнуть могут в два счёта.

– Могут.

– А может бы, оно и к лучшему?

«Да ты сам – "рогатенький"!»! – подумал Одинцов в ту секунду. Показалось ему, что Фазиль спрашивает о чём-то конкретном. Что это не риторический вопрос. Что он предлагает опять принять его помощь... – "Всемогущий" Фазиль! Что ж ты искушаешь меня?! Ведь я же понимаю, что это вполне в твоих силах. Вполне! Через ваших "киборгов", провокаторов, шпионов – ваших ребят, наверное, и в Латинской Америке полно... И для них, может, это и не стоит ничего. Ещё раз барабаны свои проверишь, да и все! И не вернётся Павлуша никогда, и никто не узнает. И... Да что же я молчу!? Он же спросил!? Что же я молчу!?!»

– У меня сейчас министерский час. Хочешь посмотреть?

– Да, – сказал Давид, а потом спохватился. – Нет!

– Так «да» или «нет»?

И оба знают, о чём речь. И Одинцов молчит. Вернее, про себя он громко кричит: «Нет! Нет! Нет!». А снаружи – тишина. Смотрит в пол.

– Не знаю...

– Ясно, – сказал Фазиль. – Пойду я. Он ведь всегда минута в минуту подъезжает. В принципе, самое интересное ты уже видел. Так что – отдыхай.

И вышел.

И за дверью думал – лопнет от бешенства. Разлетится в тысячи осмётков от ярости. Ведь ему Давид был как сын. И сейчас как от сына он и получил... Словно Тарас Бульба, стоял он, качаясь от гнева, и думал, что во сто раз лучше размозжить голову трусу и предателю, чем простить. Но, покачавшись, всё же пошел прочь от кабинета. В институт Голошпака.

А Гриша сидел себе спокойно за компьютером и ещё что-то свистел, когда к нему ввалился полыхающий жаром Фазиль. Слово за слово у них зацепились, и потащил он Голошпака на свою часть здания – в Терму. (С министром это он всё придумал для Одинцова – Терма была пуста, им даже воду пришлось самим наливать, потому что Фазиль никого звать не захотел.)

Гриша разделся, заполз в воду, которая была горячее обычного, протянул Барабанщику руку... Но тот, не слушая пульс, стал ему выговаривать какую-то чушь: «...асхани, асхани – бат'х фляни. Ой-ни'йемеда! На-чукна, айна ахта! Не прощу, его айна, не прощу! Пусть умоется бач'ахх самаи своей!» А потом стал заходиться: оборвёт фразу на полуслове – и стучит дальше палочками. Потом так же резко прекратит барабанить – и опять говорит, говорит. «Уу, кёркак! Уу, саткан! – Кичар май манн!»⁶ На трёх, наверное, языках одновременно. Голошпак уже сам сообразил, что не надо особо его слушать, а надо, как на обычном сеансе, расслабиться и закрыть глаза. Он так и сделал и ещё какое-то время, пока был в состоянии, по многолетней привычке старался оценить, в каком из известных ему направлений будет продвигаться Фазиль. Он мог двигаться к надпочечникам, мог спуститься к семенникам – или, наоборот, подняться до щитовидки. Мог Фазиль достучаться и до шишковидной железы – правда, тогда нужно было бы погружаться с головой. Но, насколько Гриша успел понять, в этот раз трели ударов расслаивали ему область солнечного сплетения. Круг за кругом взрыхляли они кожные и мышечные покровы его живота и рёбер, и вскоре Голошпак с восторгом ощутил, как освобождённая диафрагма прогибается под массой воды и становится совсем тонкой. И через неё, как через плёнку, горячая вода ласкает нижние края его лёгких.

И только от тяжёлых ударов, которыми Фазиль неожиданно обрушился на так доверчиво открытое сердце Григория, – тот запаниковал. Всякий раз, когда кожа-

⁶ У, трус! У, предатель! Не прощу тебя! (туркм., узб.).

ная гиря влетала в борт ванны, – жёсткая волна била его прямо по сердечной сумке, со всеми её сосудами, подвесками и желудочками, вызывая у Голошпака не просто шоковое состояние и тошноту, но ещё, возможно, открывая в его организме, точнее, в мозгу, какую-то резервную систему. Иначе как объяснить, что он стал всё понимать – все эти языки, на которых Фазиль продолжал крыть и обличать Одинцова. «Как так – струсил такой человек?! Из тысяч достойных один получил наследство – и струсил!? Кто же он после этого?! Кто?! Шакал! Разве достоин он жить?! Разве не лучше для него – чтобы голову его раздавили между камнями, как гнилую капусту!? Чтобы рухнули камни на него! Размозжили бы череп ему! Сластолюбец! Трус! Пусть же не прощается ему низость его! Пусть он выпьет чашу, всю полную гнева. Молотом пусть Род его выпрямляет. Да, пусть вгонят ему клин в затылок, как позор Рода! Нет и нет – не достоин он ни жалости, ни оправдания, не достоин. Прочь его! Прочь его! Гони его! Вырви его из своего сердца долой! Плюнь ему вслед и забудь его!»

И опять после тяжёлых ударов затарахтели барабанные трели, повторяя на своём тарабарском одно и то же: «Рразмозжи ему, р-рразмозжи ему, рр-рразмозжи...» И снова гиря-мяч стала по нарастающей толкать и пихать ванну, словно отцовский живот, который вымещает на беременной матери свой гнев новыми толчками, ещё больше, ещё сильнее...

– Беда. Беда, – Фазиль убрал ноги с окна, развернул кресло к столу и вслед за рукой всей грудью наклонился к телефонному аппарату. Раздался писк и затем женский голос. «Да, слушаю, Фазиль Бахадырович». – Тамара? Будь добра, закажи нам с Гришей два билета на ближайший рейс в Ашхабад. Лучше, конечно, в первый класс. И чтобы мы успели доехать, рассчитай...»

Он нажал соседнюю кнопку и терпеливо дождал, пока на том конце провода подойдут к телефону.

– Гриша? Знаешь, дорогой, хочу тебя забрать на два дня с собой. Я в Туркменистан лечу. Познакомлю тебя с женой своей. Ты как себя чувствуешь? Сможешь полететь? Нет? Почему?.. А, ясно... Ясно, дорогой. Ну, что же... Смотри как лучше, конечно. Ну, я сейчас зайду к тебе. Скоро зайду. Ага, ну, всё, ну, пока, пока.

«Сейчас он ещё в порядке... Два-то дня он здесь продержится. Должен продержаться. Сегодня и завтра – надо Тамаре сказать, пусть сделает ему седуксена инъекцию. А там уже я вернусь. И ещё надо к Грише приставить кого-нибудь, на случай, если из него пойдёт. Вот старый идиот. Что же ты наделал? Зачем же ты отпустил себя?»

39

– Веселитесь? – спросил Давид у девушки. Стоять рядом с такой красоткой и глазеть на неё молча было как-то неудобно. Он ведь уже не курил.

– Ага, – грубовато, с издёвкой откликнулась она, продолжая смотреть в пол, как будто находилась в смущении. – Угораем. Ф-ф...

«Ф-ф...» – это она так усмехнулась. Дымом сквозь зубы. Одинцов ощутил, что стоило только один раз окинуть девушку взглядом, как его организм сразу «включился». И греет ему сейчас руки и ноги новым составом крови. «Ну-ну... Рискни, может, у вас что-нибудь и выйдет...» Он с удивлением следил за той частью своей природы, которая, оказываясь, всё это время оставалась совершенно равнодушной и к тоске, лежащей у него на сердце, и к омерзению, царившему у него в голове. «В конце-то концов, доктор так и сказал: организм молодой, сам восстановится. Хе-хе-хе! Вот он и восстанавливается, ты не мешай ему только – Давид был просто поражён. Всё! Ноги уже гудят. – Красивая, конечно, девушка. Но только помни, Давидушка: это ведь тоже чья-нибудь Элен, может быть, даже и Жоры, “Зарубежные записки” №12/2007

корешка твоего нового. Ты вот сейчас с ней ляжешь, трахнешься с ней по-быстро-му, с гнилым твоим сердцем, без восхищения, без любви – и что? Что? Не-еет, хрена вам! Хрена вам лысого, товарищи! Не буду я без восхищения с ней ложиться... А то так вообще скотиной стану! Потерплю...»

– Чего у вас там? Вечеринка? – спросил он, стараясь посмотреть на её ланиты нежные и на её тонкую руку другими глазами, по-братски.

– Да нет, мы там это... Телек смотрели. Новости.

– Смешные новости, что ли?

– Почему «смешные»?

– Ну, я слышу, смеются девушки. Думал, может день рождения...

– Новости, простите за грубое слово ... – она так и не выговорила это «грубое слово», даже беззвучно не смогла. – Там мой Питер спалили почти что дотла! Очень «смешно», конечно!

– Да это ж не я смеялся, а вы!

– И не я! Там подружка моя. Ей всё до фени. Все проблемы. Бывают такие девушки, понимаете? Весёлые! – Жанна сердилась, хотя, честно говоря, ещё минуту назад ей больше всего хотелось расплакаться от страха. Но этот парень с сигарой её разозлил – сначала тем, что молча её разглядывает, а когда, наконец, заговорил – то своим «отстранённым» тоном.

– Ну ладно извини... – у Давида никак не получалось воспринимать её иначе, чем прелестную девушку. В конце концов он плюнул и стал любоваться её румянцем. – А чего там, с Питером?

– Жгут его! Подонки какие-то... – Жанна не выдержала, и по скулам потекли слёзы, одна за другой. – Или не подонки... Не знаю... Пацаны совсем.

«Вот так... Получил?» – Одинцов решил было, что это сообщение сейчас же отвлечёт его от зуда и жажды, с которой он в неё впелся глазами. Но нет – ничего не произошло. Всё равно смотреть, как она глотает слёзы, было куда интереснее. Он снова поразился своему устройению. Мозги, очевидно, стояли по иерархии гораздо ниже ... чем он бы хотел.

Ну, и к тому же он уже знал, что жгут. Жечь начали, ещё когда он был в Москве. Он слышал об этом. Видел пару щитов обугленных. Просто сейчас, по-видимому, действие достигло, наконец, намеченного Фазилем масштаба. Заполняет выпуски новостей, и вот – вызывает у людей слёзы и недоумение. И всё равно – даже сейчас это тронуло его ничуть не больше. А может, и меньше. К ноющему от холода сердцу теперь добавилось ещё и глупое половое влечение. «Очень хочется пое...ться. И очень грустно», – определил он в итоге некую смесь двух автономных процессов в теле. И как любой рыбак на дрейфующей льдине, стал уповать на судьбу и на спасателей.

А Жанна, наглотавшись соли и дыма, решила, что зашла слишком уж далеко со своими слезами – чего это она? Хватит уже. Сбивая огонёк сигареты, она думала, как лучше попрощаться с собеседником. А то ещё увяжется... Тем более, что Катька с доктором заняты, не отрывать же их...

– Меня зовут Давид.

– Ага. Очень приятно. – «Ну вот, блин, накаркала». – Пойду, а то они ждут...

– А можно мне с вами? Меня Сергей Александрович много раз приглашал. Когда хочешь, говорит, – заваливай! Не очень я вам там помешаю?

Жанна пожала плечами. Пока он говорил, она, в свою очередь, оглядела его более пристально – он был не из тех, с кем опасно. Нормальный парень вроде.

– Мне только надо дежурному сказать! И сигару вернуть... Я зайду, ладно? – он уже шагнул на одну ступеньку вниз, когда вдруг заметил её напряжение. – Или... всё? Спокойной ночи?

– Как знаешь... – она прокашлялась, ещё пару мгновений подумала, а потом открыла карты. – Там, это... В общем-то, мешать некому. Но и, это... Подружка

моя там с ним, с доктором. У него в комнате. Ясно?.. Ну, может, он не захочет, чтобы ты знал... А мне, нет – не помешаешь, я ещё хочу посмотреть. Решай сам.

Он всё-таки припёрся. Потом опять сходил вниз, к дежурному своему кабардинцу и приготовил для неё чашку кофе. Потом, когда нёс этот кофе, он слышал в комнате доктора смех её подруги. Но в директорском кабинете, где она смотрела телевизор, за музыкой ничего слышно не было. Показывали рекламу.

– Назло они, что ли? Там из-за этих роликов люди друг с другом воюют, а они их опять пускают! Что за страна?

Она была непоследовательна, наивно сочувствуя то одним, то другим. И Одинцов подумал, что лучшего ребёнка ему не найти, чтобы, как говориться, из уст младенца...

– Слушай, а из-за чего сыр бор-то? Можешь мне коротко рассказать? А то неясно...

Зажмурив огромные свои серые глаза, Жанна отпила кофе.

– Ты смотрел фильм? «Поджигателей»?

– Нет. Я в кино редко хожу.

– А его в кино и не показывали... Он только на дисках или на кассетах выходил. Его для показа запретили.

– А чего там?

– Да ничего. Там всё больше про любовь. Переводчик гнусавый говорит в самом начале, что из-за чего-то там он был запрещён к показу в таких-то странах. Я так и не поняла. Может, потому, что несовершеннолетние актёры в постели... Или ещё из-за чего-то.

– А сюжет?

– Там, значит так, – она сделала ещё глоток горячего кофе. – В Париже, в школе, один парень влюбляется в девчонку. Им лет по четырнадцать-пятнадцать. Она в классе новенькая, папа у нее – военный, служил до этого на островах на базе, и она такая полукровка-туземка, хрупкая и совсем не приспособленная к современной жизни, – Жанна принялась пересказывать фильм, пропуская, как ей казалось, только незначительные детали, и очень быстро довела автора до спазмов. Давид даже подумал, что сама она кино не видела, а историю знает с чужих слов. Он делал вид, что слушает, а сам просто ругал её на чем свет стоит за то, что она так неudelикатно сокращает.

...и тут его совсем заклинило; он с двумя друзьями, которые ему и раньше помогали, объявляет настоящую войну, – быстро добралась она до финала. – И начинают они жечь эти плакаты по всему городу. За ними охотятся; и когда он понимает, что силы неравны, они втроем берут и похищают ту самую блондинку. Ну, ту, что на плакате. Сняли её на видео связанную и говорят: – У вас двадцать четыре часа, чтобы убрать эту рекламу со всех стен в городе, или мы её изуродуем. Вот так. Ну, а дальше их вычислили, окружили и, по глупому стечению обстоятельств, – всех поубивали....

– И модель? – уточнил обессиленный Давид.

– Модель, наоборот, спасли. Потом прошло какое-то время, и показывают: девчонка его выписалась. Стоит одна в регистратуре – у неё же ничего не осталось, с отцом она ехать не захотела, выбралась с чёрного хода и вернулась на их чердак, а там всё вверх дном, опечатано; так всё и узнала... А уже осень, что ли, была. Или зима. В общем, какие-то праздники. Показывают: народу гуляет – полно. Модель с какой-то новой уже фотосессии выходит из небоскрёба, в муфте, и на улице у неё просят зажигалку, прикурить. Ну, она даёт... И тут... – Жанна передавала важность момента, поэтому взяла паузу и медленно допила остывший кофе. – И тут показывают эту туземочку – это она, значит, зажигалку стрельнула. Стоит в плащике, худая, одни глаза, и спрашивает: – Сколько тебе надо денег? – Та, та-

кая, ничего не понимает, и такая: – Чего?! – Девчонка дальше: – У меня всё равно столько нет денег, чтобы ты уgomонилась. Но, может быть, ты возьмёшь это... – поливает на себе плащ, чиркает огонь и говорит. – На, – говорит, – ещё зажигалку свою не забудь. И уже из огня кидает ей к ногам зажигалку. Всё... Оливия, её, что ли, звали, не помню.

– Они, конечно, там знаешь что хитро сделали? – Жанна покачала пустой чашкой, надев её ушко, как колечко, на палец; она все же заметила подвох и теперь пыталась разобраться. – Рекламу они как-то хитро подобрали. Нет, ну, я видела пару роликов, в которых мне сниматься было бы стыдно, которые смотреть неприятно. Но это же... Не знаю, дело вкуса. Сразу понимаешь, что какой-то урод придумал и снял. А на уродов не обижаются.

– А что же тогда с уродами делают? – он вдруг вспыхнул. Весь огонь, который она зажгла в нём своей красотой и грацией, добрался, наконец, до головы. И теперь он был тем, кого любил Фазиль, – безжалостным мстителем. – Бабки им, что ли, платить за то, чтобы они своим дерьмом в ноздри мне не дышали? Или что? Да я бы...

Жанна с испугом глядела на него – ей показалось, что у него волосы на голове и на затылке встали дыбом. «Да он, может, настоящий псих-то, мама дорогая!? Мало ли что он там сказал!» Давид встал и ходил по комнате из угла в угол. Но вскоре гнев его подкатил к мёртвой туше кашалота и с шипением сразу же откатился назад. Он опять скис. «Уродов не убивают, – сразу причислил он себя к поганцам, которых только что собирался истребить всех до одного. – Нет, их судят и выставляют на позор. В яму позорную или к столбу. Чтобы каждый мог плюнуть... Эх-х... ладно. Надо идти. Пошли спать».

В дверях, он остановился.

– Этот сценарий, кстати, я написал. Называется «Terre de Feu». Производство компании «Pommes Video» совместно с фондом «Сосыете». Сорок тысяч отвалили. Но доказать, что я причастен, нельзя – об этом позаботились... Спокойной ночи.

Он вышел, а потом вернулся за чашкой, чем страшно ее напугал – до оцепенения.

– Чашка не моя, – он понял, что сейчас в её глазах натурально выглядит психом. Восстановленный в этом почётном звании, он и откланялся. – Спокойной ночи. За краткое изложение спасибо – молодец. (Так в конце разговора всегда говорил Фазиль, которому он, кстати, обещал – железно же обещал – никому не открывать своего авторства!) – И ещё... Убедительно прошу тебя, милая, никому не выдавать, что я автор сценария, – он подумал, чем бы ей пригрозить. – Не то расчленю. Ясно?

40

Ей приснился сон: караван встал и не двигается дальше. За ней послали – вроде бы Арчан на машине привез её в пустыню. Идёт она вдоль цепочки людей, идёт, идёт – и подходит к переднему верблюду. Он стоит на коленях, смотрит куда-то вдаль и бережно жуёт веревку. Она обошла его, присела, а он отвернулся, глаза от неё отводит... Она спрашивает погонщиков: – Вы что – его били?

Они тоже отворачиваются. А день-то уже за середину... Ну, она вытащила у него верёвку слюнявую из губ, чешет ему шею, бока, да вдруг видит, что из горбов-то у него – кровь сочится. Оба горба так избиты, что стали похожи на набухшие влагой губки, стоит на них чуть нажать, и на поверхности появляется бордовый потёк, сильнее нажмешь – из этого потёка сочится кровь... Она прижалась к нему – под тёплым войлоком шкуры глухо и медленно бьётся огромное сердце. Стала уговаривать. «Пойдём, – говорит, – пошли. Надо идти. Они без тебя не смогут добраться до города. Пойдем вместе». А сама думает: «Не дойдёт он – ум-

рет скоро». Но всё равно, надо поднять его. Бедный, бедный – убить бы этих караванщиков, что они с ним сделали! «Вставай, пойдём потихоньку. Осталось-то совсем ничего – пошли...» Наконец он громко и тяжело вздохнул, будто сова в трубу, и поднялся. Встал корабль на четыре ноги и, проваливаясь, вздрагивая при каждом шаге, поплыл по песку. Упираясь мохнатыми копытами в землю, а не толкая её лениво, как это делали остальные верблюды.

Зухра не стала пересказывать ему весь сон. Но про набухшие кровью горбы рассказала. А он сказал, что это они, два его помощника.

– С Гришей мы и не говорим особо. Он, как женщина, – без слов понимает. А вот молодой всё пробует понять и головой тоже. Чтобы имело форму, как вот серёжки твои, – Фазиль пощупал своими налитыми пальчиками пустые мочки её ушей – кожа на них была сухой и даже немножко шершавой от солнца. – Что я тебя люблю, ты знаешь и без них, но в плохую минуту, если захочешь, взяла, открыла кошелёк – и вот они, два месяца, две жемчужины узкие, бирюза на ниточках, золотые буковки.

– И что там у вас случилось?

– Ай, джаним⁷...

– Ну.

– Да не скажешь толком ничего... Ошибся я! Сильно ошибся. А захотел ошибку исправить – ошибся ещё хуже! И сейчас не решусь – не знаю, что делать дальше, – он чувствовал, что мысли ссыпаются с острия ума, как бесцветные мелкие песчинки с гребня дюны; сдуваются ветром, спускаются и стекают миллионами вниз, из красного солнца в тень. – Очень меня разозлил тот, который молодой. Влюбился в жену брата... Знаешь, когда зубы рвут – замораживают на десне кожу и нервы? – Ну так вот, он по этому примеру решил всё устроить, выдумщик! Думал, не так больно сделает, если всё подготовит, а уж потом объявит тому... А время стало выходить – загрустил, потому что ничего не придумал. Однажды я спрашиваю, а что если бы тебе вообще не пришлось с ним объясняться, – что скажешь? Смотрю, Давид мой уже согласен! Лишь бы ему в глазах людей выглядеть молодцом.

Такая тут меня охватила злоба, джаним: прямо с головы до пят! Решил, да пусть ему будет, как мечтается, – мне легко было сделать, чтобы он думал, что того убили, я заранее всё подготовил. Думаю: вот пусть он себя ощутит убийцей и пусть-ка поживёт с этим. Только не рассчитал я, не вытерпел, не смог гнев удержат. Пошёл да и выместил всё на Грише! – крепкое тело Фазилия дрогнуло. – Что же я за баран тупой, а, джаним? Гриша теперь как бомба стал – рано или поздно должен взорваться. И другого выхода у него нет. Натворил я... а ещё думал – смогу до конца достойно прожить, чтобы «и волк, и коза, и капуста». Да видишь, Биби-Зухра, как ошибся.

– Не думаю, что ты ошибся. Ты и раньше был прав, и сейчас наверняка прав. Не торопись. Легко сказать «тупой баран»! А совсем нелегко узнать о себе что-то новое. Совсем, знаешь, нелегко.

Фазиль был обескуражен – прежде Зухра никогда не произносила подряд больше одного предложения. Она обычно вообще ограничивалась одним или двумя словами. А тут вон целый рассказ.

– Да чего уж тут такого «нового», джаним? – сощурысь и наклонившись к ней, спросил он. Но она не стала отвечать, уверенная, что это пустой вопрос и на него не стоит даже отвлекаться. Её занимало другое.

– Ты говоришь, это выйдет из него, как... бомба. А как это, Расскажи?

Фазиль так и думал, что это русское слово будет ей непонятно. Ну, и рассказал ей про бомбы: про атомную бомбу, про мины, про гранаты – короткую лекцию прочёл. Потом взял и перечеркнул весь свой доклад фразой «...но это всё к Грише

⁷ Жизнь моя (узб.).

не относится!» и замолчал. Она к нему больше с вопросами не лезла. А когда стемнело, пришла к нему в комнату с чашкой молока и осталась сидеть рядом на кровати.

Был последний день ноября. Но было тепло и душно. Как сказали соседи, уже вторую неделю ветер «гнал жар» из пустыни. Со двора в дверь дул сухой горячий воздух. В такую ночь, если смотреть на звёзды, – они рябят и мигают. Луна низко висит, тоненьким серпом, и лишь чуть-чуть млечит улочки и стены... В соседнем дворе вяловато залаял пес-алабай; громыхнул миской и заскулил. Зухра прислушалась, не захнычет ли в ответ девочка – больно долго пришлось её укладывать, баюкать; может, заболела она... Но Фазиль успокоил: сказал, что Зои не заболела, а засыпала плохо, потому что просто испугалась.

– Я ей кого-то напомнил... Ты про неё что вообще знаешь?

– Чего: привёл кто-то ночью и бросил, – она замолчала, по обыкновению отделяя одно предложение от следующего дырой секунд в пятнадцать. В такую дыру мог бы уместиться забег спринтеров. Было слышно, как о глиняный порог дома ветер-сеет песок. Цик-цик-цик – падают одинокие песчинки на пол.

Цик-цик.

– В больницу возили – смотрели там глистов у неё.

Фазиль вспомнил бабушку. Она его звала «ёшьсан»⁸. – Ёшьсан! Ёшьсан! – кричит... Он стоит голенький в тени деревьев. Вокруг качаются узоры листьев, губы сами растягиваются в улыбку, а во рту нет зуба...

Цик... Цик-цик-цик...

– Тебе завтра обратно надо?

– Да, поеду...

Она снова заговорила слитными предложениями.

– Слушай, Фазиль. Что ты мне рассказал про бомбу и про гранату, я поняла. Я ведь и сама умею из ружья стрелять, и патроны заряжала. Я вижу, ты решил, что сила, которая в Гришу попала, – нечистая сила, да? – А помнишь, ты мне про русского старика рассказывал? Про ходжу, который траву ел, а однажды попросил сестру вместо брата умереть?

Фазиль посмотрел на жену: «Что с тобой сегодня такое»? А она посмотрела на него. Старуха, двумя чёрными колодцами глаз. И тлением дохнуло из этих колодцев, тлением и холодом от заплесневелого дна. И заговорила она дальше, словно оттуда же – грудным и хриплым голосом – словно с самой глубины этого дна.

– Ты вот что сделай... Привези Гришу сюда. И пусть он, что захочет сказать – скажет мне, и что захочет сделать, пусть здесь делает. Тогда увидишь, что это за сила.

– Э-э! джами! Я не ходжа. Да и...

– А раз не ходжа, то слушай. Я с тобой раньше не говорила, а теперь ты меня не затыкай. У нас с тобой сыновей не было. Так вот, пусть родятся. А если я кончусь при родах, так, сам знаешь, для меня это самая хорошая смерть. Тебе помочь, им помочь, ещё раз вызвать у тебя восхищение, урчулай...

– Джами! – с ума ты сошла?

– Если глупо придумала, одно можешь сделать – придумай лучше, – она погладила ему плечо рукой и несколько раз зацепила рубашку заусенцами. – А в будущее – не твоя забота глядеть!

«Ты туда и не глядишь – зачем? – раз в сердце кроме любви ничего нет, ничего сорного и не прорастёт». Он качнул головой, отгоняя дурную мысль, но поздно. Перед ним уже возник образ всадника. Взмокшее от погони лицо. Волчий взгляд. Презрительная злая усмешка на губах. Темужин. Владыка пустынь и степей, от

⁷ Малыш (туркм.).

моря до океана, – который любимую свою Борте бросил прямо в руки врагов, потому что при отступлении не досталось ей коня. «И что? Пришло время, и она была спасена. И сколько ещё прожили вместе – до самой смерти. Никто свою судьбу не знает. Никто. А у тебя, монгола, может, это на роду написано...»

– Нет-нет, Зухра, нет, – дёрнул он сердито плечом, сбрасывая ладонь. – Нет. Так дело не пойдёт.

41

Жоржик спросил тогда: – А нельзя было перетерпеть?

И этот вопрос снова поверг Одинцова в уныние. Откуда он знал – «можно» или «нельзя»? Этот вопрос почему-то не возник перед ним в ту минуту, когда он делал самый первый шаг. Её любовь обрушилась на него. Он был оглушён, сметён. У него руки дрожали! И при всей неожиданности – каким долгожданным оказалось её признание. Всё внутри ведь было уже намагничено, нагрето... Он уже называл её про себя и ребёнком, и сестричкой, и Элен. Он уже гулял с ней в мечтах, держа её за руку, вдоль безлюдных пляжей Ялты, и по серому песку вымершей Юрмалы, и на пустых дорожках одесской Аркадии. Он уже тихо и угрюмо завидовал Павлику: «Почему так везёт этому тюфяку? За что ему такая... такая...» И замирал уже, как поэт, подбирая нужное слово. И прилагательные не годились все до одного, потому что оказались вдруг какими-то немощными, блеклыми... Против её настоящей и такой иногда близкой персиковой кожи щеки. Или перед её губами – он был уверен, что вкус у них пресный и что очень трудно будет такие губы не прокусить, ведь захочется разоблачить упрятанную под тонкой в морщинках плёнкой – в крови – природную сладость их, и горечь, и солёность. И такая же тайна прячется у неё в груди – в дыхании, которым она раздвигает себе рёбра и которое никогда не колышет эти холмы. «Почему ж это я не верю, что она так тихо дышит? То есть не верю, что ей нравится быть такой тихой? Почему?! Ну а может, нравится?» Но тайна есть тайна – он лишь только чувствовал, что глубокие и резкие вздохи могут ещё разодрать эту гладь, расширить ей зрачки дотемна, распахнуть и горло, и рот в крике... Но он не мог отгадать, откуда налетит ветер. Он только мечтал о том, что «вообще-то, при каких-то необыкновенных обстоятельствах, в случае невиданной какой-то опасности, угрозы, беды» – этим ветром мог бы стать он сам... Но только лишь в случае «невиданных и неслыханных обстоятельств», не иначе!

А когда он пошёл за ней, к ней в комнату, он просто-напросто проверял... И потом – как долго они тогда целовались в первый раз. Может быть, час. И он ни разу не прокусил, и вообще слова не сказал, и ни о чем ведь не думал – «можно» или «нельзя». Хотя, нет, думал... «...можно ли ей поднять край майки? ...можно ли, чтобы эта грудь её маленькая выскочила из лифчика?.. можно ли сжать их так сильно-сильно?.. а ещё что можно?..» – «Всё... Всё». Мама Таня начала стонать у себя в комнате, и они расстались на целых десять минут... И он сидел на стуле. Потом пересел на подоконник. Потом на кровать. Потом она вернулась. И сама для него их открыла – просто подняла майку.

«Можно всё – всё можно».

А первое «нельзя» пришло вечером, когда позвонил Павлуша и сказал, что репетиция задержалась и что он приедет лишь к девяти. Оно появилось у нее в глазах – вопросом:

«А нельзя?..»

И ответом у него в глазах:

«Нельзя... надо уезжать... завтра...»

Это потом уже были тысячи и «можно», и «нельзя», между которыми он лихачил по ночам на своей «Мазде», составляя комбинацию за комбинацией, план за планом, маршрут за маршрутом. И когда тянуть уже было действительно «нельзя» — он уже знал: зато «можно» отсрочить. План уже был готов!

42

Паша зашёл в церковь. Осеннее солнышко лезло через щели в створках и косями линиями выжигало на полу четыре одинаковых узора. Под куполом, в круглом оконце, светилось медалью голубое небо. Стояло погожее прохладное утро, но Пашино сознание всё ещё отвергало и чужой часовой пояс, и чужой ландшафт, и он буквально ощущал за прохладными каменными стенами храма вечер. Ясный вечер бабьего лета, с усталыми деревенскими пьяницами на скамейках, разморенными собаками и огородными кострами. К тому же листва в Патагонии сохла и шумела с таким родным шелестом, а перед входом в церковь рос шиповник и деревце — ну, прям рябина. Когда он закрывал за собой дверь, он посмотрел на покрытые лесом горы — и они все были жёлтые, будто в берёзах. Хотя внутри, в убранстве церкви, конечно, отличия были... Пустая кафедра проповедника напоминала неподвижный зевок мертвеца. Без языка. Без жизни между зубами... Скамейки в десять рядов. Голый алтарь — на ступеньке покрытый пурпурной скатертью низенький столик, а в нише над ним фигура в цветах, одетая в сияющее голубое с искрами платье, одновременно и румяная и бледная Дева Мария. Золотой обруч нимба также был весь увит цветами и украшен звёздами горящих лампочек.

В кармане у Паши лежал тетрадный листок со шпиргалкой. Почти две недели в тайне от Анечки он писал исповедь, пользуясь лишь словарём, который был помещён в конце разговорника. Текст получился, мягко говоря, странный. Но к моменту, когда Павлуша, несмотря на угрозу Гоги, решил открыть синьору Альехо всё до конца, они с падре уже оба говорили на некоем подобии «эсперанто». К тому же Павлуша чувствовал, что времени на раздумье у него мало — через месяц священник уедет, и неизвестно, сколько ему придётся искать нового друга, кто бы помог советом и подсказал, стоит ли идти на риск в этой ситуации.

«За врата, вроде, нельзя входить... Но может, это не те врата? Это наверное, просто служебный выход... Куда бы он мог деваться?» — он услышал звяканье посуды за закрытой дверью и отошёл, чтобы не подслушивать.

Наконец, напевающий голос синьора Альехо приблизился, и вскоре он, осторожно толкнув створку ногой, появился из дверей сам — с серебряным блюдом и с кубком в руках. Через плечо, как показалось Павлику, было переброшено белое полотенце. А шапочку святой отец держал под мышкой. «Посуду мыл. Розу, значит, он отпустил», — подумал Паша. Он, конечно, стеснялся становиться на колени при посторонних и поэтому сейчас с облегчением так решительно вышагнул из тени, что у донна Альехо от неожиданности блюдо выскочило из пальцев и «жахануло» об каменный пол не хуже оркестровых тарелок.

— Dios мно⁹!..

— Скузи! Скузи, синьор Альехо, скузи мио, пор фавор! Се муа, руссо!

Справившись с нервной дрожью, священник предложил перейти для разговора в дом, но Павлик помотал головой, настойчиво повторяя: «Мистери, синьор Альехо, гранде сакре мистери, грандиозо мистери, энд вери данджерос рили», — и вдруг, поймав руку падре в свои руки, опустился перед ним на колени.

Надо сказать, это сразу же вернуло падре рабочее самочувствие. Он оглянулся, чуть потянул за собой кающегося и, одной рукой восстанавливая шапочку на теме-

⁹ Боже мой! (исп.)

ни, присел на скамью. И даже проехал по лакированному дереву чуть глубже, так, чтобы не перекрывать своей головой распятие.

– *Consuélate, por favor. Te escucho, hijo mío, cofésate*¹⁰.

Павлик достал шпаргалку и без знаков препинания зачитал синьору Альехо весь текст. На русском это звучало бы приблизительно так: «У нас несчастье. Где помощь? Вы, падре, – моя помощь. Мы с женой закрыты в Аргентине. Аргентина – тюрьма. День и ночь смотрят преступники. Осматривают, любят: Павел, Аня, Зои. Три достопримечательности наблюдать. Девочка – чужой малыш. Говорить нельзя. Говорить правда – опасность. Говорить – преступник не слышу. Опасность нет. Мы хотим поехать в Москву. В Россию. Преступник говорить – запрещено. Нельзя. Закрыто. Год жить в Аргентина. Два года жить в Аргентина. Преступник говорить – можно ехать в Москву. Посетить Америку. Аня и я. Туристы. Большой вояж. Месяц и половина месяца мы приехали из Боливии. Встречать. Женщина и девочка. Два свидетель. Узбекистан полиция. Узбекистан КГБ. Узбекистан ЦРУ привозить два свидетель. У них своё дело – свой бизнес. Мы познакомились. Дружба и я. Дружба и Аня. Все дружба. Мы друзья. Узбекистан ЦРУ, девочка, женщина-свидетель, Аня и я – все вместе ехать вместе. Весёлая компания. Группа. На машине. Ночь. Ночевать в частном доме. Останавливаться на ночлег в частном секторе. Сколько времени? Полночь. Не понимаю глупый разговор. Для меня. Грубо ругать. Аня и я. Узбекистан полицейский меня грубо ругать. Убивать женщина-свидетель. Пистолет в голова. Четыре пистолет в голова. После археологические раскопки. Картофель. Мертвец – картофель. Тоннель. Метро. Пещера. Гроб Господень. Ночь. Женщина-свидетель, мертвец – Гроб Господень. Девочка спать. Сладко спать. Уверен – снотворное на ужин. Поэтому – не слышу. Четыре пистолет не слышу – спать. Приезжать и появляться еще два полицейский преступник Узбекистан. Следить. Были готовы. Угроза. Договор. Не говорить правда. Не звонить полиция Москва. Брать девочка. Жить вместе в Аргентина. Здесь найти уединённый дом, красивое место, выбрать сами преступник. Жить в комфортабельных условиях. Всё оплачено. Кредитная карта, документ, паспорт – преступник взять. Меня обокрали. Заказывайте. Что будете заказывать? Привезти. Доставка в номер – меню. Всё хорошо. Спасибо, мы всем довольны. Месяц и половина месяца ждать. Испытывать волнение. Я беременна. Аня. Впервые. Где доктор? Скоро нам понадобится несколько вещей. Помнить угроза. Угроза для Зои, для Аня. Сколько ждать? Хотим в Москву – узнать, не волноваться родственники. Искать. Плакать. Где помощь? Падре, скажите».

Падре взял у Павлика бумажку и ушёл за дверь. Потом вернулся в очках и, поймав спиной солнечный луч, несколько раз подряд прочитал содержимое про себя.

– *Y la señora Ana, por qué no vino?*¹¹

– Нон, нон Аня пор фавор. Се гранде данджерос пара елла! – Паша опять отобрал шпаргалку у священника и ткнул ему пальцем в переписанные из разговорника слова «опасность» и «опасно», – Пелигро, пелигросо, арриесгадо – эста кларо?

Падре снова отобрал у него текст, присел и стал опять перечитывать то, что сперва показалось ему полной белибердой. Наконец он снял очки и взглянул на Павлика уставшими глазами. И Паша увидел в них понимание.

43

Отстрелялся, надо же! Надо же, не упал! Буквально весь цирк встал и истово хлопал в ладоши. Бабушки только сейчас решились отпустить зажатые ладонями

¹⁰ Успокойся, пожалуйста. Слушаю тебя, сын мой. (исп.)

¹¹ Почему синьора Анна не пришла? (исп.)

уши, а запьяневшие от восторга дети прыгали в проходах в ритме аплодисментов. «Бра-во! Бра-во! Бра-во!» – скандировали зрители. Ещё бы, это тебе не Аладин, это сейчас наш, свой в доску, Шварценеггер выступал! Ван Дамм, Дольф Лунгрэн, кто там ещё? – Миша Дудикофф? – Иван Драга, мать вашу!

Одинцов был спокойнее других, но большей частью оттого, что был единственным, кто мучался загадкой: «Стреляли боевыми или это были холостые патроны? Если холостыми – то когда они их заменили и как они делали эти дырочки на мишени, слишком уж синхронно. А если боевые?»

– Да нет, полный цирк детей – не стал бы Фазиль ими рисковать! – подумал он, но в ту же секунду понял, что это не так. Никакие дырочки на мишени никто бы не стал делать, не Голливуд же это, в самом деле. Стрельба шла самая настоящая. У него заныл живот, и он сел. «Идиоты, какие все идиоты... Прыгают и ничего не понимают», – он согнулся на своём кресле и стал смотреть в пол. Он сам не мог понять Барабанщика, с его непроницаемым монгольским лицом, с его сладкой, певучей и почти женской речью, с его могучими руками, его знаниями и его непостижимо чёткой памятью, памятью нечеловеческой – в которой подробности ушедшего мгновения будто и впрямь оцифровывались. Фазиль иногда рисовал ему эпизоды своего прошлого так скрупулёзно, что всякий раз создавалось впечатление, что эта картина сейчас у него прямо перед глазами, разбитая для удобства на сто, нет, даже на пятьсот квадратов. И он, не торопясь, с лупой, может перечислить, что находится в каждом квадрате. Да притом картина-то трехмерная или даже... Давид попробовал вспомнить хотя бы вот события минутной давности и сразу отметил, что зрение и слух, как обычно, зафиксировали только главное. Он помнил, например, как телохранитель, пройдя довольно уверенно три шага по проволоке, вдруг совсем перестал качаться и, убрав обе руки к голове, прижал свой наушник. Одинцов видел, как внимательно он слушает, потом видел, как шевелятся его губы, – он просит повторить. И потом он боковым зрением увидел, как напротив их мостика, на противоположном конце проволоки появились два таких же мужика, из той же бригады. «Ба, – ещё подумал Одинцов, – а эти что – арестовать его собираются за такие вольности? Тогда он к ним не пойдёт...» А когда перевёл взгляд на канатоходца – то его обдало холодом, ведь догадка его, самым что ни на есть глупым образом, сбывалась. Телохранитель мгновенно выхватил пистолет из подмышки и, присев (это на канате-то!) на одно колено, прицелился в сторону своих коллег. – «Он им не дастся! – пронеслось у Давида в голове, – он тут сейчас устроит!»

Возникла пауза. Зрители вроде и собирались охнуть, но уж больно спокойно и рационально действовал «доброволец», слишком быстрыми и отработанными были все его движения с оружием, слишком он там наверху был... расслаблен, что ли, – и все затаились...

– Бах! Бах! Бах! Бах! Бах! Бах! Бах! – отдачей его отнесло по проволоке обратно к мостку. Он вылетел спиной прямо на персидскую царевну и сел у неё между ног, как плюшевый медведь в ногах куклы. Только тогда обалдевший, как и все в зале, Одинцов перевёл взгляд на другую сторону купола. «Вроде стоят... Дым, чёрт, загораживает, – Давид увидел, что движение есть, и увидел, что двигаются двое. – Да, они его сейчас...» Но тут зажёгся луч и ударил прямо на тех двух. Один из них, довольно картинно, показывал публике расстрелянную мишень, силуэт человека с яблочком в центре груди. Потом он сложил мишень, и Одинцов увидел, что в руках у него уже чемоданчик. Кейс. «А! Это такая защитная штука... Я слышал о таких кейсах». Он заметил, что в руках у второго бугая, который стоял рядом, был такой же чемоданчик. Они поменялись с первым местами, тот шагнул назад и упёрся в спину второму. А этот щёлкнул ручкой и – раз, два – раскрыл другую мишень. Затем свет погас вообще весь, кроме этого луча и второго луча, который бил на героя-канатоходца. В паузе он успел снять пиджак, оставил его на руках у принцессы Жасмин и сейчас стоял над девушкой во весь рост, в белой

рубаше, с рыжими ремнями на плечах и такими же рыжими кобурами на обоих боках. Одной рукой опять прижимая «ухо» (значит, ему опять давали задание), а другой продолжая застёгивать кобуру с отстрелявшимся пистолетом, он сильно-сильно сощурился – видно было, что прожектор слепит его, бьёт прямо в глаза. Потом он на секунду присел, обманув свет, – увидел цель на противоположном мостке, убедился, что она там, и снова встал.

Наконец смолкла дудка – стучал только тихонько барабан. Не так, как обычно в цирке отбивают «дробь», а тихонечко, можно даже сказать, нежно.

«Па-би-патам- па-бипатам- би-па-там... би-па-там
Па-би-патам- па-бипатам- би-па-там... би-па-там...»

Кто-то выдохнул из публики, опять скорее не от самого действия, а от выражения лица этого парня: ну и рож! – без жизни, без малейшего напряжения в лице. Только, может быть, вокруг глаз... Но в посадке головы, в шее, в плавном танце рук (он полез под другую руку, доставать второй пистолет) чувствовалась ненормальная для этого развлекательного заведения сила. Стальная сила. Дальше Давид запомнил такую последовательность: парень глянул вниз, на сетку, вверх, потом себе за плечо. Словно прогоняя муху, он рукой поискал у себя за головой невидимую страховочную лонжу, нашел её, полез рукой к застёжке и... – ООХ! – все увидели, как блестящая металлическая нитка с карабином на конце отлетела от него в темноту. Потом быстро вперёд: он пробежал по проволоке пять или шесть больших шагов – быстро, быстро – и оказался на её середине или даже дальше, прямо над центром арены. Видно было, что он ничего не видит из-за слепящего света. И тут он растянулся по проволоке – не упал, а как-то растёкся в длину – ноги назад, голова вперёд, и сразу – бац! Бац! Бац! Потом завалился вбок и повис вниз спиной, заплетая ноги крестиком и держась одной рукой. – Бац! Бац! Бац! Потом отпустил руку и повис вниз головой, вернее, не повис, а качнулся назад, держа пистолет на вытянутой руке – и на излёте – бац! Влепил последнюю пулю куда-то, казалось, в темноту. И уже совсем неожиданно для всех – быстро развёл ноги и упал. Словно вышел из света вниз.

Потом, когда свет зажгли, парень-телохранитель уже помогал принцессе Жасмин (у которой тряслись в коленках ноги!) спуститься на арену, забрал у нее пиджак и, поклонившись на все четыре стороны, нырнул за занавес в один из выходов. Те двое мужиков тоже спустились и передали свои раскрытые кейсы клоунам – чтобы они продемонстрировали зрителям кучность стрельбы по мишеням. Клоуны побежали по кругу.

Понять, которая из мишеней была первая, а какая вторая, не представлялось возможным – они обе были аккуратно расстреляны в самое яблочко. Две рваные дырки сантиметров по десять в диаметре в центре груди. Bravo! Клоуны осторожно, с подобающей почтительностью, вернули кейсы ребятам из охраны. И те, тоже слегка поклонившись публике, скрылись за кулисами...

– Bravo!

«Что, Фазиль Бахадирович, – можно поздравить вас? Добились впечатляющих результатов, так что, очевидно, вполне можете рассчитывать на финансирование и в дальнейшем, да?...» – Одинцову не терпелось поюродствовать при встрече с Барабанщиком, поддеть его, унижить, но... «Победителей не судят» – вот что прочёл бы он в глазах Фазилия. И поэтому он решил его не ждать, а уйти из цирка своим ходом.

Уже поднявшись, он заметил, что зрители, наоборот, стали усаживаться на свои места, словно бы и на этом дополнительном номере представление не заканчивалось. «Бонуса ждут, – усмехнулся Давид. – Призовой игры». Но, заинтригованный, уже на выходе он всё-таки тоже повернулся в сторону арены. На арене

униформисты устанавливали стойку микрофона. «Сейчас выйдет Фазиль и объяснит гражданам, что они присутствовали при испытании нового психотропного оружия. И что Родина в знак благодарности вручает каждому памятную медаль... – он прислонился к стенке тоннеля и, юродствуя уже теперь над собой, стал ждать. – Мне-то чего надо?! Определись уже, Одинцов, чего тебе-то надо – хлеба тебе насущного или зрелищ? Чего ты ждёшь?»

Тем временем на арену вышел пожилой красавец шталмейстер. Метр девяносто или все два, а на голове завитый, как у Элвиса, кок с проседью.

– ПОЧТЕННАЯ ПУБЛИКА, ПРОСЬБА НЕ РАСХОДИТЬСЯ. ЕЩЁ ОДИН НЕБОЛЬШОЙ АТТРАКЦИОН, – он, не торопясь, стал засовывать свой микрофон в зажим стойки. – МИНУТУ...

«Это его голос гремел из темноты тогда, – вспомнил Давид; ему показалось, что это было уже очень давно, минимум позавчера, – значит, он был в курсе с самого начала... Тоже, кстати, может, сотрудник их бывший».

– Вот, – произнёс шталмейстер мимо микрофона и затем чуть приподнял штангу с микрофоном чуть повыше. – НУЖЕН ЕЩЁ ОДИН ДОБРОВОЛЕЦ, ГОСПОДА.

Публика засмеялась. Разливами. Видно было, что доходит до всех по очереди. Наконец залился весь зал. Шталмейстер подождал, пока они начали затихать...

– НА СЕЙ РАЗ – НИЧЕГО СТРАШНОГО.

Публика снова покатила. Даже Давид улыбнулся. «Хотят стресс снять, молодцы, – оглядел он высокую стену из смеющихся лиц. – Смех-то нервный!»

44

Анечка была счастлива. По-настоящему, глубоко счастлива. Сначала она ощущала это подсознательно, а тут... Решила она тут почитать немножко по-испански, взяла у падре Библию и вдруг прочла то место, где ангел замкнул уста Захарии. До родов не произнёс Захария ни слова, но лишь разрешилась Елизавета от бремени – он заговорил. И увиделись ей тогда ночная стрельба и непонятное страшное бешенство Гоги по-новому – как встреча с ангелом, который благовестил ей зачать и родить. Удивительно – ведь она почувствовала, что носит в животе, как раз спустя три дня после убийства. Как только Гога уехал. И ещё то удивительно – что им ведь тоже замкнули уста с Павликом. Им ведь тоже нельзя сказать никому ни слова об этом явлении. «Значит, и у нас, возможно, будет именно так – вот рожу, и нас отсюда выпустят. И всё разрешится. А пока-а...» У неё даже ноги запыли от сладости – как же ей тут всё нравилось. Их уединение. Такие горы близкие, столько солнца, столько внимания со стороны Павлика. И пугливый ребёнок Зои, за которой, оказалось, совсем нетрудно ухаживать: просто погладил, расчесал ей волосы, покачал в объятиях, и всё – она уже или спит, или бежит играть в куклы, или бегают, таскает в кружечке воду для своего «садика». У неё там посажены белые и розовые камушки и над ними палочки. А большими камнями она обозначила границы своего участка и дом.

То, что беременность с самого начала, с пятой недели, сопровождалась сильнейшим токсикозом – совсем Анну Фёдоровну не смущало. Напротив, это как нельзя лучше укладывалось в её представление о таинственном завете. «Мы ребёнка зачали не в супружестве. А в панике, в бегстве. И к тому же чуть не две бутылки красного вина выпили. И теперь должно идти очищение – вот поэтому-то меня и тошнит и рвёт. Но это я переживу. Подумаешь, рвёт! Ерунда какая. Зато ребёночек родится угодный Богу. Чистенький. Без следа всего этого. И Зои нашей дочерью будет, уж мы как-нибудь оформим её, наверняка. Вот она, Зои, наверное, и есть наше с Павликом искупление. За измену... За всё, что мы раньше где-либо совершили...» Тут она стала вспоминать своё житье в Москве – в маленькой двухкомнатной квартирке в Сокольниках, – и сколько тогда желчи в ней просыпа-

лось, от тесноты. Как она уже отца еле терпела, как на мать злилась – придёшь бывало после работы, а у матери клиент – она стригла и маникюр делала на дому. И приходилось в одной комнате с отцом торчать. А это было невыносимо! С ним с годами что-то произошло, он весь, со всем своим острым живым умом, в пустой трёп ушёл. И ладно бы только о политике зудел, а то зачем-то стал к ней придирается. Сальности стал через каждые два слова говорить, гадости. Жужжит, жужжит, зудит, зудит – так вот природа с ним распорядилась. Не жестоко, но... как-то грустно. Потому что противно... Она бы и рада была замуж выйти, чтобы от них вырваться, но состоятельных поклонников было лень искать, и к тому же она сама всё время была в кого-нибудь влюблена. Тут не до поклонников. Одинцов был сначала у неё кумир, потом Поль – француз, переводчик из «Сосьете», с которым они переводили все сценарии Давида, ну а потом уже был Паша. Она присутствовала на всех его концертах. Цветы ему передавала, глядя прямо в глаза, – а он теперь говорит, что не помнит её. А домой, хотя возможность такая была, – ни разу не пожелала зайти. И когда после концерта она узнавала, что его за кулисами ждёт жена, она ни разу не захотела на неё посмотреть и сразу уходила. Не хотела ни на фотографию взглянуть, ни рассказов Одинцова слушать об этой женщине. Зато вот сейчас наслушалась в поездке. И фотографию, наконец, увидела – ничего особенного. Не Бриджит Бардо и не Марлен Дитрих. Что-то ближе к Ванессе Парадиз – для Одинцова самое оно. «А Паша-кашалотик пускай со мной останется – ему со мной хорошо будет. Нам обоим хорошо будет. И дитю, и Зои, всем».

– А если это всё бред? Если никакого Одинцова, никакой измены, ничего этого нет?

– А если вас обоих сейчас там ищут с милицией, с Интерполом? Если эта Леночка в безумии, в слезах мается по любимому мужу, волосы на себе рвёт, а?

– А если твои родители...

«Мои родители уж точно не мечутся. У них праздник, каждый в своей комнате: стриги – не хочу... А Леночка... – Анна Фёдоровна перевернулась на левый бок, потянулась и вытащила из поникшей нагрудной Пашиной сумочки для документов маленькую фотографию – всё, что у него осталось после обыска. – Что, Леночка?.. Что ты смотришь на меня?.. Где ты там?»

Фотография выразительно молчала – не враждебно и не надменно.

«Прямо как на памятьно: "Безвременно ушедшей от нас доченьке Леночке, 1\3\75 – 4\4\04». И стихи курсивом, серым по чёрному: *«Ночевала тучка золотая, на груди утёса-великана...»* "... – Да ладно, чего я, в самом деле... Всё у нее будет нормально. Всё будет в порядке. Поженятся тоже с Одинцовым, поедут на фестиваль премию получать. Одинцову непременно рано или поздно вручат или «Оскара», или «Сезара». Состарятся вместе и ещё рядом лягут – на красивом городском кладбище, за высокой стеной. Обелиск на аллее, две овальные фотографии – Писатель и Муза. И экскурсанты будут фотографироваться на их фоне», – Анечка не сдержалась и прыснула смехом: "Ну, я даю! Уже всё – схоронила обоих!"»

Она вернула карточку в кармашек сумки и опять повернулась лицом в сторону окна. В стекло тихо моросил первый осенний дождик. Горы были накрыты сверху тёмными тучами, но везде вокруг небо было светлым, высоким и напоённым солнечным светом. Так что даже непонятно, откуда сыпало.

«Понесло их на рыбалку! Наверху вон тучи какие – отсыреют за три дня так, что чем я их тут лечить-то буду?! Тоже мне – рыбаки! Fishers de los Andes, – она улыбалась, представляя себе эту пару, в резиновых сапогах, плащах и в шляпах. Паша был на голову выше падре. И на двадцать лет моложе. И в рыбалке наверняка ничего не понимал. – Но вообще-то ему подойдёт. Созерцательное такое занятие. Но вот падре!?! – её опять разобрал смех. – Ой, не могу... Ещё, не дай Бог, они

решат на резиновой лодке рыбачить! Паша же любую лодку мигом перевернёт – сто двадцать килограмм! Ох-х, смешно, честно!»

Она стала мечтать о том, какая у них с Пашей будет могила, какое кладбище. Деревенское, показалось ей, будет самое подходящее; на горке прямо у леса. «Крайние ограды пусть будут уже в ёлках, а наша – голубая, под открытым небом. И галки пусть над нами кружат, носятся, собираются в стаи, и когда большущая стая соберётся и поднимут они совсем уже несносный крик, тогда мы с Пашечкой под землёй обнимемся и вспомним наше приключение. Как попугаев в Эквадоре распугивали – и всё остальное».

45

– Если ты думаешь, что тебя изнасиловали, – иди поговори с Гришей. Это его тема, – Фазиль только что ещё был весел и бодр, а сейчас уже казался Одинцову мрачным, уставшим и даже немного злым. – Сила и насилие всё-таки разные вещи. Он тебе поможет разобраться. И заодно, кстати, порасскажи ему про наш триумф. Ему тоже будет приятно. Извини.

С этими словами Фазиль достал из кармана платок и подробно обтёр лоснящееся лицо и лысину. Давид кивнул Барабанщику «до свидания» и пошёл к выходу. А на улице сразу попал в толпу. Небо над бульваром ещё дышало синевой, но фасад цирка уже сиял фонарями, и в это сияние из пыльных автомобильных утроб выгружались всё новые и новые зрители, спешащие на вечернее представление.

Одинцов прогулялся вдоль бульвара, перешёл Трубную наискосок и стал подниматься вверх по переулку... От памятника первопечатнику он позвонил Голошпаку. Через полчаса Гриша подобрал Давида уже возле «Иллюзиона» – Одинцов всё никак не мог надыхаться весной и сыростью, и даже совершенно заочнецов, всё стоял и ждал машину на улице, тупо изучая неоновое расписание кинотеатра. На апрель месяц.

– Часто сюда ходишь? – поинтересовался Гриша, отъезжая от высотки и сразу разгоняя свой холёный тёмно-бордовый «ягуар» до ста пятидесяти километров. Одинцов неопределённо поднял плечи – бывает, мол. И они понеслись по пустынной набережной в сторону Лефортова, Измайловского парка или куда-то ещё в том направлении. «Н-да, хорошая тачка, – думал Одинцов. – И не скажешь, что ретро... Вон чего вытворяет!»

– А сколько автомобилью лет? – в свою очередь поинтересовался он.

– А шут его знает. Вроде бы пятнадцать, – Гриша тоже был лихачом. Висел на хвосте, обгонял чайников справа, подрезал таксистов и трижды подряд проскочил на красный. – Если, конечно, доверять документам, – добавил он чуть позже, повернувшись к Давиду и задрал стрелы своих усов вверх в доброй зубастой улыбке.

«В перчатках!» – Одинцов первый раз видел человека в автомобильных перчатках. «Он, возможно, защищён от штрафов каким-нибудь документом или специальными номерами. Как-никак, числится в определённом ведомстве. Ну и чего – вот и лихачь себе на здоровье!»

– Кстати, Гриш, Фазиль просил поделиться с тобой последними новостями. Мы сейчас в цирке с ним были, – и Давид с кислой физиономией, без особой радости в голосе пересказал свои впечатления от этого важного, должно быть, для конторы мероприятия. Гриша, тоже без особого восторга, покивал в ответ, и как только рассказ закончился – проехал еще пару минут в молчании и остановил машину на обочине. Тиканье габаритов на фоне масляного рокота улаждало слух.

– Хочешь порулить? – спросил Голошпак.

«Хочу, – подумал Одинцов и представил себе, как он рвёт с места и заставляет эту "аристократку" выть и визжать на поворотах, и все жмёт и жмёт, выводя её из

себя, но потом решил, что для Голошпака это будет уж слишком. – Ну её... Потом как-нибудь...».

– Да нет, спасибо.

– А свою где оставил? У нас?

– У вас.

Одинцов совсем не хотел затевать этот разговор. Но перед глазами стояли угрюмые глаза Фазилия, которыми он его буквально принуждал опять подчиниться – сделать, как он велел... Фазиль-Триумфатор, Провокатор, Узурпатор... «Давай уж прямо скажи – Фазиль-Насильник». Одинцов незаметно для себя самого вздохнул. Усы Голошпака сочувственно опустились, и он слегка повернул голову к Давиду.

– Гриш... ты меня, это... проконсультируй по одному вопросу. Бахадырович сказал к тебе обратиться.

– Да.

– У меня такое чувство гадливое возникло во время стрельбы... А особенно потом, когда я увидел его. Довольного. И я ему сказал грубость. Ну... что, мол, чувствую, будто он меня вы...б против моей воли, поэтому я не могу поздравить его с победой. Ну, и всё. Его это задело – он говорит, иди поговори с Гришей. А я, ты же знаешь, не люблю откладывать.

– Так.

Голошпак кашлянул, убирая хрипотцу из горла, потянулся к зажиганию, словно собираясь окончательно вырубить все звуки вокруг, даже приятное и тёплое рыканье своего «ягуара», но потом, подумав, убрал руку с ключа и утопил в панель шляпку прикуривателя. Одинцов вдруг прозрел. Это с ним частенько случалось. Особенно если он бывал перед этим ослеплён гневом – или вот обидой, как сейчас. «Да, он же голубой, Гриша-то! – охнул про себя Одинцов и вспыхнул от неловкости, от собственной нетактичности и слепоты. – Эх ты, тупица! ”Вые...ал, вые...ал”! Думать же надо, что говоришь! Фу-у ты, блин, дела...»

– Сказал, что я могу проконсультировать, да? – Григорий достал из пачки «Murratti» сигарету и кнопкой стеклоподъемника открыл доступ воздуху в канареечного цвета салон авто. – В принципе, конечно, могу. Хотя, должен тебе, Давид, признаться: по образованию я не психолог. И не сексолог. И не психотерапевт.

– А кто?

– Нейрофизиолог. Но дело не в этом. Дело в том, что я гомосексуалист. Я думаю, Фазиль Бахадырович имел в виду именно мой личный сексуальный опыт, – со стуком шляпка прикуривателя выскочила обратно, и Голошпак, всё разминавший сигарету пальцами, смог, наконец, прикурить. – Опыт, надо признаться...

Не договорив, Григорий задрал стрелы усов вверх, подержал несколько секунд так, будто собирался чихнуть, но после вернул их в горизонтальное положение и выпустил дым в окошко. Одинцов просто молчал. Ждал, когда у него перестанут пылать уши и расслабятся заодно с лицом и плечи. Он даже покачал головой, по-боксёрски – то на левое плечо, то на правое.

– Ну, видишь ли, он совершенно прав, что направил тебя ко мне. Скажем так, я знаю, о чём идет речь. Меня, видишь ли, насильовали. И я об этом ему рассказывал. Потому что ничто так меня не стопорило в моем развитии, в простом человеческом развитии, как этот вот самый факт. Лет десять как минимум я потерял... А если быть предельно объективным, то и все двадцать. Поэтому ты, главное, сейчас – не тормози, не тормози. Не останавливайся ни за что на этом чувстве. Иначе оно тебя съест. Мне еще сказочно повезло, что я попал в руки к Барабанщику. А то бы так и умер обиженным на весь белый свет. Не тормози, Давид. Она хитрая, обида эта. Чуть промедлишь, и всё! Поздно будет. Вытаскивай её за хвост, за жабры тяни, за горло, за что хочешь, хватай её – но только не дай ей улизнуть внутрь. И то, что ты сразу высказал ему всё, – это ты умница. Я бы на твоём месте, прости Господи, ещё бы ему и врезал. На всякий случай. Для профилактики... У тебя собаки никогда не было?

– Нет. А что?

– Да так... Пример хотел привести. Знаешь, что такое течка?

– Ну, да.

– А кобельки как себя ведут, когда течки нанюхаются, видел? Как они с ума сходят?.. Вот представь себе, такая собачка, пёсик, ну, кобельк молоденький живёт в городской квартире. Всё, разумеется, в его шерсти – диваны, палас, если есть, – всё псиной провоняло. В прихожей ботинки некуда поставить, потому что там ему место отведено, – и миска с водой, подстилка, мячик обслюнявленный... Ладно ещё, если квартира большая и детей много – тогда это всё теряется в общей суете. А если, положим, у собачки один хозяин, серьезный человек, учёный какой-нибудь или писатель. И ещё если собачка эта досталась ему в нагрузку – от жены бывшей или от сестры-покойницы, неважно. Он себе работает, пишет, а с ней играет лишь так, между прочим – откатит ей мячик ногой из-под стола и даже не видит, что она ему обратно его приносит. Потом, через час, опять нащупает ногой этот мячик под столом и снова бац его пяткой... И вся игра. Гуляет, конечно, как без этого. Но тоже формально: пописал – и пошли. А успел ли его Кент или, там, Сид, всё обнюхать и облегчиться по-большому, такой человек может и не заметить. Хотя, со стороны посмотреть – настоящий друг, разговаривает с собакой приветливо, шутит с ней, чешет ей шею под ошейником, моет, с горем пополам, в ванной. И пёсик наш, конечно, души не чаёт в своём хозяине. Тот на него с улыбкой глянет, а кобельк ему в ответ с такой лирической преданностью смотрит, и жопой так и вертит, и нос мокрый тянет поближе к руке или к лицу. Уж облизать-то своего человека – первое дело!.. Вот.

Одинцов к этому моменту удобно устроился в жёлтом кресле и грел себе пальцы, положив их на торпеду, прямо на решётку печки. «Писателя, наверно, специально сюда приплёл, для меня. Польстить хочет – думал он. – Лучше бы называли меня Таинственным, таинственным Незнакомцем, таинственным существом... Непостижимым. Загадочной личностью... чего-то такое».

– И в один день с пёсиком начинает твориться что-то невообразимое. Где-то в подъезде сука потекла, и он успел, что называется, подышать. В лифте, может быть, не суть важно. Вот он, кобельк молодой, начинает на стену лезть у себя в прихожей. Бегаёт из комнаты в комнату, забегает к хозяину, лает, лезет к нему, за ногу начинает трепать, носит ему мячик, суёт в руки, обслюнявил всего, зубы дрожат, а ещё лапами передними на стол встанет и скребет когтями своими, того и гляди на колени запрыгнет. Наконец, сил нет, хозяин понимает, что что-то не то. Что надо внимание уделить Сиду – всё равно работать невозможно. Начинает с ним ласково говорить, как с другом. «Ты чего это, дружок? – Ну-ка давай прекращай безобразничать, видишь же, я работаю! Чего? Чего смотришь? Убери морду свою... Чего тебе?» Наконец, в сердцах, хватает его за ошейник и запирает в ванной. А тот давай скулить и скрестись. И лает, лает – просто мочи нет. Открыл. Тот снова бегаёт, чешется обо всё. Тут наш интеллектуал понимает, в чём дело. Но и что же? Что ему делать? Он человек непрактический, отвлечёнными идеями больше занят. Но не без сердца. Наоборот даже, чрезвычайно чувствительный субъект. С сочувствием дядечка, со вниманием к чужой проблеме, к чужому горю... В общем, профессор наш поступает как друг. Как друг...

Гриша выкинул окурок в окно и зачем-то ещё сильнее опустил стекло. Там была темнота. Ближайший к ним фонарный столб оказался «мёртвым», а два следующих едва мерцали серебром в глубине пейзажа.

– Некоторое время еще он соображал, как бы ему «это», с чего бы ему начать-то... А потом вернулся к своему столу, сел, и всего-то, что пришлось ему делать, это набраться терпения и чуть-чуть пёсику помочь. Скорее своей неподвижностью и голосом. Разрешающим тоном. Разрешительным... или как сказать-то правильно?! Неважно! Подставить ногу в тапочке и не ругаться, а прочесать его по спине пожёстче, к хвосту... «Ну, давай. Давай-давай. Да-да... Давай!» И не выразив ни

презрения, ни брезгливости, позволяет он псу в полминуты кончить себе на тапок или на брючину. Потом идёт, оттирает обтрюханный носок и с этого дня, ничего больше со своей стороны нового не предпринимая, начинает этот человек чувствовать особую безграничную власть над своей собакой. Начинает ощущать власть как нечто совершенно реальное.

– А...

– Еще минуту. Подожди!.. В качестве пёсика выступал я. А тот дядечка был моим руководителем. И всё поначалу было очень похоже на то, что я тебе рассказал. Очень и очень похоже. Я себя именно глупой собакой чувствовал. Преданной, влюблённой, виноватой... Сильно виноватой. Как-то это было мне внушено. «Эх ты, глупыш! Опять? А?.. Некогда, некогда... смотри, сколько работы... Вот дубина. Ну-ка иди отсюда. Пошёл, пошёл. Ну!?!..» И я отходил, пристыжённый, смущённый, едва дыша. Одного того раза было мне достаточно, чтобы приклеиться к нему, словно новорожденному телёнку к пальцу, который в молоко окунают.

...Как же мне знать было, что всё подстроено?! Что меня приманивают?! Опытный, изощрённый, всегда собранный для игры в прятки, дядечка мой был только с виду чуток тронутый и рассеянный, вроде как не от мира сего, а ум у него был самый что ни на есть практичный, на порядок острее всех остальных там. Когда на Запад уехал – на одних только лекциях разбогател. Сейчас-то уже старик. А тогда где-то под пятьдесят ему было.

...Потом, я вижу, он стал грустить. Тосковать. Сидит понурый, смотрит так безнадежно. С жалостью. У меня сердце обливалось – говорю, не надо ли чем... Головой качает отрешённо. «Иди, мол, Гриша, иди домой...» Я стал караулить, добился приглашения в гости, накупил ему подарков, пришёл, а сам уже всё – потерял голову окончательно. Пили мы чай, я разговора даже не помню. Потом он вроде мечтать принялся. Потом рассказал мне об ответственности. Об ответственности за другого. Что, мол, можно быть к этому неспособным...

Одинцов окончательно запутался в смысле произносимых Гришей слов, но в то же время – чувства его были обострены до предела, он искал подвох. Он пытался разгадать продолжение. Раскусить замысел насильника... Но ему не удалось разгадать логику – ум того «дяденьки» был действительно более изощрённым.

– «Я, говорит, не могу ни за кого отвечать. Вот я вижу, Гриша, что тебя тревожит или чем ты озабочен, – я могу тебе пойти навстречу. Но отвечать за тебя я не могу. Я таков. Меня таким вырастили, такой уж я и есть. Довериться ты мне можешь – но не жди от этого никакой для себя прибыли. Ничего я тебе не смогу предложить, наверное знаю... Да, по-моему, во мне это так и сквозит. Я и не скрываю... – он горько улыбнулся самому себе. – Честно сказать, мне никто и не может поэтому довериться. Знают, что ничего для себя не будут с этого иметь хорошего. И чего им? Ничего. И кому я тогда нужен, Гриша?.. Тебе, думаешь? Думаешь, можешь доверить мне себя?»

А я, надо признаться, уже в полном тумане был. Я даже думал потом, что он что-то в чай мог положить... Довёл он дело до того, что я чуть ли не сам себя привязал к кровати. Что? Повязка на глаза? Завязать глаза? Что дальше? Что??? Мяукать?.. Как? Просто мяукать? Как брошенный котёнок? А как они мяучат? А-ааа!

«Не так!»

– Аааа-аа! А-А-А!!!

«Не так! Не так!»

– Больно! БОЛЬНО!!! ААА!!

«Мяучь!»

– МЯ-А-ААА!

«Не так!»

– МЯ-Я-Аууу-у! МЯ-ЯААУ-У-ууу-у!

«Вот! – Понял же!!!»

– Мяс!.. Мяс!.. Ну, мяу! Мяс! Ну, мяу же, мяу! мяу!.. – и точно: я, как котёнок, просил его, выпрашивал у него, чтобы он перестал. Вымаливал каждую секунду, а сделать-то ничего не можешь – руки-ноги привязаны, он мог что угодно со мной выделывать. Всё, что ему вздумается.

Рука у Одинцова побелела от напряжения. И ногти побелели. Он стал потихоньку отпускать хватку, с которой рука вцепилась в выступы на торпеде. «Вывру ему сейчас решётку...»

– И что потом? – Давид не мог больше выносить, и сам уже, как котёнок, был готов упрашивать Голошпака, чтобы тот перестал. Не описывал так подробно. – Ушёл сам?

– Ушёл.

– И из аспирантуры тоже?

– И из аспирантуры тоже... Но всё было напрасно. Ведь я не смог выдернуть себя из того, что для краткости называю теперь обидой. А так, если разобраться, – это не обида. Ты вот обратил внимание на одну особенность этого чувства, поэтому, может, поймёшь. Ты сказал, тебе неприятно было, когда ты Фазиля увидел довольным, да?.. Я конечно, не сравниваю. Но это – «то самое». Я ещё раз говорю, я не сравниваю тебя со мной, понимаю, что тебе неприятно сравнивать себя с геем. А уж Фазиля вообще глупо сравнивать с кем бы то ни было, но этот момент, это «то самое» – на чём я сломался. Я именно не мог смириться с тем, что доставил ему удовольствие. Двадцать лет! Двадцать лет я желал только одного, чтобы что-то произошло, что угодно, чтобы небо упало на землю, реки повернули бы вспять – но чтобы тот его оргазм был бы отменён. Перечёркнут, понимаешь? Стёрт. Изъят из всех возможных архивов, из всех типов записи времени, лишён всех материальных свойств, всех родственных связей с реальностью. Если нельзя иначе, я был согласен оставить этот факт на правах сна или фантазии. Но принять Реальность вместе с десятью секундами той его эякуляции – я отказывался категорически. Это можно понять?

Одинцов кивнул. Никто не хотел принимать Реальность во всей её полноте. И он тоже. Каждому надо было что-то подправить. Какие-нибудь вшивые десять секунд. И ради этих мгновений люди готовы были поворачивать реки и рушить миры. Но Она им всё-таки не поддавалась.

– У меня был случай в детском саду... Гм. Гм-кхкха... – теперь пришла очередь откашливаться Давиду. – Мальчик один поймал меня в ковбойское лассо. Так, что мне приходилось за ним бегать, чтобы не задохнуться. Одной рукой я держал петлю на шее, а другой пытался вырвать верёвку у него из рук. Он меня хотел затащить в палату к девчонкам – у нас в пятидневке это считалось позором, не помню только, почему. Но на лестнице я схватился рукой за перила, сказал сам себе, что «никогда не отпущу руку, ни за что». И он ничего не мог поделать. Но тут выбежали две девчонки и стали ему помогать. И ещё одна подошла и стала мне разжимать на перилах пальцы. Тогда я отпустил верёвку на шее и схватился за перила двумя руками. Сразу, конечно, в глазах потемнело, но голос внутри, которым я говорил себе: «Ни за что не отпущу... ни за что... ни за что!» – до конца звучал чётко. Поэтому я, в общем-то, был спокоен и держался даже без сознания. А достал он меня, собственно, не этим. А тем, что на следующий день или через два дня, когда я вернулся в сад, – он стал при всех утверждать, что ему удалось-таки меня затащить к девчонкам. А нянька мне говорила, что я держался за перила чуть не до врачей. Он говорит, а мы тебя в палату после занесли, когда тебя уже отцепили. И эти две дуры стали ему поддакивать.

– Вот-вот, – Голошпак увидел, что Давид стал зябнуть, и закрыл окошко. – Поехали, может, я тебя отвезу к твоей машине, а?

«Клетчатые штаны, жёлтая замша, английский свитер – откуда у него всё это? Может быть, у него была богатая поклонница? Дама с аристократическим вкусом. Может быть, вдова – падре выделялся на фоне прочих пассажиров автобуса не только одеждой, но и аккуратной стрижкой на седой голове и менее грубой сетью морщин на лице, и особенно цветом лица – одновременно и бледный, и румяный, как и его Госпожа. Чехлы с удочками и складная лопата ничего не конспирируют. Наоборот, сразу видно, что этот гном едет не червей копать, а изумруды – или серебряную руду. Ну да, точно, точно – Торин Оукеншильд... и Бомбур!» Паша понимал, что сам он тоже отличается от местных жителей, и даже более разительно, чем его попутчик, и всё время пытался понять, за кого их тут принимают. Но на них попросту не обращали внимания. Чем ближе они подъезжали к Ноэль-Уапи и чем чаще за окнами их громяющего «мерседеса» мелькала гладь горных озёр, тем меньше людям хотелось смотреть в салон и друг на друга, разве только для того, чтобы обменяться восхищением от увиденного меж деревьев великолепия и простора.

В Сан-Карлосе они вышли, попросив остановить у кафедрального собора. Там же, рядом с высоченной белого камня церковью, была и гостиница. Павлуша с юношей-носильщиком и с ключом от номера сразу поднялся на третий этаж, а падре появился в номере спустя несколько минут. «Tips»¹², – подсказал ему Паша, скосив глаза на молодого человека за дверью, но священник пропустил указание мимо ушей. Пришлось, виновато потупившись, закрыть дверь. – «Later, senior. Im sorry. Later...»¹³

Падре развернул огромную карту на кровати и склонился над нею буквой «Г», для верности придерживая очки одной рукой. «Роскошная какая карта, – сразу понял Павлик, подходя поближе. – На каком языке, интересно?»

– En inglés!¹⁴ – похвастался приобретением падре. – English, understand?¹⁵

– Yes, yes... I see...¹⁶ Gracias...¹⁷

– No hay de que...¹⁸ – священник отошёл от кровати к окну, подёргал ручки и открыл дверь на балкон. – О! – выдохнул он уже на свежем воздухе, – qué linda la vista! Este lago en las montañas, el brillo del agua y el sol! Maravilloso!¹⁹ What about an evening promenade, hijo mío?²⁰

– O, good. Thank you.²¹

– About dinner? Tienes hambre? Bon appetit?²²

– Si, señor. Grand appetite!²³ – обрадовался Павлик, у которого, разумеется, не было ни песо. – Grand voyage – grand appetite!²⁴

За ужином, в ресторанчике при гостинице, Паша в первый раз за два месяца наслаждался рыбой. И, опять же впервые после двухмесячного перерыва, пригубил

¹² Чаевые. (англ.)

¹³ Позже, синьор. Я извиняюсь. Позже. (англ.)

¹⁴ На английском! (аргент.)

¹⁵ Английский, понимаешь? (англ.)

¹⁶ Да, да, я вижу. (англ.)

¹⁷ Спасибо. (аргент.)

¹⁸ Не за что. (аргент.)

¹⁹ О, какой прекрасный вид! Озеро в горах, вода и солнце – восхитительно! (аргент.)

²⁰ Как насчёт прогулки, сын мой? (англ, аргент.)

²¹ О, хорошо, спасибо. (англ.)

²² Насчёт ужина? Ты голоден? Хороший аппетит? (англ., аргент., франц.)

²³ Да, синьор, большой аппетит! (франц.)

²⁴ Большое путешествие – большой аппетит! (франц.)

виски со льдом. Разговор, который не клеился у них с падре с тех самых пор, когда они ещё только сговаривались насчёт этого броска на север, в горы, и когда придумывали подходящую легенду для Анны Фёдоровны и Розы, наконец, состоялся. Речь шла о плане дальнейших действий, и, как это уже повелось между ними, беседа велась сразу на четырёх языках – английском, испанском, итальянском и французском. Буквально, они должны были решить, что делать завтра. Ну и zároveň, вообще, как им лучше организовать поиски. Падре считал, что им следует добраться до Запала, Нескуен. И оттуда уже мчаться до самой Мендосы. Потому что Павлик не помнил дорогу «оттуда», но помнил дорогу «туда», а «туда» они ехали как раз из Мендосы. Дьявольское озеро, как оно запомнилось Павлуше, вполне могло оказаться Бриллиантовым озером, поскольку более похожего по созвучию озера, чем Lago Diamante, на карте они не нашли. Но если уж действовать наверняка – то лучше было положиться не на созвучие, а на зрительную память.

Итак, до Мендосы! Значит, надо проехать за один день чуть ли не три провинции. Выехать из Рио Негро, пересечь Нескуен и углубиться к центру провинции Мендоса, в одноименный город. «Жаль, конечно, такой крюк делать – ясно же, что дело было почти у чилийской границы, и значит, надо искать в Андах, но... Если это озеро было не Диамант, то на поиски другого озера могут уйти недели, если не месяцы, а у нас три дня!» – Павлик и так-то дёргался, что они оставляют Анечку на такой долгий срок, и боялся, что опекающие их в ссылке гаучо-надзиратели могут приехать раньше намеченного времени. Тогда легенда о рыбалке в горах им вряд ли поможет. Бандиты – люди не особо доверчивые. А шпионы – тем более. Эх, вот если бы они проделали этот путь на самолёте, из Барилоче сразу в Мендосу – меньше, чем за полтора часа, тогда и вопросов бы не было. Но без паспорта, вообще без единого документа – о таком способе передвижения не стоило даже и мечтать. *(Так думал Паша, а священник просто боялся летать и поэтому даже не заводил об этом речь.)* С автомобилем – и то возникали сложности. Синьор Альехо сам предложил арендовать автомобиль, но водить не умел и, соответственно, не имел водительского удостоверения. А Паша хоть и умел водить, но как! Давид учил его по ночам, упирая в основном на искусство парковки и на правила запутанного московского движения, а права ему ещё раньше купили, в подарок на тридцатилетие. Да ведь и всё равно прав-то этих у него с собой не было. А если бы и были, их бы тогда тоже отобрали, ясное дело! Оставался только автобус. Если не повезёт с прямым рейсом, то минимум ещё одни сутки в пути. А уже из Мендосы, раз уж падре готов тратить свои сбережения, там уже, ладно, можно и на такси.

– Let's take risks and go to lago Diamante? – не выдержал всё-таки Паша, и повёл разговор по кругу²⁵.

– No, no! Vamos a Mendoza. Y que no discutamos, a mí no me gusta arriesgarme sin razón!²⁶ – Je ne'aime pas d'aventure!²⁷ – законспирированный под рыболова падре отложил вилку и стал обтирать себе губы большой салфеткой, а затем подлил себе воды из графина. И тут за его спиной возник лысоватый метрдотель с бутылкой вина в руке.

– Veo que los señores hablan de Mendoza. Les podría recomendar vino único de colección, especial de Mendoza? El perfecto y magnífico "El Lago Diamante"²⁸, – он предъявил гостям немного запылённую зелёного стекла бутылку.

²⁵ Давайте рискнём и поедem к озеру Диаманте! (англ.)

²⁶ Нет-нет! Едем в Мендосу. И давайте не будем спорить, я не люблю рисковать без нужды! (аргент.)

²⁷ Я не люблю авантюры! (франц.)

²⁸ Мне показалось, господа беседуют о Мендосе? Позвольте предложить вам уникальное коллекционное вино из Мендосы? Восхитительное «Лаго Диамант». (аргент.)

Падре укоризненно посмотрел на невоспитанного служащего. А так как тот, не чувствуя за собой вины, приветливо ему улыбнулся, то падре перевёл глаза на Павлушу – словно бы извиняясь за нетактичное поведение своего земляка.

– *Vino único, señor!*²⁹

– *Gracias, señorito. Es que mi amigo y yo no hablamos de vino, sino de pesca, peces y las cañas de pescar. Y no es muy correcto de su parte meterse con su vino*³⁰, – начал было выговаривать падре нерадивому ресторатору, но его прервал Павлик.

– *Padre!.. Attention!*³¹ – Паша забрал у официанта бутылку и указывал пальцем на картинку в центре этикетки. На ней был нарисован идиллический пейзаж с озером и маленьким охотничьим домиком на берегу. – *Es ello! Ello! I remember now, really!*³²

Чтобы понять, на что именно указывает его друг, падре пришлось лезть в карман за очками. Но даже разглядев как следует этикетку, падре ещё раз скептически глянул поверх очков на возбуждённое лицо Паши – по его мнению, рисунок художника наверняка был слишком условным и приблизительным, чтобы делать какие-либо определённые выводы. Лошадь с охотником и собаки – вот что, скорее всего, было центром композиции, а вовсе не озеро и не абрис окружающих его лесистых гор. Но Павлуша был так заразителен в своей уверенности, что падре отступил.

Итак, Лаго Диаманте! К радости лысого метрдотеля, вино было откупорено, они наполнили бокалы и чокнулись за фортуны, было похоже, что она им улыбнулась. Хотя уже через полчаса, расплачиваясь за ужин, падре понял, что надо всё-таки быть внимательнее – вино обошлось ему в астрономическую сумму, и теперь даже непонятно было, сэкономят ли они хоть сколько-нибудь на том, что так быстро определили конечную цель маршрута. Везенье ли это? Или, может быть, ловушка? Фортуна сразу показала падре свой переменчивый нрав. «Не стоит доверять этой синьоре, не стоит... Будем же бдительнее! Мадонна да защитит нас от козней дьявола! Да не уловит нас лукавый в свои сети! Будем же бдительнее! Будем на страже! – повторял себе падре, с большим трудом одолевая на лестнице ступеньку за ступенькой ватными от вина ногами. – У-уф! Голова кружится... Мадонна! – он мысленно поблагодарил Деву Марию за столь благодатную её ревность и снова укорил себя за легкомыслие. – Какая фортуна – опомнись, Савл! Ты ещё с Венерой или с Никой бы дружбу завёл... Фортуна!» Он наконец одолел последний пролёт, прошёл в открытую Павликом дверь их номера и сразу же стал укладываться спать.

Подъём в шесть утра. В половине седьмого падре уже будил отца Лоренцо, настоятеля собора. Целый час, сидя на просторной кухне, они вели дипломатические переговоры, в результате которых падре потерял всякую надежду заполучить в этом городе даже самый пропащий автомобиль. Выпив три чашки фильтр-кофе, он вышел в туалет и в коридоре молитвенно возвёл глаза к потолку. Выходя же из туалета, столкнулся в дверях с маленьким смуглым человечком в красной рубашке и в ковбойских ботинках. Ответив на приветствие небрежным кивком, низкорослый крепыш скрылся в ванной. А уже через минуту падре был огорошен неожиданным предложением хозяина дома: их могут отвезти туда на грузовичке. – На грузовичке? В кузове? – Нет, в кабине. Большая кабина, как раз для троих. – А кто водитель? – Индеец. Брат Ченко. Тут как раз брат Ченко и вошёл. Падре ещё раз

²⁹ Уникальное вино, господа. (аргент.)

³⁰ Благодарю, юноша, но мы с моим другом говорили вовсе не о вине, а о рыбалке, о рыбе, об удочках – и с вашей стороны не очень прилично влезать со своим вином. (аргент.)

³¹ Падре!.. Внимание!.. (аргент.)

³² Это оно! Оно! Я точно помню! (аргент., англ.)

поприветствовал коротышку в красной рубаше. Индеец в ответ поднял руку. – Es tudo!³³ (он немой) – пояснил отец Лоренцо. – А... ну что ж... если это возможно... это было бы...

Выехали в девять. Голова Павлуши больно упиралась в крышу кабины, и он был вынужден немного сползти по сиденью вниз и, соответственно, задрать колени – так он и ехал, немного развальясь, но зато удобно устроив свой затылок и шею прямо на ворсистой горбинке кресла. Слева его изредка «чесал» по бедру водитель, когда переключал скорости, а справа – периодически барабанил своими пальчиками по ноге падре, когда хотел обратить на что-нибудь его внимание. Ни тонировка, ни бахрома, ни зеркальце заднего вида, ничто не перекрывало Павлику обзор – только крестик, как маятник гипнотизёра, качался прямо перед его глазами, и пока он не научился глядеть как бы сквозь него, он несколько раз нечаянно проваливался в сон. Но зато когда научился – то в полной мере оценил преимущество своего центрального положения в кабине. Из-за лобового стекла на него текла, сплетаясь в разные незначительные истории, лихая придорожная жизнь, как будто на экране кинотеатра показывали старенькое кино в жанре «road-move». «Беспечного ездока» он не смотрел, но название фильма, выплывшее сейчас неизвестно откуда, казалось ему, идеально подходит к его теперешнему самочувствию. Свободные и просторные блюзы пелись у него в памяти сладкими голосами Элвиса и Тома Вейтса, звякал гитарой Крис Ри, и вслед ему Карлос Сантана выпивал свои длинные хвостатые проигрыши; а после ещё возносился с воплями в стратосферу Джеймс Браун, вместе с Чаком, Литл Ричардом и Джерри Ли Льюисом, разгоняя их грузовичок до вполне рок-н-рольной скорости – ста двадцати километров в час. А за следующим высоким гребнем шоссе снова – простор – покой – солнце, и из тишины, из синевы экватора, в сопровождении хора темнокожих матерей-одиночек, выступал для него со своими проповедями улыбочивый Король рэгги.

Паша, качая подбородком в такт неслышной для его спутников музыке, поедал глазами натянутую по кругу длинную линию горизонта, иногда только едва надрезанную и ребристую, а порой очень даже сильно выгнутую и вздыбленную гигантскими грядами гор. Они ехали на север, становилось всё теплее и теплее, и вскоре Ченко двумя жестами показал им, что день будет очень жарким. Но пока ещё на каждом пригорке утренний ветерок обдувал их через открытое до половины окошко водителя – и Паша мечтал об ещё одной чашечке горячего «капуччино», вкус которого аж с самого завтрака так и оставался у него на губах и во рту.

Средняя скорость была километров под девяносто. И ещё был запас. Грузовичок легко взбирался на пологие подъёмы, азартно жужжал на поворотах, и выжимать из мотора все силы Ченко старался только тогда, когда они проезжали населённые пункты. Это было совсем не по правилам, но что-то в лице индейца, в его сжатых губах, вызывало у наших путешественников понимание. «Не любит людей... – Паша посмотрел на крестик на верёвочке. – Или, скорее, цивилизацию не любит. Дитя природы». Паша отчего-то стеснялся рассматривать лицо водителя, испытывая неудобство. Даже сбоку. Может, оттого, что тот был вроде инвалида – немой всё-таки, а может быть, потому, что эти индейцы обладали невидимым, но очень ощутимым свойством – они всегда держали пространство вокруг своего тела под контролем. Их внимание, словно кокон или нимб, где-то на расстоянии тридцати сантиметров окружало их фигуру со всех возможных сторон, и на все ваши попытки на эту территорию проникнуть – прикосновением ли, взглядом, или даже мыслью – владелец нимба реагировал всегда мгновенно и отвечал вам весьма жёстко. Даже вот, назвав его мысленно «дитём природы», Павлуша чувствовал, что рискует вызвать у Ченко в ответ чуть ли не подзатыльник: «мол, кого ты...

³³ Он немой! (аргент.)

бледнолицый, "дитём" назвал?!» Ну, или что-то в этом роде. Но всё обошлось. Ченко позволил ему так думать. А через минуту их грузовик уже снова вырвался из очередного городка на голую и блестящую светом автостраду.

...Ченко словно решил, что падре адресует все свои комментарии именно ему – стоило падре пуститься в размышления по поводу климатических, ландшафтных или этнографических особенностей данной местности, как Ченко переставал смотреть на дорогу и поворачивал голову вправо. И так как с этой секунды всё внимание Ченко было приковано к движению губ синьора Альехо, а скорости он не снижал, то Павлик, в свою очередь, переставал следить за пояснениями священника и готовился только к тому, чтобы в нужный момент перехватить рулевое колесо в свои руки. Поэтому из того, что рассказывал падре об этих провинциях, он ничего не понял. Запомнил он только, как менялось выражение лица у индейца. От глубоких кивков согласия и змеино-покачивания головой в случае сомнения до некоей обижённой насупленности, когда он, сдвинув вплотную брови – чёрным углом в переносицу, – недовольно отворачивался.

Например, когда Паша спросил у священника, почему все знаки вдоль дороги продырявлены и напоминают собой скорее дуршлаг, падре выразил удовлетворение подобным вопросом и заявил, что и сам не раз замечал это. По его словам, все западные дороги, и большие, и малые, были полны таких знаков. Ченко на это дважды глубоко кивнул и стал ждать следующего комментария падре. Затем падре сделал предположение, что эти дырки делают недовольные действиями дорожной полиции водители. Подъезжают, мол, ночью и отвёрткой или охотничьим ножом вымещают на этих жестяных табличках свою обиду за несправедливо наложенный штраф или за высокий дорожный налог... Индеец, хоть и сузил глаза, как у анаконды, но всё-таки еще довольно мягко в сомнении закачал головой. Падре, возможно, это заметил и тут же решительно выдвинул совсем новую гипотезу.

– Или, – сказал он, – это делают птицы. Наподобие дятлов. Они прилетают, садятся на эти столбики и долбят раскрашенную жёсть клювами. Может, жучков ловят, а может, просто чистят клюв и затачивают его таким образом...

Ченко, который, по ощущению Павлика, вот уже две минуты не возвращал взгляд на шоссе, а только следил за артикуляцией падре, ещё на несколько секунд замер, ожидая продолжения, и убедившись, что это конец, – угрюмо съёжил лицо в обиде и отвернулся. Минуту они ехали молча... Затем Паша заметил, что лицо водителя немного раскрылось. Он вытянул шею вверх, словно хотел вырасти, и стал вглядываться куда-то вдаль. Затем окончательно просиял, отпустил вдруг руль и полез двумя руками за голову Павлика, туда, где за сиденьями были уложены их конспиративные удочки и лопата. Он привстал, продолжая придерживать бананку коленями, – и, погромев рыболовной утварью, к облегчению пассажиров, вернулся на место, держа в руке тёмный кожаный чехол. Ловко подруливая ногами, индеец распаковал короткое, густо вымазанное маслом ружьё, передал чехол Павлику и стал торопливо заряжать его, коротко вскидывая хищный взгляд вперёд, через стекло. Потом Паша понял по однозначному его жесту, что надо и впрямь перехватить у него штурвал; индеец, быстро вращая ручку, опустил стекло до упора и высунулся вместе с ружьём по самую грудь из окна. Священник и Паша только успели увидеть в ста метрах жёлтую квадратную блямбу дорожного указателя, как уже, чуть не разорвав им барабанные перепонки, раздался оглушительный выстрел.

– Ттрра-тата-а-ах! – индейца брякнуло спиной о косяк водительской двери и затылком об стену кабины. Грузовик дёрнулся, потому что, видимо, нога Ченко на миг сошла с педали, но не успело до них долететь эхо – «тра-та-ах» – от стены утёсов, мимо которых они как раз проезжали, как водитель уже снова занял своё место. Он глянул внутрь кабины, на падре – и победному его взгляду не нужно

было ни субтитров, ни слов на любом из известных нашим путешественникам языков.

Но Павлик всё-таки примирительно произнес по-русски: – Ясно, ясно... Вот поэтому-то, значит, и дырки, ясно...

А падре незаметно для водителя тихонечко похлопал Пашу пальцами по ноге – ти-ти-ти... Решил, наверное, что русский ругается.

47

Сверху комнату пронизывал раздражённый взгляд седовласой судьи, лицо которой было схвачено некоей, как от выпитого лекарства, горькой оскоминой; зобатая тётенька-гособвинитель тоже выглядела чем-то неприятно озабоченной. И секретарь тоже. Два румяных милиционера, стараясь не стать мишенями этого раздражения, стояли с обеих сторон клетки, потупив глаза, с послушными, как у отличников, минами; внутри же клетки едва угадывались тени двух долговязых подростков. Сами стены этого здания – монолит, не пропускающий летнее тепло с улицы, и окна, не пропускающие воздух, и по-прежнему работающие (вместо вентиляции) батареи; вся пенитенциарная вселенная, состоящая из переплетённых меж собою карцеров и удалённых колоний, вместе с десятками тысяч работников прокуратуры, поднялась и встала горой на защиту современного образа жизни и либерализма. Ситуация была глупая. Получалось, что эти двое недорослей, которые всего лишь пожгли кучу уличной рекламы, и есть те самые ханжи, мракобесы и дремучие силы реакции, о которых шла речь в обращении Президента. «Застойные явления, грозящие затормозить движение нашей страны на пути к цивилизованному миру».

– Круто, пупсик! – наверняка восхитился бы мистер Пауэрс. А покойный Бенни Хилл скроил бы своё идиотично-весёлое: – Неужели?!

И всё же... несмотря на всё почтение к верховной власти... Возможно, в выступлении главы государства что-то было названо не теми словами. И вот теперь поэтому такая путаница. Тут претензия, собственно, не к самому господину президенту, а к этим, как их... к его спитч – или спич-райтерам... Благодаря их формулировкам все подготовленные Карлом Ивановичем козыри были уже заранее биты. Карл Иванович в тишине вернулся на место и лишь кинул быстрый взгляд на мать подзащитного. Та явно ничего не поняла и сидела вся красная от волнения. «Часть гонорара нужно будет вернуть», – подумал Карл Иванович, оправдываясь неизвестно перед кем.

– Вы молоток, – поддержал коллегу Володя, адвокат другого обвиняемого, сам ещё вчерашний студент и, судя по бороде и недостаточно приглушённом басу, тоже «революционер». – Я тут записал. Буду цитировать.

Судья трижды сердито стукнула по столу, удостоив их весьма долгого взгляда пепельных глаз, и продолжила просматривать и переключивать бумаги в папке.

«Они всё одно дадут по тах – под указ работают», – прочёл Карл Иванович в бумажке, которую передал ему неугомонный Володя. Карл Иванович учтиво кивнул в ответ и распряг себе воротник. Было душно, и он взопрел от волнения. «Ничего не вышло, и не вышло бы в любом случае, – успокаивал он себя. – А так хоть гражданский пафос... Да уж, дал ты жару!» За свою сорокалетнюю практику он до этого ни разу не импровизировал по ходу выступления. Но сегодня, когда понял, что «всё одно», что никому ничего не нужно, он позволил себе «развить тему» и немного увлёкся. Похоже, даже секретарь с милиционерами слушали. Да, и всё. Ни прессу, ни сочувствующих не пустили – указ.

«Что там... Как это я сказал? "Имеют право на пространство, свободное от корысти"? – Загнул. Ну, загнул – и чёрт с ним, а вот потом-то я что там забубенил?.. Ах да! "Да, они навязывают обществу нечто чуждое, я согласен, Ваша честь, но

это чуждое – не что иное, как ветхозаветное чувство стыда и чувство справедливости! Неумно навязывают, порой откровенно глупо, безвкусно – но страстно, и главное, куда менее хитроумно и расчётливо, чем общество навязывает их поколению идеалы рынка: тотальную алчность и абсолютно уже нечеловеческую скорость потребления. Хочешь, нет, но тебя втягивают в общую бездумную погоню за удовольствием. Вы сами, госпожа судья, видите передачи и билборды. – Поймай удачу! Добейся своего! Забудь о том, о сём и утони в море неги! Давай, жми! Беги! Будь первой, госпожа судья! Извините... Но разве не очевидно, что это психическое зомбирование?.. Двадцать пятый кадр запретили – так, а он уже и не нужен. Мы и так уже не успеваем сфокусировать внимание, когда боковым зрением видим все эти призывы или когда слышим их краем уха! То есть мы не можем уже сознательно встретить каждый такой лозунг лицом к лицу, не можем разобраться в каждом отдельном случае, где правда, а где ложь, и в результате не можем отстаивать свою независимость – их уже слишком много, слишком много. С чем, собственно, эти молодые люди и столкнулись. При полном безразличии власти, семьи и школы. И конечно, формально придаться к нашим гражданским институтам нельзя – лекции вроде читают, в церковь – пожалуйста – никто ходить не запрещает, и в речах государственных мужей, как никогда, достаточно морализаторства и заботы о нравственном воспитании. Но ведь нет ничего проще, чем нам, взрослым людям, защититься от претензий наших детей такими вот указками. "А мы вам говорили!", "А мы предупреждали!" Не помню точно, чья это мысль, но звучит она так: нет ничего легче, чем сказать своим детям: "Вот это хорошо, вот это плохо, а дальше мы вам доверяем – живите сами!" И тем самым уйти от необходимости реального взращивания следующего поколения. Это подобно тому, как выйти в огород, кинуть наугад горсть семян и объявить, что солнце и дождь полезны, а град и засуха – вредны. А потом уйти загорать до осени!.. Прошу простить меня, госпожа судья, за мою нетактичность, но так как присяжным такие дела не доверяют рассматривать, то я хотел бы, перед тем как закончить, обратиться лично к вам. К вашему жизненному опыту. Что вы сейчас будете защищать, госпожа судья? Какие ценности? Нерушимость каких норм и правил вы будете защищать? Скорее всего, вы скажете – Закон. Но закон, Ваша Честь, не трактует в наше время такие понятия, как совесть, стыд и чувство меры. А речь, по моему искреннему убеждению, идёт именно об этих таинственных величинах. Таинственных, отчасти субъективных, и потому требующих от нас с вами, уважаемая госпожа судья, чрезвычайной деликатности в рассмотрении всех обстоятельств этого дела, поскольку... Поскольку это самое начало их жизни. Моему подзащитному три дня назад исполнилось двадцать лет, и он, возможно, просто не рассчитал свои силы, вступая в сражение за нашу... За свою, простите, даже не знаю, как сказать... За чистоту своего сердца – пожалуй, так! У меня всё. Благодарю, Ваша честь". – "Бла! Бла! Бла!" Кимвал звенящий. Сейчас этот молодой человек подольёт масла в огонь, и мы даже полгода себе не скостим».

Судья, разумеется, дала последнее слово обвиняемому. Башня, улыбаясь в сторону мамы, поднялся.

– Я бы хотел сказать одно. Гражданин судья, дорогие товарищи... – от стеснения он хмыкнул. Прыщи на его мясистом дебелом лице стали пунцовыми. Вообще, без своих железных украшений он производил впечатление хоть и несимпатичного, но миловидного юноши. – Я бы только подчеркнул одно. Мы против зла. Я лично – против. И тут вот Карл Иванович сказал, что идёт погоня за удовольствием. Что нас в неё втягивают. Так я хочу подчеркнуть, что это... вроде бы, в этом нет ничего такого плохого. Но если прислушаться, то, что это такое – «удовольствие»? Это «вольствие уда». Ясно? То есть один только он и свободен – ясно? Уд, я имею в виду. Ну, член. Уд – это просто устаревшее определение. У меня всё, товарищ судья. Простите – Ваша честь то есть.

Этот идиот Володя нагло ржанул. Карл Иванович возвёл глаза, показывая судье, что «он не разделяет, но, мол, это ведь дети». Слово предоставили второму.

Грыжа встал в некоей задумчивости, но затем искренне попросил суд проявить к ним снисхождение и сел. Суд удалился на совещание.

После объявления приговора Карлу Ивановичу пришлось заняться мамашей осуждённого. Ей было настолько дурно, что она не могла даже покинуть зал, и девушка-секретарь подумала, что это у неё такая акция протеста. Позвали милиционера, совместными усилиями свели её вниз. Адвокат усадил её в свою машину и, испытывая неудобство от этого её столбняка, ушёл хлопотать к офицеру конвоя, чтобы ей позволили двумя словами перемолвиться с сыном. Но глухо. Он вернулся к Галине Андреевне. Предложил посидеть, подождать – пока его будут выводить в фургон, помахать ему ещё раз.

– Они прямо вот тут пойдут. Я всё узнал. Подождем? Да? – и, не дождавшись от неё ответа, сам принял решение: ждать.

Тогда как Башня уже ничего нового не ждал. Они сидели в специальной комнате перед погрузкой в автозак, и он, держа в животе и в горле свой страх, по нескольку раз пересчитывал общее количество дней, которые ему надо будет продержаться в тюрьме. Он себе отмерил длинную дистанцию, как только узнал, какой максимальный может быть срок – так сразу столько и отмерил. И, конечно, был обрадован судьей. Целый год долой. И минус два месяца в изоляторе. Итого на четырнадцать месяцев меньше. И наверное, это очень хорошо.

Когда их повели вниз, в коридоре он увидел одного из ребят – Сапунчика. Тот махнул и сделал жест, будто проверял боксёрские перчатки. «Это что значит? "Борись", что ли?» – начал размышлять Башня, которого сразу вытолкнули на лестницу. Пока он спускался, ему ещё пришло в голову, что сегодня наверняка все ребята здесь. Просто их никого не пустили в здание. Сапунчик небось один пробрался, а остальные, скорее всего, ждут на улице. Сейчас всех увижу». Он уже было начал напускать на себя весёлый вид, но перед самой дверью его провели через строй омоновцев в камуфляже, которые непонятно для чего сгрудились на лестнице в два ряда, и он сбился. И выбрался на свет растерянным и съёжившимся. Всего-то до машины было пять метров, а надо было всех разглядеть – Чижика, Луи... Расторгуиха тоже могла прийти. Солнце! Он успел заметить маму, которая стояла у чёрной машины, успел повернуться и увидеть ядрено-зелёные, аж ядовитые после тусклых стен, липы. И увидел, как через эту зелень, бодренькую зелень, к нему посыпали его орлята. Бегом из зелёной чащи, как воинство Робин Гуда. «Обняться хотят на прощанье», – была первая мысль. «Чего их много-то так?» – вторая. «Придурки!» – третья, после которой он стал соображать уже гораздо быстрее, по-фронтальному. Без текста в голове, а одними командами.

– Назад! – заорал он прямо в лицо первому бегущему к нему парню. – Никого не трогать, придурки! Назад! Тут засада!

Этот парень остановился, как вкопанный, с выпученными от страха глазами, но сзади выбегали всё новые и новые «огневые братья», из которых половину он даже не знал в лицо. И эти новые, похоже, ничего не расслышали, потому что стали бросаться на конвойных и тянуть их в разные стороны.

– Там полк запасный! – орал им Башня, ища глазами хоть одно знакомое лицо. Но его самого подхватили под локти и стали стремительно утаскивать из света в тень сквера. – Там целый полк, идиоты! Разбегайтесь! Ложись!

Он быстро поджал ноги и свалился на самой границе тротуара. И эти двое или трое повалились из-за него тоже. Или не из-за него? А из-за того, что их нагнали уже те?.. Он с ужасом подумал о том, что не успел. Не успел! Из-за него все попались! Откуда-то силы взялись, чтобы вскочить на ноги и рвануть обратно к машине.

– Сдавайтесь, ослы! Сдавайтесь! – со скованными за спиной руками бежал он сквозь кружащую в драке стаю своих ровесников, уклоняясь от их летающих кула-

ков, локтей, коленей, как Гектор внутри клубка сцепившихся ахейцев и троянцев. И, как метеор, с разбега влетел головой прямо в челюсть коренастому, как бульдог, майору ОМОНа.

Майор качнулся в нокдауне, но устоял.

– Сдавайся! – крикнул Башня и ему тоже, но уже без особого драйва, и шагнул назад. И стал присаживаться, показывая, что бой окончен. Но к майору уже вернулось самая простая часть его сознания – он вспыхнул зубами и глазами и без лишних слов стал месить заключённого короткими мощными ударами рук и ног.

И он его замесил бы до смерти, кабы ему в тот же миг не было видения. Явился перед ним санитар из клиники, где он зимой лежал, и кротко попросил: – Не убивайте! Не надо... И майор, просто из мужской дружбы, не стал вкладывать в последний удар всё, что хотел. А прошёлся так, для проформы, ещё пару раз тому по спине и побег крутить остальных. Командировка оказалась что надо. «Первый день всего, а уже вот, бля, чуть зубы не выбили!» – отметил он про себя и с азартом погнался во двор за какой-то патлатой толстой девкой. «И эта сейчас, бля, по жопе получит, анархистка, бля! Коза-дереза! Завалю, бля, козу сейчас да вдую!» Бой закончился.

...кровь-то какая алая; алая-преалая, как с плаката; жидкая, артериальная. Марля тоже, как первомайская открытка. В голове эхо торжественных объявлений, шарканье ног в колоннах – гул праздничной демонстрации... Пра-здни-чный гул. Башня провёл языком по кругу и от испуга стал икать: ну, всё! ничего не нащупывается. Вместо зубов, губ и щёк какая-то каша с осколками... Хирург стал вытирать ему вокруг глаз и нос, очищая кожу для более подробного осмотра.

Плач вышел сам собою – громкий и нескромный. Живот затрясся, как капот у трактора или как мотор старого холодильника в момент вступительной отрыжки, губы растянулись в длинную изогнутую щель, он жадно вдохнул, и вместе с козлиным воем из этой щели, как из вулкана, полетели в потолок розовые и красные брызги.

– Гееее-ее-ее... – Еееее-ее... – Йееееееее... ке...ке... и...а...а...а, – докашливал он воздух из лёгких почти до вакуума и снова коротко втягивал его, будто шепча слово «лихо». – Ли-и-ихо... Гееее-ее... – и'ееее-ее... – Гее-ее... бдза!.. ый'ееее-ее... Кхе...ке... дза!.. 'ык...а...

Издаваемые им звуки были настолько разнообразны, что доктор, мужчина лет сорока пяти, и толстая, как кубышечка, медсестра, которая стояла, отвернувшись к стене, подготавливая нити и инструменты, оба заулыбались. Операция поэтому пошла у них довольно складно. Хотя края рассечений то и дело расползались от этой его трясушки и швы выходили неровные, но зато как-то сразу обнаружилось, что челюсть отнюдь не сломана, а только нос и ребро. Ну, и сотрясение, конечно. И два или три зуба. А то ведь, когда его вкатили, казалось, что чуть ли «не жилец».

– Дайте, Нюра, самую маленькую...

– Эту?

– Да, хорошо... А, нет! сначала напильник дайте – надо ему обломок один выровнять тут, а то он себе уже всю щеку изрезал... Ага. Теперь шланг держите вот... так, чтобы *saliva* ушла. Вот, хорошо...

Наплакавшись, Башня потерял чувство страха и, наоборот, наполнился изнутри необычайной сладостью. Удивлением. «Вот еще... Что там ещё за "салива" у меня во рту? Откуда там такая красивая вещь?» Позабыв про инструменты и шланг, он замычал, пытаясь задать доктору этот вопрос, и чуть не захлебнулся.

– Что, что, что? – склонил к нему близко свои зелёные глаза хирург, держа руки в перчатках, как кукольный Петрушка, прямо у маски-лица. – А?

– То таое «аива», око?

– Не волнуйся, ничего страшного, *saliva* – это слюна. По-латыни слюна. Не мешай нам больше, хорошо?

– О-о-о.

– Нюра проложите ему тут вдоль зубов как следует. Насос всё равно не тянет нормально. Держите ему голову, – доктор принялся шуровать во рту Башни напильником. А плывущий в свете под действием трамала Башня обратился к нему с речью. Одними глазами.

– Доктор! Доктор!.. Вот как ты меня лечишь! Как ты меня моешь, бинтуешь, зашиваешь, – а доктор тем временем соображал, не лучше ли будет отложить напильник и обкусить торчащий обломок кусачками и на выражение глаз оперируемого не обращал никакого внимания. – Знаешь, ли ты, доктор, что меня никто так крепко не держал, не умывал? Никто мне в рот пальцами не лез... Никто за мою жизнь не бился... Может быть, ты, дядя, самый надёжный мой товарищ на земле. Надёжнее, чем отец и мать. Потому что – ты вот, рядом, в моей «саливе» ковыряешься, кровью моей забрызгался, а где они?.. Где моя мама? Где папа? Где друзья дорогие? – Никого нет... Одни мы с тобой, дядя, – одни мы с тобою живы сейчас на всей земле. Я – помираю, а ты меня лечишь. Вылечишь, вылечишь, выправишь мне всё – устанешь ещё возиться со мной. А пока я отрублюсь и буду спать, ты усталый, дорогой мой, погрёшься в душ мыться, пойдёшь домой. Поедешь в метро. И будешь временно совсем там один. Один да один, один-одинёшенький в нашем городе чёрном, ночью. – Уу-у! Это надо перетерпеть, брат. Потом-то я проснусь. Я очнусь, приду в себя, и я тебя вспомню. Разве я смогу тебя забыть, доктор? Разве такое, как у нас с тобой, можно забыть?! – Эх, кто-нибудь! Помогите доктору пережить эту ночь, когда я в отрубе. Не оставьте его, братцы, в эти несколько часов. Не оставьте его... – тут на Башню налетела чёрная клубящаяся мгла, и он пропал из собственного восприятия. И доктор пропал. И Нюра. Появился пейзаж. Бледное жёлтое солнце – снизу, на зимнем небе. Сверкающие на холоде нитки путей. Вырезанный, как из фольги, контур низкорослой площади. Стрелки спицей. А на выстуженном асфальте пупырышки, подробнейшим образом прорисованные миллиарды, мириады одинаковых отлакированных бугорков, меж которыми, как между маленькими головками, перекатываются и кружат серые снежинки реагента. На широком взлёте моста асфальт медленно поднялся, вздыбил полотно и замер на глубоком вдохе, как панцирь мифической мирообразующей черепахи. Да... И вполне может быть, что внизу, под многометровой коркой, и есть что-то живое. Чья-нибудь тёплая, пульсирующая нежностью ткань. Сверху же нет никого. Ни души...

Надо ещё помнить, что это всё-таки столица нашей Родины была: у суда журналисты японские, адвокат, который по мобильнику “скорую” вызвал. Было бы дело, скажем, в Перми или в Абакане – отвёз бы его автозак в больничку при СИЗО, и там бы он ещё хуже запаршивел. Чистое везенье.

48

Договор с падре он выполнил – наврал. «Кемпинг в грозу. Буря. Рыбалка. Лодка. Весь улов на вертеле. Жаль, не довезти – рыба протухла бы. Эх! Какая рыба попалась. Но уж ладно, зато какие красоты, красоты какие повидал...»

Анечка, похоже, была всем довольна и не сомневалась, что он чудесно провёл время. Его изгвазданные вулканической глиной брюки и сандалии вполне соответствовали в её представлении облику мирного копателя червей – рыбака. И что они на целый день опоздали, ей тоже, вроде бы, показалось нормальным. Тем более, что вот – буря на озере. Он ясно видел теперь, что вовсе не он, как намечалось было в начале их путешествия, не он глава экспедиции, а она. С округлившимися локтями, плавная и спокойная, – она же и глава их беглой бесправной семьи. Новой его семьи. Она и настоящий центр его жизни, лагуна, порт, куда он со спокойным сердцем вошёл после четырёх сумасшедших дней, проведённых в поисках трупа. Их-то ведь с падре безумная затея увенчалась полным провалом.

Они не то что трупы, не то что озера нужного – они даже дороги к тому злополучному месту правильной не нашли. И всё это, как и положено в любом предприятии с участием хотя бы одного русского, всё из-за бутылки! Идиллическое горное озеро с этикетки, брильянтовая гладь которого заманила их почти на самую границу с Чили, под вечер второго дня обернулось кратером вулкана, расположенного так высоко, под четыре тысячи метров, что заночевали они буквально в облаках. Он уже на первых минутах подъёма почувствовал, что ошибся, но всё почему-то не хотел отступить; всякий раз у него находилось какое-нибудь оправдание, почему им стоит проехать ещё один виток серпантина и еще один. Индеец ещё тоже упёртый попался. Другой бы уж пожалел машину, а этот нет: выжал из грузовика всё, весь ресурс, и не дали бы им на турбазе бензина – он его там и похоронил бы, грузовик свой. Утопил бы в озере.

Всю обратную дорогу ему было стыдно. Они ехали на автобусе из Мендосы; он спал, просыпался,пил предложенную синьором Альехо газировку, выходил «в кактусы», опять спал – и всё не мог простить себе, что так неуважительно отнесся к Панчамаме – к Матери Сырой Земле, самонадеянно полагая, что винная этикетка и настоящая поверхность планеты – это одно и то же. «Вот и поползал на четвереньках! Так тебе и надо!» Нет, хватит с него! Пусть лучше она командует. Пусть она теперь решает, что теперь им дальше делать и как им тут дальше жить. Его надежды на скорый побег рухнули. Да и на чём они были основаны?! На том, что они найдут могилу Зухры? Что падре совершит над ней погребальный ритуал, а потом они заберут оттуда пакет со всеми документами, которые, как ему показалось, Гога туда опустил?! Да всё равно вопрос был не в этих документах, а в том – верить ли в угрозы Гоги или нет. Потому что если не верить, то давно уже можно было обратиться в полицию и не говорить вообще ни слова об убийстве, а просто заявить, что их обокрали. И через неделю, ну, или через две они с Анечкой были бы уже в Москве. Зою оставили бы у падре, потому что в консульстве, конечно, не стали бы разбираться, что это ещё за ребенок. Ну и что?! Это не предательство – это здравый смысл. Они бы потом к ней приехали... Другое б дело, если верить. Если за Гогой стоит, пусть даже узбекский, но КГБ, и все эти дела с наркомафией. Тогда, конечно, ни Зою оставить здесь совесть не позволяет, ни Анечкой, в её положении, никакого резона нет рисковать; тогда даже те два письма, которые он тайком отправил-таки в Москву – ещё неизвестно, чем для них обернутся. И что же делать? Ждать, что их начнут, наконец, искать Одинцов с Леночкой?.. Так они, собственно, и ждут. «Всё – я устал!» – чуть ли не вслух взмолился Паша и в поисках покоя обратил взор на загорелые руки и плечи Анны Фёдоровны, выложенные поверх простыни и каждой складкой своей источающие сдобный аромат.

Её лицо похудело – глаза стали больше, ресницы гуще, каштановые волосы, днём мигающие коньячными искрами, ночью казались чёрными кудрями. Он удивлялся её красоте. Тому, что она брюнетка. Что ей так идёт беременность, синяки под глазами и смуглый загар, сравнявший на скулах все её веснушки. Рот такой изогнутый, выступающий тонкий нос. Флорентийка. «Она лучше меня всё придумает; у неё интуиция; Фикуса первая заметила, и что он агент, сразу же догадалась. А я могу только ждать, заботиться о них и играть на клавишине. Эх! – надо было ноты купить! Как я не сообразил в Барилоче нотный магазин-то поискать, там наверняка был!»

Аня же думала о своём. Ей, увы, было известно нечто такое, что нагоняло на сердце невиданную прежде тоску. И чтобы не захныкать перед ним раньше назначенного времени, она принялась вспоминать названия всех населённых пунктов, в которых им довелось останавливаться.

– Вот смотри: Гавана, Лимон, Сан-Хосе, – правильно? – Давид, Сантьяго, Панама – так? Потом Богота, да? – она быстро загнула все пальцы на руках и стала делать на простыне «зарубки».

Павлик мысленно соединял все эти точки в одну непрерывную линию, подмечая, между тем, не столько их различия меж собою, сколько сходство, ведь начиная с Гаваны, каждое новое место пугало их, в сущности, одним и тем же: ирреальной синевой неба и такой же ирреальной медлительностью протекающей жизни. И, видимо, поэтому – чтобы это сочетание не заколдовало их навеки – они всё мчались и мчались по намеченному маршруту из городка в городок, из гостиницы в гостиницу. Но только бегство оказалось напрасным. Чары настигли и поразили их. Южная Америка, оказывается, только притворялась вечно пьяной от зноя и шальной от простора двух океанов, а на самом деле была трезвой, жутко трезвой и скрывала истинный свой облик и истинный возраст где-то в недоступном сумраке лесов, в неприступной высоте пиков. Теперь-то, пойманные и помещённые сюда, в сужающееся к югу голенище материка, они уже пропитались и тишиной, и зноем и соединились с неторопливым шипеньем листвы. По крайней мере, Анечка соединилась...

А изголодавшийся по цивилизации Павлик ещё трепыхался. Мечтая всё пронзительнее о Москве с её кафе и бомондом в концертных залах, о рыжеглазых многоквартирных домах, он вдруг сейчас, посреди ночи, вспомнил о своей позапрошлоголетней поездке в Рим – на конкурс.

– Ты была там?

– Нет, – ответила она, глядя в потолок; повернуться она сейчас не могла – в глазах предательски колыхались слёзы.

– Этот город, как вершина пышного торта, который для Бога Отца испекли; пока несли, ангелочки не удержались и подъели его кое-где: где только крем ложкой срезали, где-то до варенья копнули, коржа на три, а где-то и до самого серебряного блюда; потом испугались, поставили поднос и разлетелись. Он сверху смотрит: – Где мой торт?! Это что ещё такое?!

А там – огромные серые, морковные или тёмно-жёлтые куски, иногда грубо, а иногда причудливо нарезанные на фоне неба – это всё контуры домов, руин и церквей, а среди них светло-серые крылья и купола соборов. С холма или с колокольни посмотреть – волны черепицы, а между ними садики, мансарды в цветах, антенны, антенны, кресты и высокие полые епископские шапки соборов, а вдали, в снегу – горы. Ночью весь Рим сам светится розовым, голубым и лиловым, да так, что у самолётов, которые специально ниже над городом стараются летать, у них снизу брюхо подсвечивается, представляешь. Это зимой было, перед Рождеством, поэтому там плюс ко всяким руинам и памятникам ещё и елки на каждой площади были украшены огоньками. И во все дни небо было синее тоже, а с утра аж терпкое от мороза. В таком небе и дым из труб не сразу развеивается, и запах горячего кофе ядрёней кажется, и каждый звук ихних мотороллеров и автомобилей сигналящих слышен четко, и главное, звон! Звон с колоколен как начнёт по городу разливаться, так слышно, что каждый колокол своё звонит, в своем квартале, по своим часам, а ещё уступает место каким-то тёткам, из окон орущим, сиренам, галкам, мелким разным пичугам и прочей кутерьме. Надо идти репетировать, а я всё на улицу выбегаю. Я жил на таком холме, Авентин называется, и там же в христианском колледже нам предложили класс с роялем. Вообще там ещё семь холмов, или вернее, всего семь. Наверху на этом холме высокие сосны растут, а у них между стволами стоят мандаринные и лимонные деревья, мандаринами увешанные. Я на смотровую площадку выходил, думал, на минуточку, а она прямо над рекой. И что днём, что ночью буквально прирастал к ней ногами и не мог оттуда уйти. На той стороне реки – крыши, крыши, крыши на разных уровнях, потому что там тоже холм, наверху того холма тоже сосны и памятники, а справа, поодаль всех других, самый главный купол светится, который и есть собор Сан-Пьетро. Он тоже с той стороны Тибра. Тибр – маленькая река, мелкая, но набережная из светлого камня, и вода мутно-белая, и вдоль берегов платаны голые, а они

когда голые, то они тоже светлые. И Тибр так днём и ночью и лежит между двумя центрами города белый, как Млечный Путь. Один центр, конечно, сам собор этот, а другой... Не скажу точно: то ли Колизей, то ли Капитолий, то ли ещё один холм, названия не помню. И ещё есть несколько пьяцца, от которых тоже полное впечатление – что именно они тут самые главные. Такие самые шумные в родне тётушки. Вытянутая, как сосиска, Навона, круглая, как бублик, Попола, потом ещё одна под Испанской лестницей и ещё какая-то большая, с большим перекрёстком. И народу, кафе и фонтанов на них больше, чем на любой московской площади. Зато вокзал в Риме всего один. Представляешь? Холмов – семь, а вокзал один. У нас, наверное, точно наоборот, да?

Анечка вспомнила заснеженную площадь Трёх вокзалов. Это место в Москве всегда вызывало у неё смешанные чувства. Вроде бы задумка архитекторов была ей понятна – это был такой парадный ансамбль, выражающий одновременно и державный пафос, и открытую столичную улыбочивость. Но вот народу, который ежедневно заполнял яичной скорлупой все её щели, наполняя громадные залы запахом вагонного дыма, пота и верблюжьего меха, было, видимо, наплевать на задумку архитекторов. А уж всем этим спитым бичам и цыганкам – точно наплевать, в прямом и в переносном смысле.

– А народ там какой? – спросила она у Паши. – Бедные, как здесь, или «рич»?

– Падре говорит, что в Европе все «рич». Говорит, у вас все там за жирели. Один только Хуан Пабло и не перестал солью быть и с нищими их страдания разделять.

– Иоанн Павел Второй?

– Ну да, а кто?

– А может, он говорил – San Paolo?

– Нет, San Paolo он говорил про святого Павла, а про папу он говорил Хуан.

– Хуан. Жан, – внутри живота Анечка услышала еле ощутимое движение и рядом с пупком нарисовала пальчиком «завиток». – А давай... – она захотела, выгибая позвоночник, потянуться всем телом до сладкой судороги и, расправив ногти, как кошка, вытянула руки к потолку. – ...Давай, если мальчик родится, назовём его Жан?

– Не против, – легко согласился Паша. – А если девочка?

Он увидел, как ладони, которые она выкручивала себе над кроватью, замерли. Аня повернула голову на подушке и хитрыми глазами посмотрела ему прямо в глаза. Потом не выдержала и прыснула смехом. Наконец он сообразил, что по-русски «Жан» – это и есть женское имя.

– Ты хотел бы завтра в Москву улететь? – ещё улыбаясь, грудным от волнения голосом спросила она. И еёхватило легкое, крылатое чувство, что она всё делает правильно, что она его любит и поэтому всё перенесет. Что родит ему их Жана или Жанну – розового толстячка, выкормит грудью, вырастит из него огромного аргентинца, молодого воспитанного человека с папиным румянцем, а из неё – порядочную девушку с красивым свежим лицом. Что выдаст замуж Зою, остроглазую узбекскую Покахонтас, за какого-нибудь француза влюблённого – что ничего во всём этом, даже в надвигающемся одиночестве, нет страшного. Пусть вернётся, пусть насладится и встречей, и городом, и дружбой, и славой. Здесь она всё равно осядет в Раю. Она не забудет. И он не забудет.

– Ну, отвечай!

– Завтра улететь или завтра уже прилететь? – подхватил Паша новую игру, радуясь её веселому настроению и теряя остатки своей усталости.

Она перевернулась и легла на него сверху. Маленькая такая аквариумная гуппи-флорентийка, сизой чешуёй на горячее брюхо кашалота. Положила щеку ему на грудь и лениво так, словно бы между прочим, вытащила из-под подушки целлулоидный файл, полный документов: паспортов, карточек и ярких билетов с режущим глаза логотипом авиакомпании «Iberia».

Послесонье, тёмное, как безобразная свинцовая туча, всё утро ходило вместе с Одинцовым по коридорам пансионата. Завтрак показался ему несвежим и холодным – омлет мало того что посерел и плавал в вышедшей из него воде, так ещё и отдавал неприятным запахом железа и разбавленного хлора, будто воду эту набирали из батареи. Но даже неважно – он поковырял то, что дали, запил пресным тягучим киселём и целый час сидел, уставившись в окно, как последний пропойца, – без мысли, без желаний, с брезгливой зачарованностью рассматривая странные и непонятные картины своего сна наяву.

Был в этом сне и светлый момент – был определён. Тот, что и раскрыл ему сердце и глаза навстречу всему прочему кошмару – но он-то как раз всё не шёл ему в голову. «Да что же я над собой делаю? Что за измывательство? Не разгадаю же всё равно, что означает, а всё надо мне ещё поразглядывать! Зал с мертвецами. Какие ещё мертвецы?!.. Мертвецы, мертвецы...»

Этот последний зал, в котором он оказался перед пробуждением, так чем-то встревожил Давида, что он очнулся с разинутым от ужаса ртом и тогда только смог полноценно и глубоко вдохнуть, когда с большим трудом выдавил из пересохшего горла спазм. А теперь он не мог никак вспомнить, что же именно так его напугало. «Подумаешь – мертвецы! Подумаешь, похожи на живых. Да все настоящие покойники чем-нибудь обязательно похожи на живых!» Тем, что ими устлан был весь пол в зале, и он вынужден был стелить газету и наступать им на лица? Или тем, что они лежали все, открыв глаза, и молчали? Что? «Нет, не в них дело... Не в них... Дело во мне... В том, что мне там надо было, вот в чём. Зачем я туда... Не помню... Зависимость. Слово бы какая-то зависимость от них... Будто бы я там абсолютно свой... как среди своих... Даже больше, как среди... Будто я над ними начальник – вот что! Я же там просто самый хитрый был, в том зале, и ползал по ним, ну, то есть ходил, потому что доказал прежде, что имею на это право как самый умный... Как их повелитель... э! Гадость. Вспомнил! Я же там карьеру сделал и ходил-то для того, чтобы проверить, не пикнет ли кто против меня? Один ли я над ними ходить посмел? – тут Давид снова похолодел, а выпитый кисель буквально ледяным желе плеснулся в желудке: он вспомнил, как там, во сне, обращая искривлённое лицо к лампам и усмехаясь, говорил кому-то: «Ну и что, что не пускаешь меня! Тебе деваться некуда – будешь говорить со мной! Надо же Тебе всё равно с кем-то говорить?!»

Одинцов, и точно, теперь отчётливо вспомнил эту секунду. Как он ждал, что в ответ раздастся голос, и как в ответ ничего не раздавалось. Долго ничего. И как ему показалось, что эти, под ним, злобно заулыбались от этой однозначной тишины. Разулыбались все и аж затряслись, и вся его власть над ними тотчас стала испаряться... Только после того, как он чётко до мельчайшей подробности вспомнил эту картину, он стал лихорадочно, словно боясь никогда уж больше не всплыть с такой глубины, в страшной спешке вспоминать предыдущие эпизоды сна, которые были подобны верхним, более светлым, пронизанным светом слоям океана; в которых он мог бы сейчас немножко отогреться, в которых еще что-то он признавал и кого-то еще любил. Любил... да. Да.

Так ведь оно и было. Так и было. Там было так. Он был приглашён – или, может быть, пробрался без приглашения на свадьбу. Элен должна была вот-вот появиться в подвенечном, во всём белом, в кругу подружек, как в венке, и он – тоже соответствуя случаю, был в атласном фраке, и кажется, с цилиндром и с белыми перчатками в руке. Он ждал поодаль, оглядывая толпу приглашённых, чувствуя себя собранным и вполне спокойным, и старался только не смотреть в тот угол, где был фуршетный стол: там сидела мама и очевидно ждала от него какого-то жеста, кивка или приветствия. В общем, он должен был подойти и сказать ей и окружающим её дамам какие-то необходимые в этих случаях несколько слов. А

он не желал. Поэтому между этими двумя углами стало нагнетаться напряжение. Оставаясь внешне абсолютно невозмутимым, он страшно потел от этого усилия, пот тёк ручьями – по спине и вдоль рук из подмышек, и пахи потели и истекали в туфли довольно-таки неприятным, клейким и вонючим потом. И вскоре эту накалённую нить между ними уже нельзя было ни от кого скрыть. Каждое слово мамы, которое она, по-прежнему с улыбкой, произносила в беседе с дамами, звенело теперь на всю комнату в полной тишине, и все понимали, что эти ледяные её уколы были обращены именно к нему. А стоящие к нему ближе стали воротить носы: видимо, поняли, что с ним происходит на самом деле, и думали, наверное, что сейчас уже он не выдержит и бросится вон из комнаты. Но они его плохо знали. Это было вполне ему по силам: и выслушать, и постоять, и даже если лужа пота натекла бы вокруг него, которую бы все заметили, для него это была не похема. «Надо будет – и час простою. И два. И не такое стояли...»

Потом, наконец, как свежий ветерок, вышла из дальних комнат Элен. И стала с приветливостью идти сквозь собрание гостей и одарять каждого милым и благодарным взглядом или рукопожатием. «А! – вскинулся он, не увидя на её лице ни тени страдания, ни следов горьких слёз, ни испуга, а только лишь стыд, девичий стыд перед людьми за принаряжённую и украшенную свою невинность. – Так ты, оказывается, любишь его?! Стало быть, это всё мне тут в пику устроено, да? Для щелчка по носу?» Но всё это было проговорено им не вслух, а про себя – сам он пока своего присутствия перед ней не выдал, а лишь глядел и не мог наглядеться на её мелькающее среди чужих сюртуков и воротников лицо, на пухлые её губы и на ясные глаза, в скромности и невинности которых он сам же, как ни хотел, не мог сейчас никак усомниться! И вдруг, потом, случилось с ним нечто, чего никто ожидать не мог и чему сам он, хоть и приятно, но все же был чрезвычайно удивлён. Потеряв в один миг весь свой сдержанный вид, он ощутил себя быстро надвигающимся на центр комнаты, в котором, в кругу тётенок и подруг, плавно кружилась его возлюбленная Элен. Шёл он, разумеется, не по воздуху, а по полу, но веса и касания о пол не ощущал, не ощущал и столкновения с фигурками старичков с фалдами и тётенок с лорнетками, разлетающихся от его прикосновений в стороны и под потолок, как легчайшие щепочки. Их разносило под его рукой, как будто в секунду ураганом срывало и уносило за горизонт крыши домов и обшивку колоколен. Ра-аз! И из пятиметрового листа железа, сорванного на чердаке, оставалась видна одна лишь точка над лесом. Ра-аз! И будка или гараж взлетали, словно искрой с костра, и вышвыривались из поля зрения вместе с кучей мелких тряпок, песка и обломанными комками ворон и галок. Так разметал он в три шага разделявшие их ползала гостей и бережно, стараясь случайно не повредить сей чудовищной своей силой её плечи и подбородок, мягко повернул изумлённое её лицо к себе. Изумлённое. Но... холодное.

– Так что же? – очень бережно приблизил он свои глаза к её глазам и словно выдохнул снова, но не больше, чем на глоток тепла. – Так... кто же он?

И только изумление и холод в ответ. Изумление и холод.

Тогда он столь же нежно и аккуратно посмотрел в сторону мамы. За фуршетным столом всё застыло. С каменными лицами, с разведёнными или всплеснутыми руками, открытыми ртами – кто с чем. Лишь руки мамы немножко двигались. Она смотрела сердито в пол и, не глядя, чесала волосы покойнику, лежавшему взамен закусок на столе.

– Он? – даже слегка обрадованный вернулся Одинцов к глазам невесты. – Он?

И в тот же миг по её смущению понял, что нет; что Жених её Тот, которому... Хотя Лена уже кивала, и Павлик, приподнявшись на локте и отодвинув руку Т. В., стал ему объяснять, что он тут ни при чём, и Т. В. отвернулась, горько поджав губы, и по-старушечьи плакала от нанесённого ей оскорбления. И вообще все уже

зашипели на него – но страшная правда была ему настолько нова, что он уже ничего не видел и не слышал вокруг себя: Избранник её был настолько ему не равня, настолько был удалён и возвышен, настолько всемогущ и чист, что Одинцов содрогнулся всей крепостью своих мышц и костей, застонал и стал тонуть. Стал опускаться, стекать, сбегать, уходить лестницами, отряхиваться от сочувственных рук, уворачиваться от глаз, отбрыкиваться от кошек, льнувших с нежностями к ногам, убегать; и каждый раз успевал, где можно, закрыть или захлопнуть за собой дверь, и запереть. И снова спрыгивал пролётом ниже, лез какими-то колодцами, не тратя сил на чугунные люки; полз вдоль еле подсвеченных пыльных тепловых труб, плюясь паутиной. Корябая себе руки, расплетал проволоки на подземных решётках, распахивал их и брёл по руслу городских стоков, утешаясь уже крысиным писком и вонью, преля даже в одной изодранной рубашке от жарких испарений, и с наслаждением пинал и волочил за собой густые волокна грязи в воде... Но только куда ему было! Где ему было теперь найти хоть какое для себя место?.. У кого было просить для себя угла или норы?!.. С кем мог он отныне куковать?..

– Вот запахло, – шёпотом выругался Одинцов, раздражённый уже в конце этими муками и своей неспособностью даже поплакать в трудную минуту, и вдобавок зашвырнул тапочек с ноги куда-то под дальний ряд столов, так что и не видно было, куда тот залетел. В столовой, кроме него, ещё кто-то был, но только Давида это не смущало. Он размышлял о том, есть ли у этого его состояния некий объективный предел, или он устанавливает его сам, своим собственным умом. «Если, например, сохнет гранат, то у этого ссыхания есть же фазы, и садовод, или торговец, коль хочет получить какую-нибудь с него выгоду, должен за этими фазами следить. Когда кожура сожмётся, как впалые щёки на черепе, втянется внутрь и облепит каждое зёрнышко, то разламывать такую корку не всякому человеку удобно будет, а сок давить самый раз. Но если и дальше оставить его на солнце, то – это же не кайса, кипятком-то после не размочишь – он весь пропадёт! Ну и что мне за дело? ...пусть пропадает». Одинцов ждал как чуда, что, может быть, кто-то со стороны заинтересуется его положением и со стороны определит дальнейшую его судьбу, и тогда его положение качнётся уже либо в сторону действительно помешательства и физической болезни, либо... Либо потекут в нем опять прохладные, или талые, ну, словом, какие угодно реки какого угодно чувства. Нынешнее же положение было сродни запущенной до крайней степени ангине, когда горло само себя режет и когда даже вымазанный в масле кусок масла уже ни иглы эти, ни пилы притупить не в состоянии. Сродни также запущенному воспалению конъюнктивы, когда, знаете, глазом внутри века не повернуть... «Ну, значит, и не надо тебе её ждать, – сделал он вдруг вывод из своего сновидения. – Отпусти её, Давид. Отвяжешься – она почувствует сразу... Давай, Леноч, выкарабкивайся к своему Богу, здесь всё выжгло. И дерьмо всё иссохло и не воняет, и плоть высохла и не гниёт, и сердце окаменело, так что даже слёзы не текут. И нет нам места в этой пустыне – мы увидимся на новой земле. Эта уже сгорела».

Давид прошаркал в одном тапочке до стены, пошарил между стульями и, нацепив второй тапок на один только большой палец, двинул отсюда прочь. Навстречу ему по переходу из главного корпуса двигалась возглавляемая Чечей колонна волонтеров: в пансионе готовились отразить нападение «экстремистов», и Чеча, издавшая негласный приказ о мобилизации, теперь обходила помещения клиники и, бросая взоры по сторонам, короткими распоряжениями определяла вялых, слоняющихся по зданию больных в ту или в иную команду. (Всего было три команды: караул, который должен был, сменяясь по особому графику, вести наблюдение за дорогой; спецназ – явно недоукомплектованный взвод, будни которого состояли в овладении приемами рукопашного боя и действий строем; и, наконец, бригада артиллеристов, которые тренировались в меткости бросания различных пред-

метов из окон второго и третьего этажей. К последней, самой многочисленной бригаде, по плану Чечи, в момент военных действий должны были примкнуть и основные силы персонала – нянечки, посудомойки и повараха.)

Доктор-то, Сергей Александрович, на почве разбитой любви захандрил и от руководства клиникой самоустранился; заперся у себя в кабинете и общался только с Федей, и то демонстративно не по-деловому – лёжа на диване или в кресле и через «не хочу» открывая потухшие глаза. И ладно, Бог бы с ним, если бы на месте оказалась Фатима Мурадовна, но ведь и Фатима тоже не могла пока бросить больного Жоржика и поэтому уже почти неделю отсутствовала. Прочие же сотрудники никогда инициативы не проявляли. Конечно, за порядком вполне мог бы уследить и один Федя, но... Во-первых, случилось непредвиденное: с того дня, как доктор слёг, и в течение следующих трёх дней в пансион приехали ещё четырнадцать девушек. Всем им, похоже, пришла в голову одинаковая мысль, что «эти жуткие, полные опасности дни можно и нужно пересидеть в укромном уголке»; или мысль пришла кому-то одной, а остальные просто между собой перезвонились. Вот, это во-первых. А во-вторых, Фёдор жил с Чечей. Привлекательная соломенная блондинка с жирной блестящей кожей лица, крутым бюстом и немного вихляющей, с подвизгиванием резиновых сланцев, походкой, – она стала сразу же подбивать Федю к более решительным действиям и, надо сказать, преуспела в этом отношении. Тут ещё одна из приехавших девочек, которая даже в спокойные времена мучилась манией преследования, объявила своим подружкам, что по дороге заметила за собой «хвост». Что её вели от самой Москвы два «волосатых» молодых человека (она имела в виду кудрявых) и что они побоялись сунуться в пансион, поскольку их всего двое; но, ясное дело, «они уехали за подкреплением и со дня на день вернуться». Чече только того и надо было. В тот же день во дворе перед воротами стали возводить баррикаду.

Когда Чече на глаза попался Одинцов, он показался ей никудышным бойцом; но едва она успела кинуть через плечо адъютантам: – В артиллерию! – как новобранец довольно-таки грубо отпихнул её с середины прохода к стене; Давиду надо было выйти из столовой, и он просто не придал значения тому, что тут происходит.

– А ну-ка поди сюда... – немедля кинула она ему в спину. – Э!..

Одинцов остановился, нагнулся – вроде, чтобы поправить не до конца надетую обувь, но что-то там у него не заладилось, он вообще снял злополучный этот тапочек и, прихрамывая, пошёл себе по переходу дальше. Ноль внимания.

– А главное, девочки, не забывайте, где мы с вами находимся, – сказала Чеча, обводя злыми зрачками лица подружек, – не усомнился ли кто в её силе? Нет, никто не улыбнулся. Все быстро глаза убрали. Она прибавила громкости. – Даже если очень захочется такого вот гнидушку проучить – держите себя в руках. А то подведём и доктора, и весь персонал.

50

Запах невидимого во тьме моря. Теплая солёная стена бегущего из темноты ветра и плеск чёрных волн под ногами, внизу, между ржавыми сваями причала. Соль на губах, соль на ресницах, соль во рту... А всего-то московская сырая ночь. Лена ещё бы с удовольствием постояла перед входом, но было неудобно – Гога уже давно держал перед ней распахнутую дверь и терпеливо ждал. Она вошла.

Голошпак повёл Лену в Терму другой дорогой, через институт. Главный вход был оккупирован малярами – они хранили там вёдра и банки с краской. В самой же Терме, безлюдной, гулкой, пышущей среди ночи избытком электрического света, кое-где вдоль стен были расставлены высокие деревянные трехъярусные козлы, а белые мраморные полы были устланы волнистой и густо заляпанной бе-

лилами полиэтиленовой плёнкой. В поисках Фазиля Гриша обошёл все освещённые помещения и, наконец, заглянул в дальний зал, к «мамке». Фазиль был там – у ванны. Уперев руки в боки, он стоял перед мёртвым своим детищем, рукотворной гигантской маткой, и внешне совершенно безмятежно созерцал её вывернутое наизнанку высохшее и растрескавшееся нутро.

У Гриши даже не ёкнуло. Он выбрал дорожку, по которой можно было пройти с наименьшими потерями, затем взял Лену под ручку и подвёл к Барабанщику.

51

Как известно, окна в кабинете доктора выходили в сторону флигеля, в сад. И если бы он хоть раз прислушался к тому, что ему докладывает Фёдор и подошёл к окну, то увидел бы не только что его ребяташки собирают там какие-то палки и булыжники, но и то, как жестоко долговязые нимфы кокетничают с его подопечными. Увидел бы, например, как во время отработки «броска через бедро» гигант Маслов, оказавшись под чарами волоокой Раечки, позволяет ей выделывать над собою какие-то комические трюки, терпит от неё пинки под зад и эдаким библейским Самсоном ходит по саду в сооружённом ею венке из трав. Увидел бы, что Дятел, уложенный на лопатки Катериной, так возбудился, что, сам того не замечая, вцепился своими длинными пальцами в ремешок её халата и, боясь выпустить его из рук, под смех остальных девочек болтается за ней по территории, как привязанный; что прелестницы ежедневно делают «мальчикам» новые модные причёски – Гельфину и Алабьеву выстригли машинкой узоры на висках, а Робинзону сделали такой понтовый ирокез, что он после каждого купания стал требовать, чтобы ему вновь укрепили волосы лаком. Увидел бы, что хотя полноценных случек в саду ещё не было – но ужё все к этому шло. Даже няньки уже чувствовали неладное, потому что бельё пациентов стало резко пахнуть, а на простынях и полотенцах пошли известные подтёки и следы рукоблудия.

Да! Случилось у них ещё вот что. Как это часто бывало и раньше, на подстанции произошла авария, и в один из вечеров всё заведение неожиданно погрузилось во мрак. Обычно в таких случаях сторож дядя Заур заводил в котельной маленький дизель, но, изведённый общей суматохой и персонально Чечей, Заур отпросился у Федя на пару дней и уехал – и нечаянно увёз с собой ключ от подсобки. Отламывать засов ломиком и пилить замок Фёдор не решился, потому что за такое варварство дядя Заур, вернувшись, мог учинить расправу; решили переждать до утра. Завхоз раздала нянькам свечи, и ещё несколько штук поставили на лестнице в банках. А во дворе у редута, Фёдор с Аслаханом разложили большой костер.

– Вах! – сказал Аслахан, когда его товарищ плеснул бензинчику и пламя костра взметнулось вверх метра на три. – Теперь не замёрзнут.

Сюда же, к костру, решили подавать и ужин, а так как апрельские вечера могут быть свежи, то боялись психов простудить. Но зря боялись. Пациенты, завёрнутые в одеяла, как в пончо, уселись кругом у огня, и всё это стало откровенно напоминать ночь перед Бородинской битвой. Выданное Чечей табельное оружие – палки и рогатины – ребята сложили шалашиком и дружно принялись орудовать ложками. А испив чаю, свободную от кружки руку они великодушно передавали в распоряжение той из девушек, которая села ближе – просто клали свою руку к ней в ладонь или на талию и старались больше положения руки не менять и пальцами не шевелить, или даже делали вид, что это вообще не их рука. А девушки, коварные, ещё якобы мёрзли и всё плотнее и плотнее, с кошачьей деловитостью, втискивались к ним в объятия, пока не пристраивались совсем вплотную, ребро к ребру, к своему защитнику. Нельзя утверждать, что никто из мальчиков не воспользовался «концом света». Напротив, многие, оказавшись под одним пончо со столь нежными существами, впервые этой ночью поцеловались. А кто-то, кто был смелее, сговорившись взглядом и пожатием пальцев, уходили из освещённого костром круга в

темноту и там, за корпусом или в его тёмных коридорах, снова встречались уже без чужих глаз...

Чеча с Фёдором и Аслахан с Катериной сидели в Фединой «Ниве», слушали радио, изредка запуская музыку погромче – для народа. До четырёх утра продолжалась у них эта гулянка, когда вдруг, так же внезапно, как исчез, свет прорезал все окна. И всех повели по палатам. Чудом никто не заболел.

Сергея Александровича всё это не занимало. И хотя Федя, чувствуя, что окончательно попал Чече под каблук, раз за разом всё настойчивее просил у него совета, он ничего добиться не смог. Разве что, с молчаливого согласия и к радости остальных обитателей клиники, вынес телевизор в холл и теперь стал ещё пересказывать доктору сводки новостей. Но наконец и к Фёдору пришла долгожданная подмога.

Утром седьмого дня (с момента приезда Чечи) Федя занёс в кабинет поднос с завтраком и, по традиции, начал с последних известий.

– Попы выступили на стороне президента – как мы и думали с вами. Вообще, похоже, Сергей Александрович, всё скоро закончится. Главарей всех засадили, рейды стало некому организовывать, одиночек тоже всё меньше и меньше бегают. Москва под контролем, Питер под контролем... Вот. А ещё Фатима Мурадовна заезжала утром за таблетками. Сказала, что у нас бардак и что вечером, может, она уже вернётся совсем.

Доктора дёрнуло, и он заворочался в кресле.

– Там, вроде, Жорке полегче стало, – продолжал Федя, сервируя директорский стол. – Она его теперь будет на маму с папой оставлять. А потом я его перевезу сюда. Может, дня через три. Воспаление лёгких парень подхватил, представляете? Фатима рассказала, как нашла его на дороге прямо. А мы-то с вами думали, что у них там отношения завязались, всё такое, а там вон история какая. Я её просил к вам зайти, а она говорит, будить неудобно, и уехала.

52

– ...но торопиться незачем, нужно дать ему время поправиться.

– А что с ним?

– Вы, Леночка, читали Евангелие? Там есть такая строка: «Надобно соблазнам прийти в мир, но горе тому, чрез кого они приходят».

– Да, я читала.

– Да. И поскольку Давид делал то, что *надобно*, то теперь ему очень плохо. И не думаю, что тут чем-то можно помочь. Вас, пожалуй, интересуют некоторые детали, но я человек служивый и не всё могу, – Фазиль посмотрел почему-то на Гришу. – Ну, пожалуй, самую малость... То, что сейчас происходит в городе и в других городах, – это провокация. И я один из её авторов. Впрочем, не главный, не главный. Проект назывался... – гм! гхм!.. – он как следует прокашлялся в кулак. – Прошу прощения... – Гм. «Картечь».

Гриша улыбнулся, как бы в ответ.

– Предполагалось, что одним выстрелом можно будет уложить на мартовский снежок уйму зайцев, гхе... что ж такое... Ггм!.. Надо было направить уже имеющийся у молодёжи протест из националистического русла в какое-нибудь другое – кроме, разумеется, политики. Надо было также проверить готовность всевозможных силовых подразделений; надо было утвердить авторитет верховного главнокомандующего. А ещё неплохо было бы показать наружным наблюдателям, что страна по-прежнему держит курс на рыночную экономику и гражданские свободы. Гха! Гха... попало что-то...

Вроде бы он нёс чепуху, чушь, но Лена удивлялась самой себе: она отнеслась ко всему вышесказанному совершенно серьёзно. Удивляло её и то, что она вооб-

ще может на равных вести с ним беседу. С человеком, по жилам которого, казалось, течёт не обычная кровь, а гжучий и, должно быть, невыносимо едкий для любого другого концентрат. «Вот это обаяние, — Элен постаралась представить себе, как разговаривал с ним обычно довольно заносчивый Одинцов. — И никакой он не "служивый". Что я офицеров, что ли, не видела? У меня папа офицер. Нет, этот — нет; этот — сам по себе».

— Вряд ли это всё могло бы увлечь Давида, — сказала она, когда Фазиль кончил откашливаться.

— А у меня ещё была своя, параллельная цель. Я думал про определённую породу людей — бунтовщиков и задир — где они? Если эта порода переведётся, торгаши и пройдохи разные совсем страх потеряют. Государство станет просто публичным домом. Куда же, думаю, они попрятались? Спят, что ли? — Наверное, подумал я, у них нет достойного противника, — Фазиль наклонился, задрал один из концов клеёнки и стал зачем-то поднимать его от пола. — Рожон перед ними забыли поставить — вот что. И надо было мне это проверить.

Теперь и Гриша принялся помогать Фазилю, потому что наконец понял, что тот делает. Фазиль стал укрывать ванну и раскроённый мешок «мамки» кусками целлофана, но было ощущение, что это делается им безо всякой практической цели, всё равно было понятно, что «мамку» уже не спасти и не восстановить. От обезвоживания кожа её стала безвозвратно чёрствой и покрылась ломкими сгибами, которые при попытке их распрямить с хрустом рвались и после этого ещё продолжали крошиться мелкими горелыми ошмётками, словно перхотью. Вдвоём они осторожно накинули на «мамку» все четыре края плёнки, и она, ещё минуту назад возлежавшая в центре зала подобно распластанному осьминогу, превратилась в начинку большого пельменя и сейчас едва угадывалась внутри прозрачного теста.

«А реклама это символ, — догадалась Лена. — Это корысть, которая душит сладкими духами и рядится в приятные одежды. Вон, фальшивое и уродливое уже и так вовсе прибить приносят. Не будет никто сопротивляться — всё же и впрямь развалится».

— А что, разве человек может это остановить?! — спросила она.

Он искренне пожал плечами: не знаю, мол.

— Кому же охота воевать, Леночка? Тем более в мирное время, — Фазиль хлопал в ладоши, поднимая вокруг себя «мучное» облако побелки, и сразу постарался сдуть его в сторону. — Фу-фу-фу-у!.. Да к тому же воевать с тем, кто называет себя твоим другом, веселит тебя, угощает... Фф-у! — теперь он осматривал свои брюки и туфли, думая, как бы счистить белые полосы, но потом махнул на них рукой. — Никому. Вот Давид мне помог.

53

— ...как соль, которой натирают мясо, чтобы уберечь его от гниения, — слова эти повторялись жрецами с определённой периодичностью. Кроме того, были мастера, которые знали, как раскрыть человека, чтобы слово в нём прозвучало. Массаж, бани, хоровое пение — разные есть способы. Колокола тоже нас открывают, но не так быстро. Те, кто открыт, сами подставляются под колокольный звон, как женщины ультрафиолету; дают себя «обстучать», снять всю шелуху с неподвижного, звенящего колоколу в ответ центра. И ты... В детстве ты был ещё нормальной мембраной и принял Слово. И теперь это мешает тебе жить в своё удовольствие — вот и всё. И радуйся. Другой и в детстве уже не мог ничего принять — мембрана была уже слишком жёсткой... — Фазиль «снизошёл» и чуть дополнил свой ответ. — Нужду можно уголять и нужно. С жадностью же необходимо бороться.

— Всего и делов! — завёлся Давид пуще прежнего, чувствуя, что Барабанщик опять водит его за нос.

– Да. Но только граница тоньше волоса. Чтобы её различать, нужно внимание, как у канатоходца. Это так трудно, что многие решили, что проще удерживать себя в сильной нужде, чтобы уж не ошибиться в этих двух состояниях.

– Хороший способ! Но разве с точки зрения канатоходца это не всё равно, что на всякий случай сразу упасть вправо? Чтобы уж не маяться, а?

– Ну, почему – они действительно специально смещают центр тяжести в одну сторону, для лучшей координации.

– ...тогда почему именно вправо? В смысле, почему именно в нужду?

– Тоже есть логика. В нужде, в нищете – противнее, а значит, у них и меньше шансов потерять внимание.

– Ну ладно... Всё равно не понимаю, какое всё это имеет отношение ко мне. Кто объяснит, чего должен делать я?.. Никто? – Ладно, порассуждаю вслух. Положим, я ощущаю злость. Злобу. Она вырастает во мне в ответ на тысячи разных мелочей. Достаточно мне... я не знаю, радио, например, включить в машине – и я чувствую, как она растёт. В ответ на тусклые напевы наших рокеров, на их загашённые бездельем голоса, которые они выдают за «надтреснутые от страданий». От имитации тревоги, с которой дикторы читают новости, от имитации свободы, которой поливают меня задорные ведущие... А ещё по пути какая-нибудь смуглая лань на джипе: скривит губки, полезет «по своим делам» в мой ряд, перекроет мне дорогу – и всё. Когда я приезжаю сюда – мне уже самое время идти в ванну и лечь под ваши барабаны стресс снимать. Разве я не больной? Но вы говорите, нет, напротив, ты то, что требуется. Мне, разумеется, лестно, а между тем, может быть, мне лечиться надо, а не сиять тут от удовольствия, что я такой редкий экземпляр. Может, у меня, что-то с щитовидкой или с жёлчным пузырем? А вам с Гришей просто выгодно зачем-то меня в неведении держать, а?

– Ты здоров. Я тебе говорю что есть. Во что верю, то и говорю. Тебе, возможно, никак не удаётся с этим свыкнуться.

– Я не понимаю, Фазиль. Не могу отличить одно от другого, устаю от того, что не понимаю. Сержусь. Вот мне не хватало ещё от этого сердиться. Почему же, почему я не могу выдержать этого «непонимания», не знаешь?

– Знаю, – Фазиль опустил голову и раскрыл на коленях пухлые ладони. – Если потерпишь без ответа ещё немного, то дождёшься качества. Ответ имеет такое свойство. Нетерпеливые довольствуются скоропортящимся мясом и молоком. Кто способен потерпеть, кушают мёд и пьют вино. А самые стойкие получают знание в алмазах.

У Давида в голове мелькнули мохнатые руки мистера Бэггинса, сжимающие Аркенстон, – из их любимой с Павлушей книжки. Мелькнуло «небо в алмазах» Леннона, «голубой карбункул» Холмса, Флоризель... «Ладно, я потерплю», – сразу же согласился он, чувствуя, что ради такой добычи стоит сидеть в засаде столько, сколько положено. А сколько положено? «Сколько придётся – столько и положено», – ответил он сам себе.

И вот спустя почти два года, находясь уже на самой границе разочарования, уже в «обугленном» состоянии, он припомнил Барабанщику этот разговор.

– А что мне в этих алмазах? Зачем они мне? О чём вообще речь? Тут каждую минуту пропадает то, что рядом, что вокруг, что внутри... Всё на соплях держится; у меня скоро кишки от злости засохнут, а мне предписано терпеть, чтобы ответы в виде камушка получить. Да пошли они, эти «венцы», или что там ещё они означают! Всё! Не нужно!

– Ну, давай ты мне объясни, что пропадает, а я тебе скажу, что это за камушки.

– Да вот же – я! Я пропадаю. Ну как же так? Мама умирает, а я ей простить не могу... Как же, что...

– Что?

– Я не знаю, «что»!.. Я люблю Элен, но – до того стал противен себе, что целовать её не могу без брезгливости. Всё время свою вонь ощущаю и морщусь, а каково ей это видеть? А ничего поделаться нельзя...

– Значит так, слушай, – оборвал его Фазиль, приобнял за плечи и, плотно придерживая, даже прижимая к полу, повёл по коридору. – Алмазы те, конечно же, не нужны. Сами по себе они ничто, такая же сопуха, как и всё прочее. Но...но... Есть у них одно свойство, одно свойство... Одно качество, которое может, очень даже может человеку пригодиться. Если он с ними долго имеет дело, то он это свойство, это качество, может потом, в будущем, опознать в другом.... В чём-то другом, понимаешь? Это их природное свойство.

– Плотность? Прозрачность? Твёрдость?

– Да, да, да, да – плотность, прозрачность, твёрдость! Да, да... Где только он будет искать им подобия, в чём? Чему он эти качества сможет, в конце концов, уподобить? Вот! Вот в чём загвоздка. Но и она разгадывается; легко, в один момент, и неизбежно разгадывается каждым рождённым, потому что каждый человек умирает и в момент смерти кое-что всё-таки видит, понимаешь?

– Не совсем еще...

– Ну ладно-ладно, ты-то ещё не умираешь, ещё поживешь немножко-то, а, друг мил-человек? Поживёшь? – Фазиль не пойми чего делал с ним; тряс его за плечи, заглядывал с глупой радостью в глаза и всё куда-то волок, волок его по коридорам своей Термы вглубь здания.

– Да, да, да – поживу, поживу... – Давид вдруг почувствовал, что внимание Фазилия приковано не к разговору и не к маршруту их быстрой ходьбы, а к чему-то ему в области его пупка. И что он словно тянет и тянет из него невидимую жилу, и всё накручивает и накручивает её себе на кулак, и чувствовал, как в ответ на такое насилие всё больше и больше разогреваются все его кишки в животе....

– Всё! Хватит! Пойду я. Я только зайти хотел... Спросить зайти хотел... зайти просить... Да что такое?! – заорал Давид, отпрыгивая от Барабанщика не меньше, чем на два шага. – Что происходит?! – с верхнего неба у него стала обильно выделяться тёплая слюна, которая потекла не только внутрь, в горло, но и наружу, по губам, ещё больше подчеркивая онемение гортани. А живот словно превратился в один слитный, вздрагивающий и – точно! – похожий на большую мембрану орган.

– Ничего не бойся, – сказал Фазиль и шагнул к побледневшему Одинцову, которого в груди, в животе и вообще вдоль всей спины колотила упрямая дрожь. Шагнул, думая прижать его к стене. Но тот стал сопротивляться, выскользнул и, с трудом выплёвывая из себя слова, сказал, что ему сейчас «не надо ничего, ничего нового, никакой магии, гипноза. Никакого пробуждения... Что ему надо сейчас разобраться с Элен, с Павликом и с мамой, и что он лучше пойдёт». Одинцов всегда был, мягко говоря, равнодушен ко всему мистическому. «Если захотят что-то сказать мне – скажут и на понятном языке, а в загадки играть – не хочу. Не хочу!» Он тогда дождался, что Фазиль, явно расстроенный таким поворотом, сгинул где-то в глубинах своего института, сам прислонился, осел по стене вниз, посидел с минутку и в самом дурном расположении духа уехал в больницу к маме. Причём на Садовом его вынесло на встречную и он имел все шансы маму перегнуть – что и витал ему битый час приземистого вида высокий гаишный чин.

У мамы точно последние дни уже шли. И она доводила его с Элен, потому что всё время спрашивала, что там, где там её Павлик. А Павлик уже месяц как был в Америке, пердюхал там по кочкам, где-то уже в Коста-Рике.

А как он всё же быстро его тогда уговорил! Крыса, загнанная в угол, обладает силой феноменальной и может перепрыгнуть препятствие, которое в семь раз выше неё. Ха-ха! У него было сил не меньше. Больше. Из учебника анатомии он как-то узнал, что за всю жизнь человеческое сердце совершает работу, равную

такому усилию, которое может зараз оторвать от рельсов гружёный железнодорожный состав вагонов из пятнадцати, поднять и вознести его ещё на пять километров в небо, так что с земли останется видна одна только тонкая змейка. И похоже, что часть этого усилия он вложил тогда в их разговор. Павлик подчинился просто потому, что почувствовал разницу между своими проблемами и чем-то бушующим, что передавалось через Давида, причём даже когда тот вообще молчал; разницу между сиянием бесшумно клубящейся на Солнце плазмы и его холодным отражением от поверхности Луны.

«Ты пойми, – говорил он Павлику тихим унылым тоном, глядя в пол и ничем, вроде, не выдавая свою горячку, но даже каждое движение его ресниц было просчитанным, огненным и настаивало на подчинении. – Маме лучше думать, что она тебя не расстраивает. Она же видит, что ты пугаешься. Дай ей маленькую передышку, Паш, – дай ей поболеть, не стесняясь ни своих стонов, ни запаха лекарств. Иногда это лучше помогает, чем все врачи. И потом... – Одинцов сыграл замечательно и сомнение, говорить ли Павлуше про деньги или нет, и то, как потом, наконец, решился сказать. – Я готовлю её к операции одной, уже даже деньги заплатил, но, как сказать... Мне надо быть рядом. Ты же знаешь, я с мамой никогда не рвался жить, но сейчас надо. А я тут подписал договор, что напишу ещё одну детскую книжку, про путешествия, ну, и выбил себе аванс – под то, что мне надо проехать по всему маршруту. Короче, ехать должен ты. Я тебе дам переводчицу и секретаря. И я знаю – три месяца у тебя есть – так что мы всё успеём...».

«Какие три месяца, что ты? Куда я должен ехать?!»

«Поедешь, и всё! Хватит ныть. Знаю я все твои дела. Отложишь. И потом, Паш, не надо только мне тут «ля-ля», что для тебя это не по силам. Кто мне, б...дь, всё детство на ушах висел, что мечтает вокруг света объехать! А тут три месяца максимум. Мне нужно от тебя одно: чтобы ты писал мне письма. Как в армию, помнишь, ты мне писал? Вот точно такие же. Я уже весь сюжет придумал. Мне нужны именно письма путешественника. Неопытного и даже, прости, трусливого. Но тонкого и одарённого, ясно? Не писателя, ясно? Мне нужна логика внимания не писателя, а маменькиного сынка, ясно? Что он будет замечать, чему он будет удивляться. Как он будет реагировать. Мне нужно от тебя два письма в неделю. И всё! Единственное, что... Я не знаю, как попросить об этом Лену твою. Ну, чтобы она тебя отпустила?»

«А Татьяне Васильевне как скажем?»

«Да что! Маме-то я знаю, что мы скажем, если, конечно, Лена поможет. Мы ей скажем, что у тебя гастроли – Чехия, Польша, Словакия. Дни русской культуры. Ей только сил придаст побороться... Ты вот с Леной мне помоги придумать что-то...»

«А Лене просто нужно правду сказать, ты Лену плохо знаешь, Мойзес. С ней лукавить ни к чему. Она, во-первых, тоже Т. В. желает всего-всего и меня, кстати, давно уже за мою панику корит: что я не выдерживаю, что бегу из дома, что к больной подойти боюсь. Но главное, она тебя уважает и поэтому сразу сделает что ты попросишь. Честно.»

О-о, как он горел весь разговор, весь тот час. Как невидимо плавилось вокруг него мироздание. И какую же скорость он развил к этому моменту, что уже не ощущал жара, не обжигался, и так, видимо, думал мчаться и дальше, наперегонки с совестью. В прохладе рассеяемого воздуха... И во-она куда за полгода заехал!

«Сейчас догорит огонь, и она обступит вновь. Вон, догорает уже...»

Одинцов стоял на галерее, высунувшись как раз из того самого окна, откуда неделю назад наблюдал за его шагами Жорж. Над «Кубой» шелестела глухая ночь, прерываемая лишь иногда азартным треском поленьев и приглушёнными голосами Чечинового потешного войска. Из палаты костра видно не было, загоразживал

козырёк подъезда, и он с большим трудом притащил себя на третий этаж – посмотреть на живое пламя. Но смотрелось ему как-то тупо. Он никак не мог найти себе место. Не географическое, не биологическое, а... непонятно, какое. Непонятно. Место, заняв которое, он смог бы ответить на короткий список вопросов, на которые он уже год не мог ответить.

Как метроном, подстраивая частоту под одиночные выстрелы костра, он стал в который раз зачитывать своему тупому уму этот список – ну а вдруг?..

– Любишь ли ты Элен?

– Почему убежал от Элен?

– Вернёшься ли ты к Элен?

– ...

– Любишь ли ты свою мать?

– Почему не простишь свою мать?

– Пожалеешь ты её хоть сейчас?

– ...

Искры пролетали мимо него по одной, прочерчивая в черноте золотистые, в волос толщиной, пунктиры. «Наверх летят... вверх летят ...» – Нет, ты отвечай!

– ...

– Как ты мог загубить Павлушу? Почему промолчал? За что ты его?

– Почему ты всех ненавидишь, Одинцов?

– Почему ты отправил на бойню детей?

– Почему не признаёшься ни в чём?

– Ну, говори, кого ты боишься, а?

– А кого ты любишь?

– Ну хоть кого-нибудь ты любишь?

– Что, никого?

– А кого?

– А?..

– Чёрт! Почему ты молчишь, дубина?.. Почему?!

– ...Я Ф е д е р и к о л ю б л ю, Н и н о л ю б л ю, – застучал вдруг азбукой Морзе Давидов мозг, будто передавая ему чужое сообщение. – М а р ч е л л о л ю б л ю. Ч а р л и л ю б л ю, л ю б л ю Л у и, А н д р е я, Т о л ю и К о л ю л ю б л ю. Л ю б л ю Н и к о л а я, И с а а к а – о ч е н ь л ю б л ю. О с и п а. Ю р и я. В а р л а м а. И о г а н н а, Э р и х а, К у р т а. Д ж о н а, Д ж о н а и д р у г о г о Д ж о н а л ю б л ю, и е щ ё о д н о г о Д ж о н а, и Р о б е р т а, и Д ж и м м и. Ж а н н у и Д и м у; М а й к а; Д ж о н н и. Д ж о а н л ю б л ю. А н ж е л и к у, Р а у л я и К р и с т о ф е р а; В а с и л и я с В и т а л и е м л ю б л ю. Е в у, М и л у и Б р ю с а.

– Чего же ты их в одну кучу-то?

В ответ на эту ехидную репличку в голове у Давида наконец-то произошло замыкание. Ткнул он, наконец, электродом куда надо. – Ц-ца! Цц-ца! И вспыхнув голубым и белым, пошла, наконец, шипеть нормальная сварка; целенаправленно и молча, не отвлекаясь больше на верещание и упрёки, затолкал Давид свой внутренний голос в железную бочку и молча зашил на ней оба dna рыжими огненными рубцами швов. – Ннц-ца! Иннца! – управился он где-то минут за пять, опустил руку, стянул с мокрого лица маску и бросил. Бом... Бом... Бом-бом-бом. Тук-тук-тук... Тук.

Давид стал глубоко вдыхать; необыкновенно сырой и пряный воздух, разбегаюсь издали, налетал на него с невесомыми объёмами и целовал, целовал, целовал его прохладой по всему телу; в шею, в уши, в макушку, в руки, в глаза. Залетал ему в ноздри и в рот, и, неуёмный, лёгкий, тут же вылетал обратно, наружу, из

окон галереи в ночь, и летел, летел наверх, догоняя и зацеловывая маленькие напуганные искры до смерти...

Бессловесно воспринял Одинцов всё произошедшее с ним; сдержанно. Слегка нервничая оттого, что вскоре опять должен будет остаться наедине с тоской, стал он бродить взглядом по звёздным россыпям. Молча поднял голову и долго, озираясь, оглядывал бескрайний водоём цельного громадного пространства перед глазами, словно с кормы. Долго. Пока не различил летающие оттуда безмолвные рулады. Мало кто может с Земли вот так, просто, слышать эти не слышимые уху песни и видеть эти не видимые глазу картины; трудно внимать им и не сомневаться при этом без конца в их реальности, и не переспрашивать по сто раз их молитв, их имён и дел. Но в безнадежном положении, когда всё привычное тебя предаёт и бросает, такие чудеса иногда случаются. — Ну и что ты смог разобрать, братишка, в этом инфразвуковом регистре? — можно было бы спросить везунчика. Но Одинцов вряд ли стал бы отвечать. В одно мгновение заполнился он водою до краёв, исполнился весь её колыханием, потяжелел непривычно, и осторожно, мягко, с уважением к каждой капле долгожданного нектара, опустил голову.

И тут в белки ему как прыснет электрический свет, как взвизгнет кто-то внизу, как захлопают недружно испуганные психи в ладоши, — другой бы пошатнулся от неожиданности, а Одинцов — нет. Опустил глаза и не торопясь, словно никогда раньше не ходил вертикально, отправился в свою палату.

54. СЫН ШИШКИ

— Ну и ничего страшного. Ничего страшного! — оправдывался Павлик, в который раз лова шпеньком пряжки растянутую, как комета, дырку на ремне.

— Да, конечно, тебе сейчас просто всё равно, лишь бы на самолёт не опоздать! А что там другой человек может чувствовать, тебе и дела нет!

— Ну, почему?!.. — он и сам чувствовал, что всё остальное превратилось в фон, в расхлябанный, потакающий выпившему зрителю аккомпанемент тапёра; что он сейчас даже глаз не способен оторвать от бестолковой пряжки, вернее, от ремня, который никак не хочет затягиваться, — убрать с чемодана руки, прекратить тужиться и сказать ей всё то же самое спокойно и рассудительно — не может.

— Ну почему ты так решила, что мне всё равно? Я с ним больше тебя подружился и лучше тебя знаю, что будить его в пять утра — это перебор. Он перепугается только. Один сумбур получится.

— Да посмотри на себя! Ты же вон покраснел весь от напряжения, баул свой утягивая! Тебе же так не терпится, что вон даже пальцы трясутся.

«Правда — трясутся...» Паше хоть и было обидно и даже больно от её уколов, но тем не менее и это тоже оставалось фоном, более того — радостным фоном, как если бы тапёр, весь вечер без конца озвучивающий бесшабашные драки и погони, вдруг вывалился бы, не взглянув на экран, в мелодраматическую сцену. «Надо успеть, должны успеть, обязаны успеть!» — тарабанил он себе буги-вуги, и ругаться ему сейчас даже нравилось; с Леночкой он никогда бы и не подумал голос повысить, а тут, пожалте, кричит в ответ во всё горло.

— Да почему ж «мой»-то, чемодан, Ань?! Какой же он мой? Он такой же и твой! Ты, знаешь, не передёргивай!

— Да пошёл ты!.. — Аня бросила в него невесомой своей ночной сорочкой, но та, не долетев, расправилась на миг розовым облачком и соскользнула обратно по воздуху на край её кровати. — Пошёл ты! — она перестала одеваться, села к нему спиной и ссутулилась.

— Нет, это ты, Ань, «иди»! Если кого и посылать, то не меня надо — а тебя! Чего ради ты полночи тянула? Чего было вечером не сказать, когда мы пришли? И что

это за бред у тебя в голове, что ты остаёшься?! Что с тобой?! Ты рехнулась?.. – На! – с выдохом надавил он на раскрытые губы чемодана – они сомкнулись; шпелёк, наконец, воткнулся в глазницу, и Павлуша, наконец, поднял голову. Она, ясное дело, плакала. – ...Ну чего ты? – Рябинушка...

Ну, это уж вообще издевательство – напоминать ей сейчас о конопушках на спине. «Самого там красотка ждёт. Вот он и торопится...» Аня залилась пуще прежнего. Он был уже рядом и стал целовать её голые плечи и спину. Но поцелуи казались ей предательскими. «Ему тут рожаешь, вынашиваешь, спасаешь его... а он...»

– Мы же не можем тут остаться, рябушка... – нежно забубнил он ей в веснушки на шее. – Я же не могу быть овцеводом... Рыбонька. Анчоус. Ну, пэр фавор. Но ллорес масс... Будь моей женой, дарлинг...

– Ты женат.

– Ну вот. Правильно, я же должен всё соблюсти... Как же мы можем остаться? Поехали, Кеша. Ну?

– Я не прошу тебя ничего соблюдать, – продолжала реветь Аня. – Ты можешь поступать там как хочешь. И я боюсь, что если буду рядом, то стану навязывать тебе...

Павлуша по-людоедски «объедал» самое вкусное с её шеи и долго не замечал, что в дверях стоит Зои. А как только заметил, тут же отпустил Анну Фёдоровну и строго обратился к девочке.

– Поднимайся, Зоя, – Паша и сам тоже поднялся. – Мы уезжаем домой. Одевайся.

– Амой! – выговорила по-своему Зои. – Амой?

– Амой-амой! В Москву!

Аня прикрыла грудь рубашкой и стала шарить под кроватью лифчик.

– Зюечка, милая, – засуетилась она, стараясь быстрее уже привести себя в порядок и успокоить ребёнка. – Папа нам билетки купил, и тебе тоже билетик купил. Мы сейчас поедим. На автобусе поедим. Потом в город приедем. А потом полетим. Иди сюда, маленькая моя.

Зои как-то нагло, совсем, то есть, незаинтересованно, подошла к ним на расстояние одного шага и стала в упор их разглядывать. Паша даже проверил ширинку. Потом девочка, видимо, спросонья ничего не разобрав, обняла Анну Фёдоровну за шею, залезла к ней на колени и, склонив голову, закрыла глаза. «Спит ещё. А ведь нам уже через час надо выходить, с таким-то чемоданом. Даже лучше минут через сорок. Вдруг автобус раньше пойдёт. Надо идти даже не к шести, а к без десяти шесть».

Павлик точно помнил, что автобус идёт в шесть с чем-то, но вот «с чем» именно – забыл. Это был тот самый автобус, на котором они с падре ездили намеренно в Сан-Карлос. Туда он прибывает в двенадцать. А самолёт в два. «Успеем!».

Позже, уже в самолёте, он подумал о том, что в автобусе элементарно могло не оказаться свободных мест. Но им повезло. В прошлый-то раз они целый час ехали с падре стоя, прежде чем кто-то вышел и они смогли присесть. А ближе к конечной остановке народу набилось – не продохнуть. «Правда, был понедельник. А сегодня – раз-два-три-и – сегодня – четыре – пересчитал Паша последующие ночи. – А сегодня пятница...» Пятница! Значит, в Москву они прилетят в субботу! «...Или как... – он снова достал билеты и стал просматривать все отметки. 21.30 – это вылет откуда? Из Мадрида... Так, значит дома приземлимся уже в воскресенье. Боже, Боже, Боже... Ещё три таможни проходить, три границы. А вдруг нас завернут с Зоиними бумагами. Как они её смогли в паспорт вписать? А вдруг они что-то не учли? Вдруг заметят, что это подделка? Что фотография прилеплена как-то не так?» Он захотел ещё раз спросить у Анечки, что ей сказали их опекуны, когда в его отсутствие привезли документы. Спрашивала ли она их о том, как проходить границу, про что им надо говорить на границе, про что им не надо го-

ворить... но Аня спала. По-цыгански, неряшливо открыв рот и запрокинув голову на голову Зои. «А куда мы поедем в Москве? Ко мне? К нам? К Одинцову? Точно! Поедем в бабушкину однокомнатную... Одинцова на Гоголевский выселим. А потом я отпишу эту однушку Леночке. Это же моя квартира, так что я могу ею распорядиться как мне угодно. А как мама Таня обрадуется и Анечке, и девочке, и что у меня будет ребёнок...» Тут Павлуша осёкся, потому что буквально почувствовал на себе пронзительный взгляд Т. В. и понял, что это не факт, конечно, что она обрадуется. Губы сожмёт и попросит не шуметь, вот это уж точно. «Да, не факт, что она обрадуется... Ох, что ему предстоит пройти там, в Москве. С Леночкой весь кошмар, объяснение; со всеми у себя в филармонии тоже; Давида выселить тоже будет не просто...» Паша откинулся в узком для него кресле и жалобно, словно ища защиты, посмотрел на исчезающие в углу иллюминатора горы. Анды. Мерцающие сахарные головы. Где-то там оставалось дымное Лаго Диамант и растреклятое Дьявольское озеро, и Зухра... Её глаза чёрные... «Почему же она тогда мне улыбнулась?» – задал он себе риторический вопрос, с грустью разглядывая тёмную и уже вечернюю пампу внизу. Противоположная солнцу стенка иллюминатора слепила ему глаза отражением заката. И он опять, от всего сразу, затомился, забеспокоился, и пока это неуютное утробное чувство снова не переросло в страх, привычным жестом подозвал стюардессу; девушку с жемчужной улыбкой.

– Senora, whisky once more, per favor! Quadrupule, per favor!³⁴

И так он проделывал еще трижды, пока, наконец, не заснул.

Можете себе представить, сколько он выпил, перелетая потом из Буэнос-Айреса в Мадрид, а затем из Мадрида в Москву? Постарайтесь, и тогда вы поймёте, каким его увидела Лена. В семь утра на пороге их квартиры на Гоголевском бульваре. В свитере, в бриджах чуть ниже колен и в сандалиях на шерстяной носок. Четвёртого апреля.

Он вышел из рассветного сумрака парадного, на пороге замер и шагнул к ней в темноту прихожей. Обнял, накрыл её сверху огромными своими руками.

Два чужих уже человека. Два родных – навсегда. Она нюхала его, стискивала то так, то эдак в объятиях, чесала об него свой нос, лоб, слушала, прижав ухо к животу, как звучит его голос, – и потихоньку стала укрепляться в том, что кошмар для неё заканчивается. Что это он, её Паша, преданный ею, обманутый и отвергнутый – он всё-таки живой, и это значит, что у Одинцова тоже есть шанс выскользнуть из своих терзаний, вырыть себя из могилы и выкарабкаться. А Павлуша, который то и дело проваливался в сон, будто в обморок, через некоторое время с ней заговорил, стал что-то ей объяснять, источая резкий, чисто шотландский перегар; сказал, что про Т. В. он уже знает, спросил, знакома ли она с Гогой и может ли Гога тоже войти. Лена оторвалась, наконец, от его пахучего тела, отвалилась к зеркалу, включила машинально в прихожей свет и тогда только вспомнила о том, что почти раздета.

– Да, конечно... Пускай, войдёт. Идите на кухню, я сейчас.

Павлуша заглянул к ней в комнату через минуту и нарвался на её очаровательный голый силуэт на фоне окна; он зажмурил глаза и, отвернувшись, произнёс в стену заготовленную фразу.

– У меня там появилась другая семья, Лена, – серым от усталости и бессонницы голосом сказал он, не испытывая никаких благородных чувств, а только неловкость, что так неудачно вошёл. – Я решил, что лучше, чтобы ты сразу узнала, что... между нами... Что мы...

– Да. Я уже знаю. А ты, наверное, ничего не знаешь про меня?.. Или Гога тебе тоже сказал?

³⁴ Синьера, еще один виски, пожалуйста. Четверную порцию, пожалуйста. (англ., аргент.)

- Нет... А что сказал?
- Что я с Давидом живу?
- Аа... – голоса не оставалось, он произнес это «аа» почти уже шёпотом. Устал он всё-таки очень. – Нет. Ничего не сказал... «Надо же! – думал про себя Паша, – Вот анчоус мой даёт, всё отгадала подчистую... Все ходы...»
- Давид не хотел, чтобы с тобой что-то случилось. Когда письма перестали от тебя приходиться, он свихнулся. Удрал от меня, потом вообще из Москвы сбежал. Я его пока не могу найти. Месяц уже.
- «– Аа... – откликнулся Паша уже вообще не вслух. – Надо бы ей про квартиру сказать...»
- Ты, может, хотел и Анну Фёдоровну сюда позвать?
- А? – Нет...
- Если стесняешься, то ты дурак, – Леночка уже оделась и быстро застелила покрывалом не разобранный даже на ночь диван. – Пошли?
- Они вышли из спальни и пошли по коридору на кухню.
- Аня уже там, дома, – бормотал Паша, идя позади неё и грузно качаясь между стен. – У Одинцова в квартире. У Гоги были ключи, он нас сразу туда и отвёз. А потом меня уже сюда. Вот послушай, что он говорит...
- Лена, не дойдя до кухни нескольких шагов, остановилась, повернулась и зашипела на него возмущённо.
- А почему это вы туда поехали? Вы должны здесь жить! У вас семья. У тебя здесь рояль. Ноты. Вы сегодня же должны сюда переехать. Тем более, что, насколько я в курсе, – с вами должна быть еще девочка Зоя.
- «Все в курсе, блин горелый! Один я до сих пор ничего не понимаю!»
- Ясно тебе? – требовала ответа Лена – она явно была смущена их разговором и поэтому вела себя чересчур уж активно.
- Хорошо, – удручённо согласился он, глядя на неё сверху вниз. – Мы поедем, но только не сегодня....
- На кухне звякнула крышка заварочного чайника, потом крышка сахарницы. Паша кивнул в сторону звука.
- Сегодня, он говорит, мы едем за Одинцовым.
- Лена, почувствовала, что у неё отнимаются ноги, и вцепилась ногтями в Пашин свитер. «Почему это – "едем"?! Что значит – мы за ним "едем"?!»
- В дверях кухни показалась физиономия Голошпака. Он поднёс к лицу большую чашку и с удовольствием размешивал в ней сахар, звякая ложечкой, как колокольчиком. – Динь-динь-динь-дилинь...
- Утро доброе, Елена! Есть хорошие новости... – он отпил обжигающего кипятка и вернул голову в коридор. – Троя пала! Ха-ха-ха! – засмеялся он сам же своей непонятной шутке, после чего его голова вновь исчезла из вида. – Ну, что же вы там стоите? Заходите...
- Паша двинулся мимо неё на свет. А Лена, как русалка на замороженном хвосте, запрыгала за ним на прямых ногах.
- Здравсьте...
- Мне ещё штаны нужны нормальные, куртка, – едва войдя на кухню, опять забубнил Паша, в панике глядя на окружающие его знакомые предметы, на жену и на Гогу – он настолько изо всего этого вырос, что было даже неловко. – Ещё я, конечно, извиняюсь, мне наличные деньги нужны. Что же я буду стрелять по десять рублей на жвачку?
- А как Давид себя чувствует? – моля Гогу глазами о пощаде, спросила Лена. Пашу она даже не услышала, но он опять, тут как тут, встрял.
- Далеко ли ехать, ты его лучше спроси! – посоветовал он Лене, отцепляя её руки от своего свитера. В довершение всего, что на него обрушилось, Паша совершенно не мог сейчас понять свой организм. Чего он хочет? Вымыться? Выспаться? Поесть? Попить? А если попить, то чего – кофе? Чаю? Молока?.. «О, нет-нет, только не молоко... Чай! Лучше чай...».

– Далеко, – откликнулся Голошпак.

– А мы на этой же машине поедим? На той, что и сюда? – отвлекал их Павлик вопросами от дрожи в руках и попытался организовать себе чай, но крышечку на чайнике забыл придержать, и она упала на стол. «Подумают – алкаш, алкашом стал. А я только три часа спал... И вчера не больше...».

Он стал греметь ложкой в два раза громче, чем Гога: ДИНЬ-ДИЛИНЬ-ДИЛИНЬ-ДИЛИНЬ... – и поэтому прослушал, что ему ответили.

– Я говорю, на этой же акуле-каракуле поплывём? – спросил он опять.

– На двух акулах, – улыбнулся Гриша.

– Ну а там – всё в порядке? – твердила свое Лена. – Он как?

– Не знаю! – уже почти смеялся от этой парочки Голошпак. – Говорю же вам, я не-е зна-а-ю!

А на «Кубе» приободрённый полученными от Фёдора известиями доктор стал оживать не по дням, а по часам. Окончательно ему надо было ожить уже к вечеру – и чтобы никаких следов поражения... Он наливался энергией так быстро, что уже часа через два-три почувствовал зуд на языке и стал испытывать жажду общения. На его беду, к этому же времени созрел и единственный настоящий псих в пансионе – тот, что приехал сюда сам и сдался по доброй воле, уплатив за месяц вперёд. Уплатил, между прочим, за полный курс, включая иглоукалывание и биомеханические упражнения по Лоуэну, которых никто тут и в помине не видел. Одинцов ничего не знал про хандру доктора и потому когда почувствовал, что пришла ему пора выйти на волю, просто поднялся этажом выше и беззастенчиво постучал в директорский кабинет.

– Да-да? – услышал он с той стороны и вошёл. И оказался в роли «мальчика для битья», на котором Сергей Александрович собрался потренировать своё мастерство и в результате восстановить нужную кондицию.

Давид сказал, что хочет уехать.

Доктор пытливо его оглядел, будто мог одним взглядом пронзить скрытые слои его психики, а затем спросил, по-прежнему ли он тоскует.

Давид сказал, что тоскует. Но что вообще ему стало легче.

Доктор выдержал ещё одну длинную многозначительную паузу и спросил, а не хочет ли Давид совсем избавиться от своей тоски.

Давид сказал, что хочет.

Доктор спросил: «Почему?»

– В смысле «зачем»? – переспросил Одинцов.

Доктор поиграл желваками и стал о чём-то рассуждать.

Какое-то время Давид слушал его рассуждения краем уха, потому что никак не мог распределить внимание таким образом, чтобы случайно не оборвалась связь с тем, что уже третий день держало его на плаву. Позже, спустя минут десять, Давида заинтересовала интонация доктора. Интонация, создающая отчётливый интервал, подобно терции, со звуком, который он вот всё старался теперь не потерять и который всё наполнял и наполнял его голову, и грудь, и живот новой проточной водой. Интонация доктора искажала этот звук. Искажала направление потока, словно палочка, лежащая поперёк ручья и незаметно, с прибавлением нового мусора, других веток, листьев или бумаг, меняющая характер всего его течения. Одна только палочка. «Да о чём он говорит – ты хоть послушай».

– ...это же ваши козыри. Смотрите, как людям вокруг важно, чтобы вы не использовали их в качестве оружия. Стоит вам заплакать, как на вас бросаются ваши же самые близкие родственники и начинают уговаривать вас этого не делать. Просят вас играть по их правилам – быть уверенным в себе, активным, ну, или хотя бы спокойным. Хотя бы не мешать, да? Но на этом поле, даю гарантию – вы проиграете. У вас нет ни одной карты тех мастей, что они предлагают объявить козырными. Ни красных сердечек, ни красных ромбиков. Ни одного! Зато полно чёрненьких

сердечек и чёрненьких крестов. Теперь подумайте, а почему же они никогда не объявят козырем чёрную масть? А?.. А я вам скажу: они сами боятся проиграть, вот что. И поэтому они сами никогда не решатся погрузиться в настоящую печаль, правильно? И никогда не распахнут свои сердца навстречу глубокой скорби, да? И свой ум – они никогда не откроют его навстречу беспросветному абсурду и никогда не согласятся поменять калейдоскоп своих цветных мыслей на одну-единственную чёрную мысль, которую вы зато можете изучать месяцами. Верно? При этом они настаивают, что их большинство и значит их правила верны, а вы должны проигрывать им раз за разом или соглашаться на минимальные взятки. А мы давайте попробуем действовать иначе – вы просто начнёте обменивать свои чёрные карты на их красные по курсу один к одному. Как вам такое предложение? Согласны? Я сейчас поясню...

Одинцов сосредоточенно вслушивался в слова сидящего перед ним врача, с большим трудом определяя их вес и уместность. Потому что тот вертел словами, как гранями кубика Рубика; складывалось впечатление, что он знает, что говорит, – знает всю комбинацию и скоро покажет Давиду собранную как положено головоломку. Между тем доктор вместо этой игрушки достал из ящика стола колоду карт и тщательно её перетасовал. Руки у него были красивые, холёные. Ими было невозможно не любоваться. Но Одинцов всё же не любовался. Доктор стал разъяснять свою идею.

– Предположим, вам очень грустно, очень. Вы хотите лечь и лежать. Назовём это пиковым валетом – как фокусник, доктор выложил перед Давидом усатого фраера в синем берете. – Они говорят вам: «Лежать нельзя. Или сядь почитай книжку, или иди погуляй в парк. Или то, или сё». То есть предлагают вам бубновые шестёрки, семёрки – или, в лучшем случае, девятки...

На стол россыпью выкладывались рябиновые гроздья «бубей» и «червей».

– А с какой стати? Взамен вашего валета вам же тоже нужен валет! Или, ещё лучше, – дама. Или, ещё лучше, – туз, – производя нужный эффект, все три карты, как по заказу, появлялись точно на свою реплику. – Вам нужно, чтобы вы оказался победителем – единственным, преуспевающим, знаменитым. Верно? Тогда бы ещё был смысл отказываться от простого и глубокого желания лежать ничком. Да? А они что говорят? А они говорят: «Но у нас нет туза, мы тебе ничего подобного предложить не можем». И тут я вам открою один секрет, – доктор наклонился, сократил дистанцию до предела и, сжав складку межбровья, стал вещать хриплым разбойничьим голосом. – *Они сами никогда вам большой карты не отдадут. Ясно? Ни-ко-гда!* Это я вам говорю!.. Да... Её нужно выторговать, – он снова откинулся в кресле и вальяжно продолжил. – А это уже целый процесс, которому нужно учиться... Которому я вас научу, хотите? Всего-то нужно будет все свои уступки, ну, когда вы соглашаетесь променять сильное чувство на какое-то скучное занятие, – вот все эти эпизоды записывать себе в актив, ясно? И копить. В смысле запоминать, сколько вы заработали и сколько они вам должны. Поверьте, мир так устроен, что даже если они не хотят – но когда у вас накопится достаточно векселей на предъявителя, они ничего не смогут поделывать. Они – это Всё: всё вокруг, включая погоду, политику, здоровье, внимание окружающих людей, всех людей на земле. Разумеется, включая женское внимание и ласку, и почёт. И если вы предъявите им внушительный счёт – то они начнут, ну, может, не сразу, но частями уж точно, начнут вам всё отдавать. У индусов это называется кармой. У Пророка говорится о гуриях, прекрасных любовницах, которые ждут праведника в будущей жизни. В разных традициях это записано разными формулами, но вопрос только в том, какими порциями и по каким датам получать то, что тебе принадлежит по праву.

– Но вернёмся к вашей ситуации, – продолжал доктор. – Итак, что в ней хороше-го? Только одно – сладость и настоящесть ваших чувств и переживаний. Так да-вайте же оцените их по достоинству! Давайте найдём этим чувствам достойный

эквивалент в другой валюте. Для этого я обычно даю своим пациентам несколько недель. И когда мы с ними определяемся, на что они готовы эти эмоции променять, тогда мы выстраиваем и стратегию игры. И поверьте: больше моих пациентов никто обмануть не может. Они уже знают правду. Чёрная масть – ничуть не хуже красной. Если кому-то угодно, то вашу ситуацию можно назвать особенной или, допустим, исключительной, но её нельзя назвать заведомо проигрышной. Ещё неизвестно, неизвестно, как обернутся дела, если вы перестанете им поддаваться и начнёте играть с ними на равных, в полную силу. Я думаю...

Одинцов только сегодня под утро примирился с мамой, потому что вспомнил её молоденькую, худенькую; как она проводила его в сад и как через полчаса он случайно увидел её за оградой. Она замечталась и стояла под клёном, закрыв глаза и запрокинув своё чистое девичье лицо навстречу осеннему солнышку; может, загорала. На губах и на щеках у неё играла такая же лёгкая, как зайчики в кленовых листьях, улыбка. Он тогда подумал, что мама играет в прятки и сейчас досчитает до десяти, откроет глаза и его увидит. Он перестал на неё глазеть и на всякий случай спрятался – что ж, игра, так игра. А когда через минуту захотел проверить, как она там (он же точно не знал, до скольких она считает) и выглянул, её уже нигде не было. И такой девушкой он её больше ни разу не видел. А сегодня перед рассветом опять увидел. И распахнулся ей навстречу, а она, такая красивая, светлая, – прибежала и наклонилась к нему, и на колени... И они в этой листве кружились с ней, пока он всю воду свою ей не отдал, не омыл всё лицо её своими слезами, не омочил всю подушку...

И что было Одинцову делать? Он хотел только одного: чтобы когда он сейчас выйдет из кабинета, чтобы тут, за его спиной, звук, так равномерно льющийся с небес, не закрутили бы водоворотом в затон. Он знал, что не должен оставить эту палку в ручье, – и всё. Но он не знал, *как это делается*. Ошибиться он не боялся, Хилю-то он больной зуб вырвал леской; и себе как-то огромную занозу вытащил из пятки – а тут чего бояться? Неожиданно для себя самого и совсем поперёк разговора он вдруг протянул руку вперёд и ущипнул доктора за губу – прямо под носом. Больно – беспощадно. Как пассатижами.

– А!

– Тихо! – сказал Одинцов и так же неожиданно губу отпустил, буквально через два тиканья. (На столе стояли сувенирные часы). Одинцов увидел, как щёки доктора быстро меняют цвет – бледные, багровые, розовые, снова бледные, только след от щипка пылает, как усики фюрера, – и стал приказывать дальше. – Покажи-ка чёрненькую. Чёрненькую можешь показать? Где она у тебя – показывай... Наврал, что ли, всё?

Давид сделал едва заметное движение рукой, и доктор отшатнулся, даже отсканнул назад с такой силой, что переборщил и завалился вместе с великолепным кожаным креслом на пол. Давид поднялся, взял со стола увесистые сувенирные часы в мраморном обрамлении и встал над поверженным лекарем.

– Где чёрная? – по выражению глаз было видно, что он серьёзно озабочен поиском этой самой «чёрненькой». – Где ромбики?..

– На столе, вон они на столе лежат! Можешь взять все! – заговорил доктор, сообразив, что молчать дальше нельзя; и вспоминая, что именно ему рассказывал на днях Федя про этого писателя, что он вроде бы кому-то в лоб кинул... что кинул? Что кинул? Доктор не спускал глаз с тяжёлых настольных часов в руке Одинцова, и... и...

– Ладно, я найду позже. У меня же два дня ещё оплачено, – Давид мягко вернул часы на стол и, присев на корточки, заглянул к доктору в арку стола.

– Чёрненькую готовь.

– Хорошо. Хорошо...

Дверь захлопнулась.

Доктор довольно быстро вскочил, подбежал и прокрутил дважды замок. Довольно быстро вернулся к зеркалу и посмотрел на губу – синяк наверняка останется. Быстро подбежал к телефону, поднял трубку и замер в поисках быстрого решения. Кому? Феде? В санитарную? Сторожу? Может, позвонить в милицию? В стационар!.. Да... В стационар. Но сначала Феде!

Рука торопливо забегала по кнопкам.

– Да чего вы так испугались, уважаемый? – раздался за спиной отвратительный, опасный, слишком спокойный голос. «Обманул! Значит, стоял в нише». – Неужели вы, такой умный, симуляцию от болезни отличить не можете? Что же у вас за профессия такая лажовая? Туману мне тут напустили – красненькие, чёрненькие – а сами лопух лопухом.

Изобразив на лице грусть и обиду, доктор повернулся.

– Я излагал...

– Чего вы «излагали»? Излагал... – Давид повысил голос. – Изо-лгал! Торгуете – в чём не разбираетесь. Спекулянт вы, одним словом. Выкупаете этих, расслабленных, у одного и продаёте другому. Из болота их – и в пустыню. Им надо мышцы укреплять, чтобы они в людей превращались, а вы их всё ползать учите – они ужами шныряют, а вы им зубы гадючьи предлагаете примерить. Сами понимаете или нет? Бахвалитесь тут, как жирный купец, а всех ваших заслуг только то, что вы умеете слабости в людях замечать. «Хочешь управлять людьми, обращайся к их порокам». Наполеона слова. Смотрите – Одинцов поднял указательный палец вверх, имея сейчас в виду свой совершенно конкретный опыт, – участие в его судьбе таких явлений, как сны, как Фазиль, как Павлушина сорока, которая судьбу предсказывала. – Вот придёт оттуда проверка, спросят вас, а по какому праву ты тут управляешь? Кто выдал мандат? Смотрите, как бы в случае серьёзной проверки вам совсем не обосраться... – Давид кивнул на телефон. – Можете вызывать кого вы там хотели, если, конечно, обделаться не боитесь.

Подошёл к двери, открыл замок и ушёл.

Ушёл куда-то. Оставил Сергея Александровича перед выбором. Теперь тот уже и не знал – звонить ему или не звонить. В стационар-то действительно звонить ни к чему. А вот Феде... «Ладно, два дня потерплю... Два дня потерплю... – решил доктор, растирая ноющую губу пальцами. – Что же я не то сказал-то? Чего его так вывело? Гадючьи зубы приплёл зачем-то. Отчего он наглый-то такой, интересно? Чей-нибудь сынок наверняка, привык распорядиться – денег-то полно. Чей-нибудь сынок, точно-точно».

Грохот за дверью прервал его размышления. Он подкрался к двери и прислушался. Под ударами ног трещало дерево – взламывали чей-то кабинет. «Если он симулирует, то он ничего мне не сделает», – решил Сергей Александрович и выглянул. В коридоре никого не было, но треск продолжался.

Ему стало не по себе, и он всё же вернулся к столу, вытащил из ящика свой телефон и набрал Федин номер. После долгих гудков он ещё некоторое время слушал жужжание двигателя. И лишь потом появился голос.

– Я еду в совхоз, – кричал Федя в мобильник. – ...жа... Обещал дяде Зауру привезти гвоздей и пилы.

– Воз-ро-шай-са, – словно в раковину, прикрыв губы ладонью, по слогам отдал команду доктор. – Слышишь меня? – громче он говорить боялся, но надеялся, что Федя сообразит, что вызов неординарный.

– А-а? – орал Федя. – ...чего ...шу! Дорога плохая... Приеду – я вам перезвоню.

В коридоре тем временем послышались другие голоса. Сергей Александрович опять выглянул.

Метрах в десяти от него стояли Журавлёва с нянечкой бабой Шурой и испуганно смотрели друг на друга.

меня к себе в машину – мне стало бы гораздо легче, – думал он. – Пожалуйста, Фазиль Бахадырович, ну пожалуйста...» Но до Богучар Фазиль с ним даже словом не перемолвился. А на той стоянке – он опустил стекло и через одного из сменных водителей попросил, чтобы Гриша купил ему воды.

Гриша аж побежал. Купил «Архыз», прибежал обратно. Но стекло уже было поднято, и из передней двери руку за бутылкой уже протягивал этот парень, которого только что сменили. Голошпак чуть было не нарушил установленное правило и не постучался в окно. По крайней мере, он так долго понуро стоял у машины Фазиля, что из второй машины ему пришлось сигналить, чтобы он вернулся на место. Ещё три часа, и уже за Ростовом, но ещё перед Кубанью, новый привал. Гриша опять вышел покурить. Опять стал маячить перед глазами Барабанщика, делал вид, что мёрзнет на ветру, и, в общем, просился как мог. Но ничего – поехали дальше. Наконец в Пятигорске, когда он уже думал не выходить, подошёл водитель и сказал, что он может пересесть, если хочет. Гриша сразу перебежал, воровато заглянул в переднюю дверь – Фазиль махнул ему из темноты «заходи», и тогда только Голошпак занырнул уже к нему. Сразу снова тронулись.

– Сколько на твоих? – вполголоса спросил Фазиль.

Гриша включил подсветку.

– Полшестого.

– А.. Ну, нормально... – Хорошие машины, да? – не шелохнувшись в своём мягком кресле, пробормотал негромко Фазиль и после минут на сорок замолчал, глядя перед собою в пол. Тот мрак, который всю дорогу подкрадывался к Голошпаку и чем-то неизъяснимо пугал его, здесь, в этом салоне, оказывается, был у себя дома; равномерно распределённый вокруг фигуры командора, спустя некоторое время он мягко окутал и Гришу и стал убаюкивать его рядом с Фазилем. Дорога за Пятигорском лежала вся покрытая трещинами и ямами и утыканная крупными, как фурункулы, буграми – несмотря на волшебство немецких амортизаторов, они с Фазилем то и дело синхронно вздрагивали на просторном сиденье и немного вместе покачивались, в такт. Туда-сюда.

– Наверное, мы вот как сделаем, – после очередной длинной серии таких подрагиваний Барабанщик очнулся и ненадолго вышел из сомнамбулического своего состояния. – Вы в Москву потихоньку вернётесь сами. Без меня...

– ...? А как же?.. А Давид?

– Ну а что? – Фазиль тяжело перевалился вполоборота к Грише. – Я одного из ребят к себе пересажаю, а ты или, если что, – Давид, вы своего водителя ночью подстрахуете. Только скажи ему, чтобы он обратно уже так не гнал. Ночью-то за чем? К утру, потихонечку, куда торопиться... Я потом сам скажу.

Они въехали на участок дороги, который больше напоминал стиральную доску; водители скорость практически не сбросили и принялись вполголоса обсуждать, насколько надёжна у лимузина ходовая. На окнах были опущены шторки, они тряслись мелкой дрожью, и Голошпаку вообще мерещилось, что они летят по морю на глассере, взрыхляя и разбрызгивая твёрдые гребешки зелёной морской воды и проваливаясь после каждого крупного гребня вниз на невидимую ступеньку.

– Как там молодёжь поживает? – спросил немного погодя Фазиль.

– Павел спит ещё. Леночка, по-моему, волнуется... Разошлись мирно.

– Кто «разошлись»?

– Они. Леночка с мужем разошлись.

– Когда это они успели?

– Ну, в смысле договорились пока что. Без каких-то там разногласий.

Фазиль положил локоть на спинку сиденья и потрогал себе лысину. – Вот, значит, что – разошлись...

Григорий занервничал.

– Скажите, Фазиль Бахадырович, а может, мне можно с вами поехать? Вы потом куда?

– В Баку.

– А там что?

– А там на паром сяду. Или в Махачкале сяду, если успею.

– На какой паром?

– На автомобильный. «Профессор Гюль», например.

– Нет, ну, я хочу спросить: куда поплывёте?

– Домой. В Туркмению. Отсюда можно в Красноводск уплыть, а можно в Шевченко, в Актау, – костяшками пальцев он потёр себе веко. – Надо заехать к дочкам.

Гриша смолк. Перед глазами у него опять встал образ Зухры. Ранний восход бьёт ей лучами в лицо, и этот пар, этот осязаемый утробный дух исходит меж ослепительно белых её зубов и стекается с примороженным горным воздухом: вот мелькает он перед медным, в оспинах, лицом; вот летит выше на фоне чёрно-зелёной, еще не освещённой солнцем горы; вот он ещё выше, там, где снег, распадается на части, разваливается на ватные клочья – летит – летиит-ит – пока не коснётся сияния синего неба... А коснется – и всё – не видно его.

– А чего девочку с собой не взяли? – всё-таки силясь отгадать замысел шефа, спросил Гриша спустя минуту.

– А?

– Ну, могли бы взять Зою с собой.

– А ты потом привезёшь. Не против? Если у них тут не заладится... Ты же знаешь телефон Огульбегуль? Нет? Ну, Тамара знает все телефоны, у неё можно взять.

– Вы что – надолго?

– Я?... Да не могу решить. Надо бы немножко с дочками побыть. Месяц, может.

Гриша в отчаянии, ни слова больше не проронив, как маленький, принялся вымаливать себе отсрочку – он теперь понял, что означает его испуг и эти судорожные позывы обхватить Фазиль двумя руками. «Не бросайте меня! Не бросайте! Пожалуйста! Как же я один?... Не бросайте меня...» Когда ехать оставалось совсем ничего, Фазиль снял руку с сиденья и хлопнул его по ноге.

Но так и ничего не сказал.

Потом тот из водителей, что сверялся с атласом, повернулся.

– Вон, похоже, это они и есть, – он показал рукой куда-то вниз.

– Ну-ка погоди немного... Притормози.

Машины пересекли встречную и выехали на обочину. Фазиль открыл шторку и, сделав ладошкой козырёк от рыжего закатного солнца, вгляделся в лежащую у них за левым бортом долину. Они стояли на повороте, у обрыва – дорога была проложена достаточно высоко, – и если бы не солнце в глаза, обзор открывался бы великолепный.

В рацию зажужжал голос. «Серёжа, тут люди в туалет просятся – успеем?»

Серёжа обернулся с переднего сиденья к ним.

– Да-да... Конечно, – пробормотал Фазиль.

– Давай! – передал Серёжа, и из соседней машины выбежал Павел.

«Он еще покушать хотел. Чего у нас там?»

– «Покушать». Пусть сначала пописает, – в голосе Барабанщика не было привычного тепла. «Он устал нас обслуживать», – произнёс про себя Гриша.

– Когда у нас обычно ужин в больницах? В котором часу?

– В восемь, наверное, – предположил Серёжа.

– Ну, мы как раз к ужину и приедем, да?

– Ну да, – усмехнулся Серёжа и отвернулся к рации. – На месте поужинают, уже приехали почти, пять минут ещё.

«Пять минут! Мама! Пять минут...», – Гриша даже думал отсесть, убежать обратно в другую машину. Как же он справится?! Вон оно как накатило – всё, сейчас он не сдержится. – Отвернись. Просто отвернись, – советовал он себе до последнего момента. Но предчувствие, что он никогда больше Фазиль не увидит, что тот устал и собирается испариться, зайти в каюту на «Профессоре Гюле» и навсегда

скрыться в морской дали – предчувствие разлуки парализовало Гришу. Всегда чёткий и точный, каким бывает сапфирное кружево витража, когда солнце лепит прямо через него, Барабанщик своим присутствием освещал тёмную Гришину душу, будто своды Нотр-Дама, насыщенным синим, глубоким синим, небесным синим, и всеми оттенками синего, с каплями вспыхивающего кровью рубина, редкими изумрудными листьями и золотыми прожилками. Когда Гриша улетал в Латинскую Америку – был полдень, и свет струился сквозь Розу Юга, а когда вернулся – это была уже Роза Западного Окна, и это уже был закат. Какое-то малое время всё оставалось как прежде – или почти «как прежде». А затем прямо у него глазах свет начал терять силу, стал меркнуть, и остановить это угасание было уже никак нельзя.

– Ты чего? – удивлённо вернулся от окна Фазиль и посмотрел на уткнувшегося ему в ноги Голошпака. – Гришка! А кто командовать армиями будет? – голос у него опять был мягкий. Он мог легко поднять, вернуть обессиленного Гришу на сиденье, но не стал, а вместо этого размял ему на плечах мышцы и жилы. Потом помассировал шею и затылок. Потом они опять поехали, и Гриша, совершая небывалое для себя усилие, распрямился и сел рядом. Водитель повёл машину плавно, словно подавал её к ресторану, – правильно, зачем же перед ужином будоражить нервную систему. Через пятнадцать минут они бесшумно въехали на площадку перед «Кубой» и упёрлись двумя акульими мордами в закрытые железные ворота.

Ужин тем временем остывал на столах. Все здоровое население «Кубы», собравшееся во дворе перед главным корпусом, следило за тем, как Федя с Арслаханом штурмуют третий этаж. Словно избываясь над Чечей, Давид за пятнадцать минут истратил уже большую часть собранных её артиллеристами боеприпасов. В какой-то момент Чеча не выдержала и чуть было не подняла в атаку свой спецназ с рогатинами, но её остановило то, что появившийся на пороге своей сторожки дядя Заур решительно сжимает в руках ружьё. Судьба бабы Шуры – вот что по-настоящему взволновало и сторожа, и весь персонал. Было как-то странно, что вопреки обычной логике в заложницах была оставлена безобидная бабка, а не упитанная, румяная и поэтому весьма аппетитная Журавлёва. Всё началось полчаса назад и развивалось стремительно. Вернувшийся из совхоза Фёдор выгружал из багажника «Нивы» инструмент, как вдруг к нему подбежал его начальник, которого он никак не ожидал увидеть внизу, да ещё в таком бодром расположении духа, и потащил его в здание, в холл. Туда же немного позже спустилась зарёванная Антонина, миловидная диетичка, доросшая до «завхоза», потому что прежде успела побывать у Сергея Александровича в любовницах. Вдвоём, прижавшись к стволу пыльной финиковой пальмы и подтаскивая Фёдора тоже поближе к кадке, они посвятили его в суть происходящего.

Дело осложнялось тем, что, по убеждению доктора, Давид точно был сыном какой-то крупной шишки из Москвы. За два часа, проведённых с ним в одной комнате, – по каким-то обрывкам разговора, по его манере держаться Сергей Александрович, как он считал, безошибочно установил классовую принадлежность врага и поэтому категорически не хотел ввязывать сюда милицию.

– Ничего он Шуре не сделает. Он с ней просто играет, понимаешь? Ему нравится ощущать своё превосходство над ней. Он с ней беседует и смеётся ее глупым ответам. Про нас даже забыл. А вспомнил, так сразу же и выпустил. Сейчас она ему там про своих родителей рассказывает, врёт чего-то про революцию, а он с удовольствием слушает... Так что надо немного подождать.

– Вы и там предложили подождать, а если бы мы все втроём к вам не зашли... – закурлыкала полная диетичка.

– Да какая разница!? Ну, не всех троих, а тебя бы одну он в заложники взял?! – почти заорал на неё Сергей Александрович. – Что, было бы лучше, что ли?

– А чем он вас держал? Ну, чем угрожал? Что у него в руках? – стал допытываться Федя.

– Паспорт у него в одной руке и ключи от машины, – сухо и как будто даже обиженно отрезал доктор.

– Два паспорта, ключи и кошелёк, – уточнила Тонечка.

– Что за ключи? От вашей машины? – продолжал допрос Федя.

– Да нет же! Это его вещи, он их со склада вытащил...

– Ничем он не угрожал, – смело, видимо, в пику доктору объявила Журавлёва.

– Но Сергей... (она специально сейчас назвала доктора по имени в отместку за его фамильярность) – Сергей всё время нам мигал, чтобы мы сидели тихо и не сердили его...

– Кого? – вконец уже запутался Федя. Он-то вообще считал, что Одинцов – личный знакомый доктора и помещён сюда именно по благу. – Кого не сердили?

– Ну не меня же?! – доктор повернулся и набросился на экс-любовницу. – Ты что, думаешь, я не разбираюсь в ситуации? Что, думаешь, я не знаю, как себя вести с большими людьми?!

И тут Федя его добил последним уточнением.

– Так он что – всё же больной, Сергей Александрович?

– Ну, а то! Стал бы, наверное, здоровый склад взламывать, да? – больше доктор говорить с ними не пожелал, он совсем побагровел, насупился и стал ходить взад-вперёд перед входными дверьми.

Федя сбегал на второй этаж и привёл Арслахана. Потом вдвоём они прокрались на третий этаж и послушали: за дверью, в кабинете директора, продолжалась премилая беседа; Одинцов смеялся, и нянечка не отставала. Тогда они вывели с этажа Гурама Дживадзе, пожилого инженера, беженца из Абхазии, который отвечал в пансионе за состояние насоса и фильтров в бассейне, и его жену Нино. Потом вместе с Зурабом устроили совещание. Всю эту суету не могли не заметить психи, которые, к возмущению доктора, разгуливали по всей территории безо всякой надобности. Прибежала Чеча. Все уже собрались идти смотреть на окна кабинета со стороны сада, когда вдруг на галерее распахнулось окно и оттуда высунулась голова Одинцова. На самом деле смотрели из окна они вдвоём, но снизу был виден только Одинцов – бабуся была невысокая, коренастая, а лезть на подоконник боялась.

– Видишь её? – спрашивала она «сынка», больше для виду приподнимаясь на мыски. – Такая вихлястая? Заправила...

– В жёлтом халате?

– Точно! – бабка вздрогнула, предвкушая скорое возмездие. – Точно, сынок! Вот она и есть возмутитель спокойствия! Видал, чего навыворяла с больной-то головы? Всех на уши поставила! Двор загадила! Федьку заарканила... А сюда, нет, ты глянь, – она потянула Одинцова за рукав обратно в галерею. – Ты глянь, сколько она сюда мусору натаскала? Сама уедет, а мы будем убирать. Смотри! Со всего сада хреновины разные собирали ей, кастрюли старые, вон, макулатуру пачками. Вот бы ей бы сейчас...

Бабка закряхтела, подняла с пола загадочный предмет, возможно, обрезок резинового бортика бассейна, сваренный лучами солнца в какой-то бесформенный сэндвич.

– Там она? А? – уточнила она у Давида. – Вот сейчас бы ей залепить по башке, вот этим самым... Где она?

Видя, что бабка запыхалась, Одинцов перехватил у неё из рук эту калошу и на всякий случай высунулся посмотреть, нет ли там кого под окном.

– Ну, чего? Выбросить, что ли? – улыбнулся он.

– На голову дуре этой бросай! Ничего с ней не будет!

Одинцов прицелился на пустынный газон и бросил.

К его удивлению, это вызвало страшный шум. Нет, не от удара. Резина эта ещё и упасть-то не успела, как заорали все сразу.

– Ага! – бабка, видимо, услышала среди общего крика наглый и резкий окрик Чечи и принялась за работу. – Давай, сынок, очистим с тобою пространство. Тут делов на двадцать минут.

Она стала подавать Одинцову снаряды, а он по одному выбрасывал их из разных окон, поглядывая только, чтобы не захламлять козырёк над подъездом.

У психов, которые в полном составе собрались внизу, хоть они и помнили свои боевые места и смогли бы быстро отыскать своих сержантов, не было никаких инструкций на этот случай. Девушки-сержанты смотрели на Чечу, но и та тоже не предусмотрела подобного развития событий и не знала, что предпринять. Федя её особо не слушал, а решил действовать по собственному плану. В общем, когда раздался первый выстрел, началось нечто невообразимое. Девочки вразной завизжали. Федя с Арслаханом, которые уже почти подобрались к третьему этажу, рванули обратно. Баба Шура легла на пол и затихла. И лишь Давид, который прекрасно видел, что сторож стреляет в небо, продолжал себе спокойно выбрасывать остатки мусора. Потом он увидел, как с дороги тихо съехали две огромные чёрные машины, подкатились и встали у железных ворот, и никто за шумом их не заметил. Из одной машины вышла Лена. А потом Давид увидел... Павлушу.

Заворожённый увиденным, Одинцов замер и стоял неподвижно, так что ко второму выстрелу сторож мог спокойно подготовиться. Заур был хороший охотник, когда-то лучший в селе. Кабана он валил, оленя валил, но в человека ни разу не стрелял, поэтому не торопился. Он хотел напугать бунтовщика, шамальнуть у него прямо над головой и для пущей лихости ещё чиркнуть по волосам, так что сомнений в прицеле не должно было остаться. Но вмешался случай.

Как раз в ту секунду, когда Заур твёрдой рукой нажал на курок, Одинцов, думая, что сейчас увидит среди прибывших и Фазиля тоже, неожиданно высоко подскокил на пальцах ног. Пуля вошла ему точно в лоб.

Все всё видели. На удивление, никто не проронил ни звука. Даже Сергей Александрович. Сторож ослабил рот и, отойдя на два шага, сел на крыльцо. Оценивая острым глазом выстрел, Заур не понимал, что произошло, – рука у него, что ли, дрогнула, или же кто-то в последний момент его толкнул... Через ворота перепрыгнули какие-то люди в непривычно хороших для здешних мест костюмах. Один отобрал у Заура карабин и остался стоять рядом, держа блестящий стальной кольт вдоль туловища. Двое других, тоже с пистолетами в руках, открыли ворота, и ещё какие-то мужчины и одна женщина побежали наверх. Совершенно сбитый с толку явлением незнакомцев, доктор подошёл и опустился рядом с Зауром на ступеньку его сторожки. Он ожидал, что эти люди сразу начнут задавать ему вопросы, и готовился ответить что-нибудь существенное.

Они вынесли мёртвого из здания; Леночка, не в состоянии помочь мужчинам, но и ничем им не мешая, а только глядя во все глаза на белое с чёрной дыркой лицо, оказалась у дверцы первая. Она поняла, что её надо открыть, и сама первая залезла на заднее сиденье. Мертвеца, посадили к ней вплотную. У трупа что-то было не в порядке с задней частью головы, но они приложили ему к затылку сложенный подушкой пиджак, и Лена стала его придерживать руками, как компресс. Рядом сел Гога. Потом на переднее сиденье ещё ввалился Павлуша, и водитель, не дожидаясь, пока он закроет за собой дверь, дал газу. Лимузин выскочил одним колесом на щебёнку, крутанулся на сто восемьдесят градусов и с рёвом помчался к перевалу. Красные габариты – два пантерьих глаза – в миг поглотились сумерками леса, и всё пропало.

Фазиль вышел из машины, но далеко от неё не отходил.

– Маленький перекур, – объяснили ему ребята-водители.

Солнце ещё не село, лишь зашло за края облаков на горизонте, а теперь вдруг снова выглянуло, окрашивая их лица в красивый оранжевый тон. И Фазиль, так долго пребывавший на одном лишь ему известной глубине, тоже всплыл. На минуту. И сразу всё прояснилось. По оранжевым жестам и взглядам подчинённых он читал ситуацию лучше, чем они могли подумать. Он понял, что *Контора* и так *убрала бы Одинцова*. Теперь они немного смущены тем, что он вышел из игры без их помощи. Немного. «Ну ладно, – как бы говорят друг другу их высветленные глаза. – Всё равно. *Минус один...*»

Почему один? А кто второй?

А второй – он.

«Правильно. Стоило про "Картечь" нести, – Фазиль усмехнулся своей догадке; Контора на то и Контора, чтобы был порядок. Верно, зачем я им теперь нужен? И Давид тоже. Достали мы их со своими жёнами, параллельными целями, Аргентиной, письмами. Обнаглел я, конечно. И Голошпака на свой страх и риск они выпустили – чистый шантаж был с моей стороны. Одних паспортов наделали нам... А в благодарность за это я им все дела запустил. Всё засохло, потрескалось... Ничего, Гришка всё восстановит, в силиконовом виде. У него есть в компьютере... Будем надеяться, больше никого не тронут...»

Фазиль ещё раз внимательно посмотрел на обгагрённые низким солнышком лица сотрудников и убедился, что прав. Ему собирались помочь. «Здесь? Или в Актау? Или в море?»

Этого на лицах написано не было.

«Ну, не буду мешать, а то поувольняют ребят за такие экспромты. И не посмотрят, что лучшие кадры». Фазиль принял озабоченный вид.

– А когда «Гюль» из Махачкалы отправляется, Серёж?

– Успеваем, – откликнулся Серёжа и выбросил окурочек. – Не передумали?

– Да что я смерти, что ль, не видел... Гришка там всех утешит, будем надеяться.

– Ну, будем надеяться.

Фазиль прошагал до ворот и заглянул во двор. На него смотрело десятка три глаз. «Э! Уйма какая народа...» Он наклонил голову и качнулся пару раз на пятках.

– Так и быть, без милиции всё уладим, – изрёк он, играя роль полководца. – Идите спать. Няньки пусть всё уберут, а деда потихоньку на пенсию отправьте, – в этот момент он наткнулся на умильный взгляд директора учреждения – тот, казалось, сейчас поползёт целовать ноги.

– Что ж ты сына мне не уберёг, а? – тихо спросил у него Фазиль.

«рикки-тик...» – мягко завёлся двигатель. Катафалк, вполне достойный вельможи самого высокого ранга, ждал груз. Фазиль плюнул, шаркнул туплёй и пошел садиться в машину.

55. CODA

Два дня пролетели в заботах. Обменивались телефонами, фоткались, менялись кофточками, сговаривались о встречах. Потом стали разъезжаться. Почти все девчонки уехали в первые же сутки. Чеча свалила первая, Катерина тоже... Осталось их трое, да и то две Маши уже совсем было собрались в дорогу, как вдруг посреди дня стемнело и начался ливень.

Сад и двор, и разбросанная по двору макулатура, и развалины баррикады, клумбы в шинах, газон – всё с избытком, многократно превосходящим нужду, было залито холодными и ледяными потоками, низвергающимися прямо с неба и срывающимися косматыми струями с крыши главного корпуса. Потом начался ветер, лить перестало, и до вечера просто моросило. А к ночи и морось прошла.

Но всю ночь – жбам-жбам – падающие с деревьев капли, как молотком, стучали по перевёрнутому тазу, оставленному кем-то на крыльце флигеля.

На третий день, к обеду, в пансион был доставлен похудевший Жорж. В столовую он не пошёл, думая сперва показаться Сергею Александровичу, но Федя его отговорил. – Потом, потом покажешься – иди к себе пока, ему сейчас не до тебя! – хмуро сказал Федя и уехал опять по своим делам.

Жорж заметил, что тут тоже что-то происходило за время его отсутствия. По расквашенным в лужах газетам ходили психи в резиновых сапогах и разбирали в разные кучи ветки и ящики. Тихий Саша сообщил ему как военную сводку, что у них серьёзные потери, но они всё держат под контролем, и что о нём, о Жорже, никто ничего не знал. Но сейчас они понимают, что он был в тылу у тех «варваров», в разведке. Жоржик не стал дальше слушать этот бред и не стал сразу искать Одинцова, как собирался, а поднялся пока к себе.

«Ты посидишь, умоешься, и всё – иди к Ней. Попроси её выйти с тобой во двор. За ограду. Погулять. Скажи, что любишь на неё смотреть, что любишься её шеей, губами, коленками, – распределял себе Жорж порядок простых, но таких непривычных и решительных действий. – Начни говорить, что думаешь о её запахе, о городах, в которых мечтаешь побывать. Даю тебе полчаса – посидеть, переодеться, и всё. И вперёд!»

Он вошёл к себе в комнату, достал из внутреннего кармана паспорт с деньгами и мамин гребень. Открыл тумбочку, положил их в ящик и снова закрыл дверцу.

В этом отсеке вселенной он всё знал и мог всё перечислить. Каша. Пюре. Горячий кисель... Какао. Гудки фургона из прачечной. Запеканки на ужин. Моргающая лампа в холле. Глубокие железные раковины. Дождь... Тучи над горами. Огонёк. Машина ночью. Две машины, одна за другой....

– Так... Ну, всё! – Жоржик тряхнул головой, поднялся и подошёл к окну. «Найду, сразу-то?» – только и успел подумать он, как вдруг увидел её у самых ворот. Тонкую. Длинную. В сиреневом своём халате... Гольфы спадают, открывая икры. Чёлка прячет половину носа, но зато шея и затылок почти все голые. – Женя... Хрупкая фиалка моя... Куда унести вас? В какие земли? – Жоржик первый раз видел, как она курит; как сбивает в три касания пепел, отводя руку в сторону, будто берёзка в народном танце, и как, меняя прикус, выпускает туда же, вниз и в сторону, серый, преображённый красивыми губами и нежным горлом дым.

Что её зовут не Женя, а Жанна – Жорж вспомнил в последнюю секунду, когда переодетый, выбритый и надушенный «Ягодным» лосьоном, спустился и чуть не столкнулся со своею фиалкой в дверях корпуса.

– Здорово, Жорж! – очень приветливо и свежо удивилась ему озябшая до гусяной кожи худышка. – Ты где был-то?

– Болел...

– А... – она грела руки в широких махровых рукавах, как в муфте, и вообще от холода двигалась довольно резко. Взяла нагнулась к нему, прямо коснувшись холодным носом его щеки, притворно громко втянула воздух и «с кайфом» выдохнула, взбодрил его табачной гарью. – Ува-а!... Выглядишь супер! Поздравляю!

– Жанна!

– А?

Бедный Жоржик! Он молчал. Он видел, что она замёрзла и что нельзя, нельзя говорить слово «гулять», и «за ограду» тоже нельзя. И про города сейчас лучше не надо ничего говорить. И он бы, наверное, лопнул от глупого столбняка, если бы Жанна не двинула дело дальше.

– Чего, Жорж?! – она играючи толкнула его в бок локтем, – пошли внутрь, греться? Пошли, пошли, пошли, пошли...

«Куда? Куда же мне вести тебя? Где ж тебя согреть? – метался про себя Жорж, подталкиваемый сзади её шуточными пинками, словно крыльями ангела. – В холле не топят уже! Нужно её или в воду горячую, или под одеяло! Одинцов бы к себе повёл, а тебе – кишка тонка, так и будешь канючить тут... Смерть или жизнь?! Ну?!»

– Пойдем-ть... (– Ну-у-у!!!)... ко мне, Жанн... (Оо!) – Там можно душ горячий принять, у меня одеяла есть шерстяные... На третьем этаже – где я сплю.

– Пошли, пошли, пошли, пошли... Чаю мне достанешь горячего? Тебя на кухне премировать могут?

– Да.

– А кофеем могут премировать?

– Да.

– А коньяком?!

– Я прошу... с-прошу! (– Эх! Всё надо поправлять! Заплетается всё!)

Жанна так радостно засмеялась, будто только что изобрела новую игру и первая же в неё выиграла, оставив его в дураках. Вчера несколько часов кряду она проплакала; заревела, ещё когда первые холодные виноградины начали лопаться на асфальте, и так, за компанию, пока дождь лупил по лопухам, избивая сад, карнизы и крышу, проплакала весь вечер. И утром не хотела вставать и даже не попрощалась с Машами. Но теперь решила, что хватит. Хватит. Что пора оживать.

– Я ещё могу шампунь спросить хороший, – предложил Жоржик.

– Кофе-кофе-кофе-кофе! Главное, кофе достань! У всех закончился, а я на нём живу! Езжу! Вжжжж-ж-жи... – она нагнула голову, уткнулась теменем в его спину и стала довольно натурально с силой «поднимать» его по лестнице вверх, не вынимая руки из рукавов.

Так они и проехали: на втором этаже – «вжи-вжи-вжи» – мимо красноглазого Дятла, на третьем – «вжи-вжи-вжи» – мимо красавицы Фатимы и доктора, дальше мимо Фединой комнаты, массажного кабинета, кабинета старшей сестры, кабинета директора, его апартаментов, приёмной, склада; повернули за угол и проехали мимо комнаты «диетички» Журавлёвой; «вжи-вжи-вжи» – по галерее и мимо рабочего кабинета самого Жоржика, мимо двух гостевых комнат, комнаты Фатимы, комнаты техника Дживадзе – и въехали в самую тёмную часть коридора... Следующая дверь – его.

– Всё-всё! Стоп! Стоп... – но она упрямо продолжала буксовать тапочками по жёлтому линолеуму, пока он не открыл дверь.

– Душ слева, – Жоржик присел на корточки и стал мягко вытаскивать ключ из замка. – «А то, как назло, застрянет опять... Или нет?.. Порядок». Он выпрямился, и в глазах тут же расплылись темные пятна, начисто лишив его зрения. Он только слышал, что Жанна зашла в душ. Потом включила воду. И только потом, сквозь пелену и муть, перед ним стала проявляться его комната.

– Ну, чего-о!?!.. Пошёл ты за кофе – или всё наврал?.. Аа?

– Сейчас... Сейчас иду, – он ослаб настолько, что еле добрался до кровати. Присел и минуту, а то и две отдышал.

– Сволочь ты, Жорж, – я же слышу, ты здесь ещё!

– Иду! – попытался он оттянуть момент подъёма. – Иду!

– Стой! Полотенце дай! Слышишь?.. Дай какое-нибудь... А то я потом снова замёрзну, мокрая...

– Сухое есть только вафельное!

– Давай вафельное! – она снова там смеялась.

Он достал из нижнего ящика тумбы не такое уж большое белое полотенце. «Солнце сейчас выйдет, – он заметил, что тучи по краям лучатся. – Кофе ей захотелось...» Потом всё же собрался и встал. «Во! ноги трясутся...»

- Я, вот, кладу его на стул, – через дверь сказал он. – Кофе вам с сахаром?
- «Нам» с сахаром! – смеётся. – Ту бай ту. Две ложки кофе на две ложки сахара!
- Всё! – Я пошёл! – стукнул он дверью погромче, как доказательство.

Вот. Это и был, как вы, наверное, уже поняли, весь его секс. Экстаз, полёт, сновидение – другими словами, предел его телесной близости с этим худеньким ангелоподобным существом. А иначе и быть не могло. Ну, они ещё потом поболтали – она гладила ладонями чашку растворимого кофе, он теребил в руках мокрое полотенце – в том числе и о далёких городах говорили, включая города Центральной и Латинской Америки, о которых знали совсем мало. О Рио-де-Жанейро, о Гаване, о Буэнос-Айресе и Мехико. Из рассказа Давида Жорж Санд вспомнил ещё три названия: Панаму, Лиму и... и... и ещё этот, как его?.. Кито!

Или Киото? Нет, Киото это другой, этот не может быть Киото...

Она опять смеялась, он мялся, искал другую тему для разговора, потом стал приглашать её на Новый год, расписывать ей в подробностях их зимний уклад в пансионе – про жареного гуся рассказал, которого всегда на Рождество запекали, жирного-прежирного, жира полные тарелки всегда оставались. Про Федю-Снегурочку. Про то, как у одного психа челюсть от зевания выскочила....

Ну а потом она стала уходить, и он с радостью отметил, что губы у неё уже не синие, а щёки даже розовые, и предложил взять у него одно одеяло. Она взяла. В этот момент прямоугольник света на полу наконец-то налился блеском и вышло солнце.

– Ува-а, – сказала она, глядя, как перед её глазами вдруг зажглись в воздухе искорки-ворсинки, целым клубом взлетевшие с пыльного одеяла. «Сказать ему про Одинцова или не говорить?.. – всё спрашивала себя девушка, разглядывая кружащиеся золотинки. – А! Завтра скажу!» Подула на них кофейным духом, вскружив ещё больше, и исчезла в коридоре.

КНИГИ НЕОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Опыт диалога о «не такой» прозе

... все эти книжки были, так сказать, общего пользования. А его интересовал только он, только его жизнь.

Павел Мейлахс, «Избранник»

И. Р. Вы помните, как, с чего именно начались у нас с Вами разговоры «на тему», которые мы сейчас пытаемся продолжить письменно и публично? Нам обоим то и дело приходилось сталкиваться со спорами о «новом реализме»; затеяли его, в основном, совсем молодые манифестанты своей особости, но поддержали на собственный лад и зрелые знатоки текущего – П. Басинский, Е. Ермолин, например. И вот, стало тогда интересно, а существует ли явление – или это очередной фантомный инструмент для фехтования в литературных дискуссиях? – Огляделись и убедились, что явление существует, только не совсем такое, как его описывают, и не совсем там, где на него указывают. И я бы назвала его несколько по-другому.

Круг прозы, не отказавшейся от «изображения жизни в формах самой жизни» и притом прибегающей к фабульному и персонажному вымыслу, все еще велик, несмотря на периодические вопли о том, что больше невозможно читать, как некий «Иван Иванович подошел к окну и выглянул во двор». Тех, кто так пишет (иногда беллетристически недурно, как Л. Улицкая, иногда отлично, как С. Гандлевский или П. Алешковский), не воспрещается называть «реалистами» – и даже «новыми реалистами», поскольку они нередко освежают свои истории новым, скажем, пост-модернистским, опытом.

Круг прозы, которую после незабываемого литературного манифеста Александра Гольдштейна, вот уже десятилетней с лишним давности, относят к «литературе существования», тоже до того широк, что вмещает вещи от чрезвычайно изощренных, написанных во всеоружии литературного умения, вроде «Любью» Юрия Малецкого или повествований Анатолия Наймана, до непрофессиональных «человеческих документов». «Для современных авторов исследование собственного жизненного опыта переходит в исследование метафизического и всеобщего опыта истории», – говорит Олег Павлов, автор прозы, весьма осложненной наследством Андрея Платонова, и ее тоже можно назвать «литературой существования», извинившись за натяжку перед покойным Гольдштейном.

Но поскольку эти два обширных круга имеют нечто общее – а именно, оба противоположны скопившимся сегодня на другом полюсе утопиям, антиутопиям, фантазмагориям, «взрослым» сказкам, «альтернативным» историческим и биографическим сюжетам и всему прочему, что успешно питается *неправдоподобием* вымысла, – то, заштриховав воображаемую зону их пересечения, кажется, и получим то, о чем собрались говорить.

Я назвала бы эту «луковицу», эту «линзу» областью **«новой подлинности»** и ниже попытаюсь защитить свою дефиницию.

Но сначала позволю себе удивиться, почему только теперь явление это стала нащупывать критика – и мы в том числе. Ведь уже три поколения пишущих открыли для себя такую «подлинность». Здесь есть свои «сорокалетние» – Михаил Бутов и Павел Мейлахс (и одного сделанного ими хватило бы, чтобы отнестись к теме предельно серьезно), чуть старше их – Олег Ермаков; свои, совсем уж разные, «тридцатилетние» – Роман Сенчин, приблизившийся к этой черте Аркадий Бабченко, какой-то гранью – Александр Иличевский и Дмитрий Данилов; свои «двадцатилетние» – молодой да ранний Сергей Шаргунов или неоперившийся еще Сергей Чередниченко. Разумеется, этими именами дело не ограничивается...

Так почему — «подлинность» и чем — «новая»? Словарные значения — некорректная, но хорошая наводка. По Далю и по Ушакову, *подлинный* — настоящий, не скопированный, оригинальный (антонимы: поддельный, фальшивый). Как свидетельствуют тот же Даль и этимологические словари, слово произошло от названия пытки — битья палками-«длинниками», или «подлинниками»; «подноготный» же — от следующего этапа пытки, какого — объяснять не нужно... «Невыносимое он днесь выносит», — сразу пришла на память строка Тютчева. Без самодознания, самоистязания, а то и самоосквернения вряд ли бы состоялись многие из этих текстов. «Попытка освободиться от кожи, как от стесняющего тряпья» (А. Гольдштейн) — разве не пытка? А главное тут — отсутствие самозабвения, извлечение тайны жизни из единственного нефальсифицируемого подлинника — *из себя* («Вкус собственного “я” ... он постоянно ощущал, как печеночный больной ощущает изжогу». — П. Мейлахс). Повествование от первого лица или наделение рассказчика реальным именем автора (Павел в «Избраннике» Мейлахса, Роман в «Минусе» Сенчина) тут, кстати, не обязательно, всегда и так ясно, откуда что берется.

Дальше, в согласии со словарем: *подлинное* — «сделанное не по образцу» (Даль). Образцы бывают жанровые, в обоих смыслах: устоявшиеся прозаические жанры (роман, рассказ...) или жанр как ниша читательских ожиданий (военная проза, история любви). Интересующие нас авторы смело ставят под заглавием слова «роман» или «повесть», но эти слова ровно ничего не говорят о природе их сочинений; что касается второго значения, то достаточно сравнить рассказ Бабченко «Аргун» с романом Захара Прилепина «Патологии», чтобы увидеть, чем безобразцовая «новая подлинность» отличается от идеологически нагруженной жанровости, здесь — в духе «суровой солдатской прозы».

Письмо «по образцам» — это и литературные влияния; наша серьезная проза последних десятилетий находилась под сильнейшим воздействием либо Платонова, либо Набокова, отчасти — Зощенко, пользовалась их завоеваниями, их возведенной в квадрат искусностью. «Новые подлинники» — и в этом как раз их новизна — отошли от этих образцов. Можно сказать, что тем самым они приблизились, «вернулись» к Толстому и Достоевскому (молодой Толстой старался «без пропусков» описать «день или часть дня» задолго до молодого Данилова; Мейлахса откровенно тянет к Толстому-смыслоискателю; рассказ Бутова «Памяти Севы, самоубийцы» в свое время так поразил меня бесстрашием, что я сравнила его с «Записками из подполья»); но на самом деле никакой оглядки, никакой инициативы «возвращения» у наших героев нет — просто и Толстой, и Достоевский открывали в XIX веке *свою* «новую подлинность».

«... Сегодня писатель важнее литературы и необходимость в авторе выше необходимости в тексте», — декларировал Гольдштейн. Послание от «я» к миру важнее художественного подношения миру. (Это не более чем парадокс: не всякое послание доходчиво — только литературно состоятельное.)

И еще: «я» наших авторов — отнюдь не только «голос и сложенные в рупор ладони», как рекомендует глашатай «литературы существования». Такое «я» как правило телесно, физиологично за порогом «допустимого» и к физиологичному рядом с собой особо чувствительно. Можно счесть это натуралистической бесцеремонностью с читателем, победой над условностями по Владимиру Сорокину, которому в старой литературе недостает информации о том, «как пахли подмышки у Наташи Ростовой» (спешу его успокоить: дамы позапрошлого века знали толк в притираниях не хуже, чем нынешние — в дезодорантах). Но нет, в образчиках «новой подлинности» тело — в такой близости к душе, что физиология пронзительно очеловечена; часто она тягостна («все болит около дерева жизни», — говорил один русский философ), но, в отличие от сорокинской, не отвратительна.

Почему я читаю эти, отнюдь не обреченные на успех, книги, словно это и впрямь «романы», в прежнем увлекательном значении? Ведь не из-под палки же и не из профессионального любопытства, а — погружаясь, вплоть до идентификации с авторами. Не знаю, что и ответить.

В. Г. Я согласен, что явление литературы, которое так полюбили обсуждать и которое именуют «новым реализмом», безусловно, существует. Одним из первых, кто провозгласил приход этого «нового реализма» («Грядет смена смеха. Грядет новый реализм»), насколько я помню, был Сергей Шаргунов в своем манифесте «Отрицание траура», опубликованном на страницах «Нового мира» довольно давно — в 2001 году. Именование это крайне неудачно уже потому, что ничего не означает. Литература никогда ничем больше не занималась (и не занимается) кроме реализма. (Об этом подробно писала Лидия Гинзбург в своей статье «Литература в поисках реальности»,

где эти поиски прослеживаются от Гомера до французского «нового романа».) И поэтому литература всегда – «новый» реализм, пока не родился «новойший». Но неудачная терминология еще не повод, чтобы отказывать явлению в существовании.

Можно ли сказать, что интересное нас явление существует на пересечении (линзе) «литературы правдоподобия» (с сюжетами и персонажами) и «литературы существования» (с ее предельно личным высказыванием)?

Не уверен. Просто потому, что «литература существования» полностью вкладывается в литературу «правдоподобия». Не бывает личного высказывания в фантастическом внешнем пространстве, потому что автор живет в реальности, и только опираясь на реальность собственного существования, способен выразить самого себя (а не персонаж). Интересующее нас явление, на мой взгляд, полностью укладывается в рамки «литературы существования», но образует ее более узкое подмножество.

Если бы мы еще отчетливо понимали, что такое эта «литература существования», было бы совсем хорошо. Но Гольдштейн ведь фактически не дал определения. Уже в своем эссе он начал размывать жесткие границы – оказывается, она может быть и вымышленной, и сюжетной, как, например, у Берроуза. Но допустим, что мы примерно представляем себе, что такое «литература существования»: это высказывание, в котором гарантией достоверности является исключающий личный опыт автора; в котором автор говорит о себе самом и договаривает до конца, ничего не утаивая, а напротив, проецируя вовне любой – даже самый постыдный – опыт.

Такова ли «новая подлинность» (возьмем этот термин в качестве рабочей гипотезы)? Неожиданная связь «подлинности» с пыткой оказывается очень глубокой. Те авторы, которых можно отнести к «новой подлинности», пишут о вещах мучительных, мучительных не только духовно или интеллектуально, а буквально – физиологически. Мейлахс говорит – об алкоголизме, Сенчин – о ломающем человека быте, Бабченко – о войне, Бутов и Чередниченко – о суициде. Причем эти темы взяты не в социологическом, обобщенном плане, а как личный пережитый (или переживаемый) опыт.

Верно и указание на внежанровость этой прозы. Для каждого из наших авторов существование в рамках жанра невозможно. Жанр – это готовая схема и для выражения, и для восприятия. То есть некоторое продолжение установившихся отношений писателя и языка, читателя и произведения. Но в анализируемых произведениях мы всякий раз застаем автора в момент выбора, в момент излома. С этого все начинается: с отрицания любой инерции, традиции, прошлого, на которое можно было бы опереться. А значит, любая жанровость должна быть отброшена еще до начала высказывания.

Но только на этом изломе действительности и можно прикоснуться к достоверности, подлинности бытия, а это и есть главная цель таких книг. Писатель сознательно отказывается от позиции аналитика, который обобщает и типизирует действительность: типология невозможна, инертна, мертва. Нужно пробиться к самому себе, потому что только к самому себе пробиться и можно. Остальное – от лукавого массмедиа.

Я бы назвал этот метод – **субъективным реализмом**, потому что этот реализм локален, его не слишком интересуют биография или условия существования героя. Этот реализм направлен внутрь человека, но человек этот не вымышлен, он предельно реален. Именно этим такая проза и интересна. Она дает возможность и читателю прикоснуться к себе. И где-то на глубине (мучительной, омерзительной, подноготной) ощущения и представления автора и читателя могут совпасть. Это происходит не потому, что они среднестатистические представители рода людского, а потому, что каждый из них человек.

И.Р. «Подмножество» – так «подмножество», тоже красиво. Говоря об общем пространстве двух пересекающихся кругов, я просто хотела подчеркнуть (как, кстати, и Вы) отличие отмеченных нами текстов от автобиографической прозы, с которой их часто путают. Нет, это не повести о детстве и юности и не романы воспитания (тоже ведь – *жанры!*). Один и тот же герой – он, по факту, и автор – испытывает разные варианты, разные *фабулы* своего существования, реальные, а отчасти, быть может, и виртуальные. Внешний, обстоятельный опыт «Придурка» отличается от соответствующего опыта «Избранника» или «Отступника» (здесь и дальше: названия циклизированных повестей П. Мейлахса), а в «Беглеце» и «Шлюхе» – несоединимые модусы пребывания героя в Израиле. Точно так же из романов Р. Сенчина «Минус», «Нубук» и других плюс из его единых с ними по ощущению жизни рассказов «Афинские ночи» или «Говорят, что нас там при-

мут» не сложишь последовательной саги, а повесть М. Бутова «Памяти Севы, самоубийцы» не вложишь в качестве вставного эпизода в его, того же духа, роман «Свобода» и не продолжишь этот роман свежим «Мобильником» (путешествие по-прежнему узнаваемого центрального лица по Европе). Короче, это письмо не линейное, как трилогия Льва Толстого, или, резко меняя масштаб, как, скажем, автобиографическая проза Константина Паустовского, — а *серийное*, чем-то схожее с тенденцией в современной живописи¹. И тем самым перекликающееся, пересекающееся с фабульно-персонажными сюжетами. Все рассказываемое не столько случается с автором (это бабушка надвое сказала), сколько совершается внутри автора (а это уж несомненно). «Субъективный реализм», как и было сказано.

Но вот незадача. Вернее — задача. Этот «реализм» повернут к реальности драматически-антагонистическим образом. Он ее, наличную реальность, только и признает, остальное — «лукавство» (С. Шаргунов), но он же ее и отрицает — как невозможную, неусвояемую, не дающую дышать. И добро бы речь шла о нечеловеческой реальности армейщины на чеченской войне («Аргун» А. Бабченко) или хотя бы о социально вымороченной, минусовой реальности провинции 1990-х годов («Минус», он же город Минусинск, у Сенчина). Да нет, то же испытывают те, кого жареный петух клюнул отнюдь не в силу внешних неурядиц, герои Мейлахса или Чередниченко, творческие «избранники», бессильные приподнять свинцовую плиту «существенности».

Попытки трансценденции, религиозно или художественно воображаемой, изобличаются как страусинный самообман. В «Минусе» (герой там — рабочий сцены) таков театральный мирок, который «актеры пытаются слепить, а потом, силенок набравшись, — обратно в реальность» — или живопись художника-пропойцы («Лхаса, Фудзияма, тайландки...») в том же романе и в рассказе «Художник»: «Холодная печка, завешенное одеялом окно... — Розовое небо, какие-то пальмы, парходик...» «Нужно писать о жизни, о жизни, о жизни! А ты от нее хочешь спрятаться! — спорит герой Чередниченко с юной женой-поэтессой. Недаром и ему, и Сенчину нравятся столетней давности стихи талантливого циника Тинякова.

...И пишут «о жизни», выпуская чувствительные щупы вовне, проявляя гиперреалистическую наблюдательность, недоброе имя которой — «цыганский глаз». «Вот девица отрешенно бредет мне навстречу, внезапно, поравнявшись со мной, она зевает мне в лицо, ее лицо разворачивается в зевке, как цветок, на мгновение я вижу ее зависший язык, овально закругленный, как боеголовка, бордовый, будто напомаженный...» (П. Мейлахс). «Да, он очень доволен жизнью. Это он всячески старается показать. Куриные кости он лишь слегка обгладывает, оставляя на них уйму мяса, берет за новый кусок» (Р. Сенчин). Мать «опустилась на колени, тощая, похожая на синюшную советскую курицу» (С. Чередниченко). Храм, смахивающий на тыкву, «слепые мордочки ангелов» (С. Шаргунов).

Но прямой взгляд этой безбоязненно голимой «правды» наши авторы вынести не в силах. Это взгляд *повседневности*. «Сегодня как вчера», «День без числа» — названия рассказов Сенчина говорят сами за себя. Даже криминальный замысел в «Минусе» — ограбить, а то и «замочить» бухгалтершу — не отменяется по моральным мотивам, а рассасывается в нивелирующем ходе будней. Повседневность, она — «колера школьных коридоров моего детства» (М. Бутов). «Двухтысячные — круглые белые яйца, проколотые иголкой, вытекшие. Год мог сменять год, а все ощущение скорлупы» (С. Шаргунов). Те, кого герой Чередниченко называет «убежденные жители», «Ужи», «барахтались всю жизнь и очень желали, чтобы всю жизнь барахтался я... Цепочка эволюции не должна прерываться».

Но: «Я не хочу жить так, как я не хочу жить. Вот смысл. Вот моя экзистенция». И почти дословно то же у Мейлахса, годящегося Чередниченко в отцы: «Что теперь остается? Жить да поживать? Железный, неумолимый порядок, царящий в этом мире?» — «Эта СПОСОБНОСТЬ ЖИТЬ НЕ СОБОЙ ужасала его, была отвратительной, противоестественной, кощунственной».

¹ Самый ранний и самый выразительный пример современного «серийного» письма, какой я помню, — «Колымские рассказы» Варлама Шаламова. Тип этой экзистенциальной прозы был тогда так нов, что А. И. Солженицын поставил автору его в укор: дескать, в рассказах действуют «не конкретные особенные люди», каждый со своей индивидуальной психологией, а «почти одни фамилии» («Новый мир», 1999, № 4). Позднее А. И. стало ясно, что у Шаламова «во всех героях всех рассказов — он сам», «а переменные имена — только внешний прием...». Один субъективный центр, одна на всех душа — в меняющихся ситуациях и микросюжетах.

Можно задаться вопросом: не обнаруживает ли тут себя (нео)романтизм одиноких героев (о категории одиночества – особый разговор) и их создателей, «субъективных реалистов»? Ведь европейский экзистенциализм – не такой уж отдаленный потомок европейского же романтизма, а мы, кажется, идем след в след. А можно, отрешившись от роли литературных аналитиков, спросить себя по-человечески: как вправду одолеть ее, повседневность? Ближайший выход у наших авторов-«ушельцев» (словечко Чередниченко) – коли не смерть, то *лобег* (не упустить бы и эту тему – еще для 70-х классическую: «Улетающий Монахов», «Гражданин убегающий»...) Но выход-то – иллюзорный?

В. Г. Тяжесть существования, как мне представляется, и оказывается необходимым условием создания такого рода произведений. Это то сопротивление материала, та вязкость среды, которая обеспечивает плотность «прилегания» действительности к воспринимающему субъекту. Только в этом случае самописание оказывается описанием действительности и окончательная честность гарантирует точность выражения окружающего мира. И упомянутые «Колымские рассказы» в этом отношении крайне показательны.

Это не романтизм, и не экзистенциализм, который, конечно, многое у романтизма наследует, причем наследует главное – прорыв к трагической свободе. Романтический герой немислим без толпы, именно она и создает героя – он ей противопоставлен. В тех книгах, о которых мы здесь говорим, как бы герой ни третирует «толпу», он не способен возвыситься над ней, потому что он сам – человек толпы. Ничем он особенно не отличается от среднестатистического «ужа» (Чередниченко), кроме одного: он хочет понять, кто он, и для него эта рефлексия оказывается жизненно необходимой.

Если нельзя поставить себя выше толпы, можно попробовать оказаться ниже. Это тоже способ самоопределения. Сосредоточенное, придирчивое втаптывание себя в грязь – это метод Сенчина, к которому писатель прибегает и в «Афинских ночах», и, может быть, наиболее последовательно, в рассказе «Говорят, что нас там примут». «Афинские ночи» – история о том, что праздника в этой жизни нет и не может быть, что все плоско и пошло и бежать некуда. Но особенно характерен финал, в котором герой обогнал себя перед женой, рассказал ей то, чего не было, и сделал это, кажется, с единственной целью – унижить себя, оказаться ниже нормального бытового абсурда. Сцена в «Говорят, что нас там примут», в которой герой занят прямо-таки азартной ловлей лобковых вшей, работает на создание того же ощущения: герой хочет выглядеть омерзительнее, чем он есть. Пусть в сто раз хуже, но только не так, как все. Этот же метод использует Мейлахс в «Шлюхе», показывая странствия героя по публичным домам. Быть «хуже» необходимо, чтобы выделиться из затверженного ряда, чтобы создать зазор, необходимый для самонаблюдения.

В отличие от Каина и Манфреда, герои Сенчина и Мейлахса – не великие грешники, они не бросают вызов Богу, не гибнут в трагическом борении с судьбой, они никого никогда не убьют, разве что случайно по пьяни, но они могут уничтожить себя, если пойдут до конца. Впрочем, и это вряд ли: они не герои трагедии (можно сказать иначе: любая трагедия для них – напыщенна и ходульна), но им удастся выйти из толпы, удастся доползти до своей субъективной истины. А в существование какой-либо другой они просто не верят.

Конечно, в этих произведениях очень много автобиографического, но это именно литература, в частности, потому, что демонстрация настоящей мерзости и низости требует изощренного зрения и точного слова в не меньшей степени, чем самые высокие чувства и идеи.

Это не дневник, не автобиография, не мемуары – это действительно *другая* литература.

Здесь мне хочется обратить внимание на то, что мир, который изображают и Сенчин, и Мейлахс, и другие авторы, которых мы анализируем, вовсе не так безнадежен, как они стараются его представить. Они проговариваются, и эти «проговорки» стоят дорогого. В действительно страшном, глухом, как закупоренный сосуд, мире «Отступника» (Мейлахс) есть великая музыка и поэзия: когда героя выводят из состояния критического запоя, во время которого он пропил деньги, с огромным трудом накопленные матерью, он, едва очнувшись от белой горячки, читает санитарам «Флейту-позвоночник». Герой «Минуса» жалеет своих родителей и помогает им чем может: картошку приезжает копать. Даже герой самого жесткого рассказа Сенчина «Говорят, что нас там примут» заботится о своей жене, что уж совсем странно – если верить его словам, она ничего, кроме раздражения, у него не вызывает. После поминок, описанных с ленивым цинизмом, герой собирается домой и видит на кухне бутылки и свертки. Ни секунды не колеблясь, он ворует: «Так, бутылку «Привета» в один карман, вторую... нет, возьму вино, для жены... в дру-

гой». Сам-то герой предпочитает водку, но оказывается, он помнит и думает о жене даже в такой критической ситуации.

В русской литературе есть две фразы, которые, конечно, уже навязли на зубах, но когда-то звучали с настоящим пафосом: «Человек – это звучит гордо» и «Человек рожден для счастья, как птица для полета». (Можно вспомнить и «птицу-тройку», в которой «едет жулик», но у Гоголя все сложнее.) Сами по себе эти лозунги ничем не примечательны, даже пошловаты. Что же дало толчок их утверждению? Про «человека, который звучит гордо» говорит типичный подонок (обитатель дна) – Сатин, говорит в ночлежке, где о человеческом достоинстве вспоминать не приходится (или как раз приходится только вспоминать). О «человеке, рожденном для счастья», даже не говорит, а пишет ногами безрукий поляк в рассказе Короленко «Парадокс». Умение писать ногами – фокус, которым этот поляк зарабатывает себе на жизнь. На контрасте, на парадоксальном столкновении смысла и обстоятельств высказывания и возникает достоверность эмоции, и пафос уже не кажется ложным и пустым. Именно этот метод утверждения положительного начала используют наши писатели. Они утверждают: любовь к музыке и поэзии – Мейлахс, любовь к семье – Сенчин, преданную и бескорыстную дружбу – Бабченко. Конечно, это малый уголок, но он есть.

Как бороться с *повседневностью*? Может быть, ее не надо бояться, может быть, ею нужно переболеть в тяжелой форме? И наши герои больны, и это позволяет им чувствовать мир и себя настолько обостренно? Но болезнь – неустойчивое состояние, в конце концов человек либо умирает, либо выздоравливает и теряет это обостренное восприятие.

И.Р. Зря Вы, мне кажется, так протестуете против слова, понятия «экзистенциализм», которое ведь покрывает огромный пласт не изжитого миром умонастроения, а не только несколько сочинений влиятельных писателей и философов минувшего века. Вместо «типизации и обобщения действительности» – об отказе от них Вы уже говорили – выход к «La condition humaine» (название романа Мальро – «Условия человеческого существования», «Удел человеческий» – давно стало термином) как к предельному обобщению иного рода, устремленность к которому и отличает субъективное письмо наших авторов от эмпирики автобиографической прозы.

Да, конечно, теперь вместо титанических «Манфредов и Каинов» романтизма – иное авторское «я», принимающее на себя, и «по жизни», и в сочинениях своих, участь «человека толпы», «каждого», «everyman». Эту, уже давнишнюю, смену персон успел заметить Блок в «Возмездии» – поэме, прикосновенной к «литературе существования»: «Герой уж не разит свободно... Но песня – песню всё пребудет, В толпе всё кто-нибудь поет».

Такой «человек толпы» социально зависим, особенно в кризисные «эпохи перемен»; перед ним стоит прозаическая проблема выживания (и тут Сенчина, по-всякому варьирующего свое «путешествие на край ночи», я бы сравнила не с модным Уэльбеком, как мелькнуло однажды в критике, а с Селином); над ним нависают мелкие и крупные власти – комбат, олицетворяющий государство у Бабченко: «за спиной дыба, в руках – медали холуям». Он, этот человек, социально мотивирован, хочет того или нет: на том, как решает свою судьбу герой романа А. Иличевского «Матисс», отпечатался «полный останов – «стоп машина» – приключившийся с его Родиной».

Но, повторю за Вами: этот «автопсихологический» герой (слово Л. Я. Гинзбург), сполна наделенный рефлексией, по определению присущей взявшемуся за перо его создателю, отделен тем самым от массового бессознательного как «потусторонник» (С. Чередниченко), как вырожденный – а может быть, заново в демократический век рожденный? – наследник романтического персонажа. «У нас нет фронтового братства. Ремарк врал», – замечает Бабченко вопреки тому, что живые примеры этого братства сам же дает в своем рассказе; просто он способен подняться над единящей эмоциональной иллюзией момента и осознать свое капитальное одиночество – как и одиночество «каждого».

Одиночество, свобода, смерть, повседневность (она же «забота» – «das Sorge»), *побег* – это все «экзистенциалы», категории существования, среди которых наш новый герой пытается сориентироваться (и в которых, на свой лад, плутал стародавний рекрут романизма).

Соглашусь, что перед нами повествования о *болезни*. Но это – «высокая болезнь», как бы низменны ни были подчас ее проявления. Для меня признаки высоты, высококости – даже не в тех «проговорах», которые Вы ловите и без которых сопричастность читателя, вероятно, была бы вообще невозможна (такие «гуманные места» есть даже у Шаргунова, с кривой гримасой

взирающего на дальних и ближних: в его рассказе «Как меня зовут?» это, к примеру, сцена прощания с усопшим наставником-греховодником). Высота – в том неустранимом беспокойстве, которое гонит в «сладкий омут неизвестности, очень знакомый всем холодным самоубийцам, беглецам и когда-то, когда они еще были, – путешественникам...» (А. Иличевский, «Матисс»)².

Перемещения в пространстве – от блужданий по городским лабиринтам до нешуточных странствий... Нельзя сказать, чтобы вынужденные. Герой Сенчина перебирается из Кызыла в Минусинск в смутной надежде найти в городе «с историей» родную почву – и не находит ничего. Саша из повести Мейлахса «Беглец» переезжает с семьей в Израиль, чтобы там наконец «просто» жить – и возвращается в Россию, не вынеся этого «просто».

На первый взгляд, все они бегут от житейской несвободы. Самый неудержимый из беглецов, некто Королев в романе-«побеге» Иличевского, заболевает клаустрофобией («ему было тесно повсюду»), и лишь «зашвырнув ключи от квартиры в круговерть реки» и присоединившись к бомжам, освобождается от тесноты беспричинно и бесцельно сменяемых социальных ролей, чтобы «нанизывать на себя, на свой пеший ход свободу – всю страну, ее луга, берега, холмы, равнины». «Матисс» (имя любимого художника – мерцающий символ какого-то иномирия) – как бы ответ следующего поколения на итог романа Михаила Бутова «Свобода», где, после рождения сына, герой совершает свое «примирение с действительностью». А у Иличевского «...Королев потому не мог жить, что не способен был получать удовольствие от простых существей» – которые сумел-таки оценить как неподдельные человек Бутова.

Но вот оказывается, что обретаемая «ценою потери» свобода – не цель, а лишь средство в надежде заполнить «накатывающий вал будущей пустоты» – заполнить чем? Иличевский переводит это алкание, исkanie в поэтический регистр: его беглец держит путь на Великий юг, «за солнцем, впряженным в будущее». Мне, однако, еще дороже «проговорка» погруженного в уныние Мейлахса: «... ты был там. И ты это всегда помнишь, хотя бы бессознательно. Где – там? Неважно – там. ... И тебе страстно хочется попасть туда. ...А Бог – это всего лишь псевдоним этого какого-то там».

Вы приводите две «навязшие на зубах» максимы, чей пафос обновляется и удостоверяется, если вспомнить о контрасте с обстоятельствами, в которых они звучат. Последую Вашему примеру и скажу, не страшась банальности: проснувшийся посреди повседневности человек ищет свою небесную родину. И пока не находит, страдает от тесноты и от пустоты одновременно, на удивление прочим теряя благопристойный облик...

В. Г. Я вовсе не против того, чтобы называть наших писателей экзистенциалистами! С точки зрения экзистенциальной философии и опыта – так и есть. Но мне кажется, что их связь с конкретными литературными текстами писателей-экзистенциалистов весьма сомнительна. Ну не от «Постороннего» Камю ведут они свою родословную, а скорее уж от «Мифа о Сизифе», да и то довольно интуитивно. Нет у них отчетливой философской конструкции, на которой выстроены и «Посторонний», и «Мухи» Сартра. (Здесь я замечу между строк, что Каина и Манфреда помянул, не столько следуя лорду Байрону, сколько цитируя другого «эскаписта» – Венедикта Ерофеева, уже изрядно поиздевавшегося и над романтическим, и над реалистическим идеалами.)

Конечно, все эти экзистенциалы – одиночество, свобода, смерть, повседневность и побег – для наших героев крайне важны. Но необходимо отметить и другое: кажется, этими экзистенциалами практически исчерпывается все для них действительно значимое – это своего рода базис пространства существования. Ни любовь, ни вера, ни жизнь, ни даже творчество здесь почти невозможны.

С творчеством особенно интересно: мы говорим о глубоко личной прозе, но личный опыт писателя не может не включать опыт творчества. Это – парадоксальная ситуация. Такое впечатлительное, что эти писатели с помощью литературных текстов доказывают невозможность не только

² Характерная реакция книжного рынка: он оперативно ассимилирует прозу «новой подлинности», предлагая ее коммерческий извод. Я имею в виду книжку «Мертвые могут танцевать. Путеводитель на конец света» (СПб. Амфора. 2005), анонимно подписанную электронным адресом: *nobody01@inbox.ru* (автор – предположительно – Илья Стогов). Здесь темы одиночества, странствий, свободы, смерти, слегка симулируя серьезность, успешно развлекают публику.

литературы, но и любого творчества вообще, за исключением, может быть, творчества собственной судьбы. Чужое творчество существует, но только как трансцендентный объект: как Матисс у Илического, которого герой видит или в страшном сне, или в подобной сну действительности; как Бетховен у Мейлахса, которого герой «употребляет» пополам с водкой; как Тиняков у Сенчина, и как сам Сенчин, но не писатель, а рок-музыкант, персонаж повести Чередниченко: «Сенчин, пьяный в жопу, сидел на ящике из-под стеклотары и, низко наклонив голову, прижав к губам микрофон с замотанным изолентой проводом, пел куда-то в пол <...> этот концерт стал для меня крещением». Но собственное творчество – невозможно. Герои этой прозы (в отличие от авторов) его последовательно избегают.

Как сильным литературным текстом опровергнуть возможность литературного творчества? Алексей Лосев, анализируя размышления скептика Секста Эмпирика (II – III века н. э.), который с помощью логики пытался доказать невозможность логического мышления, пишет: «По Сексту, нет ничего невозможного в том, что человек, взобравшийся на высокое место, тут же откинул ту лестницу, по которой он взбирался». Для писателя это означает уход в молчание. Эти книги как бы предназначены для того, чтобы писатель сумел от (из) них освободиться – бежать.

Субъективный реалист в полном одиночестве совершает побег от (из) повседневности к свободе или смерти. Это сквозной сюжет «не такой» прозы. Но только побег, не имеющий цели (даже сильнее – принципиально не могущий иметь цель), может стать творческим актом. Только в таком побеге творчество может стать формой существования, и только такое существование – творчество. Почему роман «Мертвые могут танцевать» всего лишь весьма успешная (нельзя этого не признать), но имитация той «новой подлинности», о которой мы говорим? Герой книги тоже ведь куда-то все время убегают. Разница в том, что он знает, куда: например, в Египет самолетом. Его странствия имеют всякий раз разное, но географически определенное направление. Он не путешественник, а турист. В приведенной Вами цитате Иличевский говорит о путешественниках: «когда-то, когда они еще были». Теперь их нет, потому что настоящий путешественник не знает, куда отправляется и что обретет, может быть Индию, может быть Америку, а скорее всего, гибель в морской пучине. А сегодня география почти приручена и потому гламурна.

Пример экзистенциального побега дан, в частности, в рассказе Бабченко «Аргун». Существование солдата-контрактника в последние дни перед отправкой домой – это квинтэссенция абсурда. Действительность наваливается и давит – можно погибнуть из-за ерунды и вырваться не удастся. Герой рассказа – мужественный человек (чего он, кстати, совсем не подчеркивает, в отличие от «суровой солдатской прозы» Прилепина, где действуют не люди, а скорее голливудские манекены), но он не выдерживает: «Страх заполняет меня постепенно, он поднимается снизу холодной волной, и внутри появляется ощущение ноющей пустоты. <...> Сегодня под Мескер-Юртом меня убьют». Его не убили. Наступил «этот солнечный теплый день – последний день войны». Война-то продолжается, люди гибнут, тела отправляют домой в цинковых ящиках, люди садятся в тюрьму, их режут и шьют в госпиталях, но это совершенно не важно, потому что это – последний день *моей* войны. Мне повезло, я убежал. Куда? Может быть, и «на свою небесную родину», потому что там я встречу «многих, очень многих» – тех, кто погиб на этой *моей* войне.

Герой этой прозы похож на Шарикова, но не на булгаковского, а на того, что в стихах Стратановского, – Шарикова, который снова стал собакой, но о том, что он был человеком, не забыл. Выходов у него два: простой – забыть, что он был человеком, и невозможный – снова человеком стать.

И.Р. Мы с Вами, как нам обоим кажется, возимся по ходу разговора с «сильными литературными текстами». И если «ни любовь, ни вера, ни жизнь, ни творчество здесь почти невозможны», то минус-присутствие всего этого, воронка отсутствия, куда мучительно затягивает протагониста, очень даже ощущается, как раз будучи источником художественного воздействия. Это «скорбное неверие» (по С. Л Франку) снимает обвинения в «цинизме», «безнравственности» и пр., которые мы-то избегали предьявлять, однако есть немало охотников...

Но это – к слову. Я о другом. Замечанием об «уходе в молчание» как эпилоге подобной прозы Вы предвосхитили мой умысел напоследок еще раз процитировать А. Гольдштейна: «Достигающий этой словесности и есть тот, кто ее покидает». Литая формула, можно сказать, дистих. В устах того, кого вскоре не стало, звучит особенно пронзительно. Между тем наши авторы, слава Богу, живы и, кажется, не стремятся умолкнуть. Следовательно, им предстоит или освободиться

от своих героев-двойников, или преобразовать их заодно с собой; ведь всплыть из глубин молчания к самоповторению значит потерять уже и творческую репутацию в заинтересованной литературе³.

Роман Сенчин «освобождается», уходя в объективное бытописание актуального свойства и хорошего профессионального уровня (что в наблюдательности нашим «эгоцентрикам» не откажешь, я уже говорила) – таков, например, его рассказ «Персен», попавший в шорт-лист премии Юрия Казакова за 2006 год. Задевает не так, как прежде, но что поделаешь... Павел Мейлахс располагает свой последний роман «Пророк» в сюрреальном пространстве абстрактного европейского города, психоделическую топографию которого наматывает на себя столь же абстрактный, иносказательный герой, – книга явно кризисная, уход в молчание путем темной глоссолалии. Насчет прочих – посмотрим.

Но вот Иличевскому, судя по его многосложному роману, не сводящемуся к «автопсихологии», есть вроде бы куда двинуться. Каков бы ни был безблагодатный кенозис его героя, но и он, и автор – захвачены чудом жизни. И речь не только о том, что писатель наделен редким даром пейзажиста, любит и умеет «выпить» глазом ландшафт, будь то заросший дворцовый парк, старое кладбище или запечатанные катакомбы московской подземки. У него сюжет опоясан явлением шаровой молнии: оба раза, в начале и в конце, герой, пусть и обученный пониманию нехитрой физической сути феномена, в восторге бежит вслед за «красноватым тихим шаром» и жаждет очистительного взрыва, который становится взрывом и в его собственном сознании. Шаровая молния – счастливая непредвиденность бытия, что предотвращает уход в молчание и тем более в смерть; своего рода знамение веры и обетование прорыва из повседневности. Блуждание становится *приключением*, то есть размыкается навстречу миру.

А когда приключением становится сама повседневность, тогда «новая подлинность» выбирается с территории, офлажкованной категориями экзистенциализма. Честертон, воспевая «приключение» как рыцарственный акт, как модус позитивного, доверительного отношения к миру и Богу, добавляет: «А лучший из лучших остается у ног своей бабушки».

В некотором смысле «у ног бабушки» остается Дмитрий Данилов – оригинальный писатель, сумевший сделать обаятельным приключением зауряднейшие подробности своего движения по жизни (сочетание «новой подлинности» с тем, что иногда называют «гиперреализмом»). Его «личный» герой, как и герой Сенчина, дитя скромной окраины (правда, не глубинки, а московского «спального района»), тоже борется за выживание, свое и своей семьи, – но радость от подарка проживаемой жизни, от самого факта *бытийственности* всего, что вокруг – в своем смиренном «очаровании убожества», перевешивает унылость незадач и невзгод. «Быть может, есть небо, конечно, есть ад», – цитировал опять поминаемый мною Честертон какого-то современного ему декадента. Разве это «кредо» не подходит, впрямую или метафорически, большинству наших «субъективных реалистов»? Но не Дм. Данилову. Его микродозы юмора дают «небесный», отлетный взгляд на повседневность – как на относительное благо, закрывающие от адских провалов, но не поглощающее человека целиком (бедняга, полностью ею заглушенный, предстает грустно-комической фигурой, предлагаемой нам для поучительного самоопознания, – рассказ «День или часть дня»).

Ума не приложу, сможет ли этот писатель с его специфической «дробной» манерой и демонстративной внежанровостью продолжать так вот начатое – или, побоявшись надоесть себе и другим, перейдет в иной литературный отсек (если не к другому восприятию «действительности»). С ним неясно, как и с остальными.

Но вот о чем хочу Вас спросить, раз уж мы согласились, что описываем не терминологическую химеру, а реальную струю в текущей русской словесности. Есть ли она, эта струя, – нечто принципиально важное (даже, может быть, циклически проявляющее себя) в большой истории литературы как одной из граней истории духа Новейшего времени – или же это малая доля на сугубо нынешнем литературном поле, которая не сегодня-завтра зарастет сорняками? А быть может, для подтверждения первого тут не хватает знаменательной лидирующей фигуры, хотя те, о ком мы писали, не обделены талантом?

³ И так уж Ольга Шамборант, замечательный эссеист, сама не чуждая духу «новой подлинности», начитавшись журнальных образцов «литературы существования», жалуется в тексте, присланном в «Новый мир»: «...утерян секрет литературы, когда трепещешь по воле автора, а о нем ни секунды не думаешь...»

В. Г. Этот вопрос тесно связан с тем, который прозвучал в Вашей первой реплике: почему именно сейчас мы обратили внимание на это явление, хотя такие авторы, как Бутов и Мейлахс, заявили о себе, прямо скажем, не сегодня, и манифест Гольдштейна тоже появился больше десяти лет назад.

Два-три сильных писателя еще не задают направление. Осознание того, что в литературе происходит направленный сдвиг, возникает тогда, когда появляются последователи, которые, сознательно или нет, ориентируются на уже открытое пространство. Именно последователи «перенимают» метод и делают его явным для внешнего наблюдателя. Когда они появляются, можно сказать, что литературное явление, с одной стороны, уже окрепло, а с другой – его новизна уже не бьет по глазам, а в некотором смысле опосредована.

Вы уже отмечали, что и Данилов, и Иличевский не являются, скажем так, «типичными представителями» субъективного реализма, они касаются его «какой-то гранью». И именно у них – особенно у Иличевского – чувствуется личное писательское будущее. На мой взгляд, сам по себе субъективный реализм для писателя направление тупиковое, если считать, что всякий писатель непременно обязан оставаться писателем, и писать, писать, писать до самого своего конца. Я вслед за Гольдштейном чуть ли не с трагическим пафосом повторил, что единственный выход для последовательного субъективного реалиста – это молчание. Но если это не смерть, так ли это трагично?

Можно отказаться от писательства как формы существования и стать, например, журналистом или киносценаристом. Так случилось с Павлом Санаевым – автором единственной очень любопытной повести «Похороните меня за плинтусом». А ведь он во многом близок, по крайней мере, по внешним признакам к субъективному реализму. Может быть, не обязательно выстраивать свою жизнь, по одномерной схеме – как поход за славой, который начинается заметкой в стенгазете или «Живом журнале» и заканчивается нобелевской лекцией. Вообще говоря, есть и другие варианты.

Мне кажется, субъективный реализм – это литература молодого сознания. Именно молодого, а не юного. У каждого человека наступает такой период в жизни, когда он полностью вырастает из земли – он весь проявлен. Дальше он может развиваться сколь угодно мощно, но это будут количественные изменения, новых качеств уже не будет. И в этот момент человек может столкнуться со стеной – я уже весь есть, а у меня ничего нет – я еще никак не зацепился за внешнюю реальность. Практически все герои книг, о которых мы говорим – холосты, а если и женаты, то ощущают семью как обузу, а не как опору.

Безвыходность может привести к состоянию белого, кипящего отчаяния. Я знаю, что никакого принципиально нового направления уже выбрать не смогу, но и вширь развиваться я не способен, потому что не верю, что хоть что-то значимое существует вне меня самого. И тогда человек тонет в белой пене собственного «я». Это – поражение на *моей* войне. Но это поражение (погружение) может стать сильным толчком к творчеству – здесь жизнь значима (с любым знаком) сама по себе, а не как промежуточный этап экстенсивного роста. Здесь есть то совпадение жизни и творчества, о котором я уже говорил.

Я не думаю, что эта «делянка» зарастет. Одни писатели переболеют и повзрослеют (кто-то, может быть, и погибнет – это ведь по-настоящему опасные опыты, и каждый ставит их на себе), но появятся другие. И многие окажутся в экзистенциальном тупике – каждый в своем. И многие – каждый по-своему – попытаются о нем написать. Я думаю, что «новая подлинность» – это литература не одного сильного писателя, а многих сильных текстов. Это – горизонтальный срез литературы. Не случайно, об этой «не такой» прозе заговорили сразу многие молодые писатели. Может быть, они и не нашли точной терминологии, не смогли отчетливо сориентироваться в «большом времени», но почувствовали эту субъективную реальность собственной кожей.

ЛИТЕРАТУРА

- А. Бабченко. Аргун. Рассказ. – Новый мир. 2006. № 9.
 М. Бутов. Памяти Севы, самоубийцы. – Новый мир. 1993. №5. То же в кн.:
 М. Бутов. Изваяние Пана. Рассказы. Повесть. М. 1994.
 М. Бутов. Свобода. Новый мир. 1999. №1,2
 А. Гольдштейн. Литература существования. – Зеркало. 1996. № 1-2.
 Д. Данилов. Дом десять. Повесть. Рассказы. М. 2006.
 Д. Данилов. Черный и зелёный. М. 2005.

- А. Иличевский.* Матисс. Роман. – Новый мир. 2007. № 2,3.
П. Мейлахс. Избранник. [Повести: Придурак, Избранник, Беглец, Отступник]. М. 2002.
П. Мейлахс. Шлюха. – Нева. 2004. № 3.
П. Мейлахс. Пророк. Роман. М. 2006.
З. Прилепин. Патологии. Роман. М. 2005.
Р. Сенчин. Афинские ночи. М., 2001.
Р. Сенчин. День без числа. Сборник рассказов. М. 2006.
Р. Сенчин. Минус. Повесть. – Знамя. 2001. № 8. То же: М. 2002.
П. Санаев. Похороните меня за плинтусом... М., 2005.
С. Шаргунов. Как меня зовут? Рассказ. – Новый мир. 2005. № 5.
С. Чередниченко. Потусторонники. Повесть. – Континент. 2005. № 3 (125).
nobody01@inbox.ru. Мертвые могут танцевать. СПб. 2005.

ИНЫЕ ЖАНРЫ...

Павел ЛУКАШ

ЗЕМНУЮ ЖИЗНЬ НА 70%...

* * *

В одной из – не к ночи будь сказано – мафий
прошёл криминальный заказ...
Но ты была лучше своих фотографий:
красивее в тысячу раз.

Следил за тобою наёмный убийца,
потом не убил – пожалел,
поскольку в тебя умудрился влюбиться,
да так, что совсем ошалел.
А я, досмотрев увлекательный триллер,
Решил приблизительно так:
тот самый чувак – неудавшийся киллер –
вполне безобидный чудака.

Но если по самую суть углубиться
во тьму канцелярских чернил,
выходит, что даже не он не убийца,
а тот, кто его сочинил.

Возьмём Дездемоны историю эту –
какой несчастливый финал.
И также Офелию, также Джульетту,
Корделию – кто доконал?

Возможно, реальная жизнь – лотерея,
но, что до печатной строки,
то авторы триллеров стали добрее –
нормальные мы мужики.

* * *

Солнце вкривь
на пыльных пальмах,
значит – около шести...
«Не пишу я актуальных, –
говорю я ей. – Прости».

Даже ради примиренья,
чтоб писатель-пейзажист

сочинял стихотворенья
про дурную нашу жизнь?

И без этого до слуха
С каждой уличной скамьи
Долетает бытовуха
из истории семьи.

Мол, уже дошёл до ручки
этот бесполезный зять:
от полочки до полочки
пьёт – и слова не сказать.

Мол, бесстыдствует невестка
со времён СССР.
Скоро будет ей повестка
посетить вендиспансер.

Мы гуляем по бульвару.
Время – около шести.
Можем встреченную пару
в пух и перья разнести:

от дохода годового,
до – в неделю сколько раз.
Всё давно для нас не ново,
и рассчитано за нас,

уготовлены задатки
для души и головы...
Также мы не две загадки,
даже не одна, увы.

Жизнь проходит в темпе быстром,
дальше, говорят, туннель...
Я не стану программистом,
ты не выйдешь на панель.

* * *

На меня надвигаются скрежет и вой –
если слышу, то, значит, живой.
Это вовсе не скромный жужжащий комар,
что во сне превратился в кошмар.

Это мой электронный будильник поёт
про шмеля вдохновенный полет.
А ведь я не солдат – не спецназ, не конвой –
по тревоге вставать боевой.
Почему голова, словно роща в сентябрь,
а на улице, вроде, октябрь?

Удивился: да что это – явь, или глюк
посетивший сознание вдруг?

Присмотрелся поближе: так это ж она –
никаких вариантов – жена.

Наконец, покидаю постели сугроб –
неохотно иду в гардероб.
Вижу левый носок – где же правый носок,
что с полоскою наискосок?
Не заладится жизнь от напасти одной –
а когда еще тот выходной...

* * *

Потому что люди чтут
наш моральный кодекс,
не показывайте тут
ваш Эдипов комплекс.

Но бывают типажи –
тоже взяли моду...
Если скажут: покажи, –
плюнь такому в морду.

Кто не прячет от людей
комплекс свой Эдипов –
самый пакостный злодей
из подобных типов.

* * *

И возлагали на меня надежды:
давали всё (и что-то из одежды),
но я не стал первейшим из спецов,
но я и не пропал, в конце концов.

А те, о ком сейчас мои тревоги
(им колыбель качали, мыли ноги ...) –
недружелюбный взгляд, серьга в носу...
А впрочем, и не то перенесу.

Итак – в подсчётах долларов и центов –
земную жизнь на 70%
пройдя, живу в достойной нищете:
расходы те, а прибыли не те.

И жуть похуже милиционера,
упрятана в застенках шифоньера
уже и не припомню сколько лет
(а впрочем – восхитительный скелет).

А в будущем – выпестовать подагру;
стенать: о дайте, дайте мне виагру,
я свой позор сумею искупить;
и спрашивать: не быть или не пить?

И вот опять чего-то не хватило:
икры, заботы, воздуха, тротила...
И накатила злость – да будет месть!
А впрочем, нехрен лезть, когда всё есть.

* * *

Беру законный выходной,
чтоб отдохнуть как надо.
Есть детектив переводной
про извращенца гада.

Из-за того, что он маньяк,
его не любят бабы.
Он не умеет пить коньяк
и не заходит в пабы,

но жуткой темною порой
кровавый кайф имеет.
За ним охотится герой
который пить умеет.

Который вовсе не урод,
из тех, что души губят.
И женщины, наоборот,
его за это любят.

Как настоящий супермен
он завалил маньяка.
А у меня без перемен –
пойду напьюсь, однако.

Коротко об авторах

Арсений Березин Прозаик. Родился в Ленинграде в 1929 г. Закончил физический факультет Ленинградского университета, кандидат физико-математических наук. Работал в Физико-техническом институте АН СССР на протяжении 35 лет. Член Европейского физического общества, действительный член Международной академии наук и образования (Сан Франциско). Активный участник и организатор конференций по предотвращению ядерной войны. Руководит работой Комитета петербургских ученых по борьбе с терроризмом. Автор рассказов, опубликованных в журнале "Звезда" и сборника "Пики-козыри", изданного Пушкинским фондом в 2007г. Живет в Санкт-Петербурге.

Михаил Бусин Прозаик, журналист, сценарист, режиссёр, актёр театра и кино. Родился в 1971 году в Москве. Работает сценаристом и режиссёром на телевидении, актером в театре, в кино, преподаёт актерское мастерство в Театральном училище им. Щукина и йогу в одном из московских центров. В 2005 году инсценировал роман «Преступление и наказание» Достоевского, и в Театральном товариществе Олега Меньшикова по его пьесе был поставлен спектакль «Сны Родиона Романовича». Автор книги «Простая йога для детей». Живёт в Москве.

Владимир Губайловский Поэт, критик, эссеист. Родился в г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области. Окончил механико-математический факультет МГУ им. Ломоносова. В настоящее время работает в отделе критики журнала «Новый мир». Автор книги стихов «История болезни» (1993) и многочисленных публикаций в литературной периодике. Лауреат премии журнала «Новый мир» (2001 год). Живет в Москве.

Галина Корнилова Прозаик, драматург. Ученица К. Г. Паустовского, тепло о ней отзывавшегося. Окончила МГПИ, кандидат филологических наук. Работала во Всесоюзном обществе культурных связей с зарубежными странами. Автор восьми книг и множества публикаций в российских литературных журналах. Главный редактор журнала «Мир Паустовского». Живет в Москве.

Светлана Кекова Поэт, литературовед, эссеист. Родилась в г. Александровск Сахалинской области. Окончила филологический факультет Саратовского университета (1973). Кандидат филологических наук (1987), доцент. Преподавала на филологическом факультете Саратовского университета (1975-88), с 1988 г. – в Саратовском пединституте. Автор нескольких книг стихов и множества публикаций в ведущих отечественных и зарубежных журналах. Лауреат премий журнала «Знамя» (1995), Малой премии им. Аполлона Григорьева (1999), Большой премии «Москватранзит» (2001), журнала «Новый мир» (2002). Стихи переведены на английский и голландский языки. Живет в Саратове.

Павел Лукаш Поэт, прозаик. Родился в Одессе в 1960 году. Автор трёх поэтических сборников и книги прозы. Стихи и проза публикуются в периодических изданиях, антологиях и альманахах Израиля, России, Украины, Германии, США. Живет в Бат-Яме, Израиль.

Павел Мейлахс Прозаик. Родился в 1967 г. в Ленинграде. По образованию математик, окончил Ленинградский университет. Печатался в «Новом мире», «Литературной газете», «Звезде», «Неве». Автор двух книг. Лауреат премии журнала «Звезда». Живет в Санкт-Петербурге.

Давид Паташинский Поэт. Родился в 1960 г. в Москве, детство провел в Сибири. В 1988 г. окончил Новосибирский электротехнический институт, инженер-электронщик. В 1991 году эмигрировал, до 1998 г. жил в Израиле, работал механиком, строителем. В США является владельцем фирмы по производству настольных игр. Печатался в журналах «Октябрь», «Крещатик», «Слово/Word», «Новый Берег», в различных литературных альманахах. В 2006 году в издательстве «Пушкинский Фонд» вышла книга стихотворений «Немного Цвета». Живет в Мунки, США.

Юрий Перфильев Поэт. Родился в 1951 г. в Сочи, закончил Ростовский-на-Дону институт инженеров транспорта и Московскую юридическую академию. Кроме литературной работы, занят в предпринимательстве. Автор четырёх поэтических книг и публикаций в литературных журналах и газетах. Живет в Москве.

Ирина Роднянская Литературный критик, литературовед. Родилась в Харькове. В 1956 г. закончила Московский библиотечный институт. Автор книг «Художник в поисках истины» (1989), «Литературное семилетие» (1995), двухтомника «Движение литературы» (2006), многочисленных статей, посвященных современной отечественной литературе, русской литературной и философской классике, теории литературы и эстетике. Академик АРСС, заместитель главного редактора журнала «Новый мир». Живет в Москве.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЗАПИСКИ
Журнал русской литературы
Выходит ежеквартально

“Partner“ Verlag
Руководитель издательства: Михаил Вайсбанд
Художник: Р. Дубинский
Компьютерная верстка: В. Аввакумов
Корректор: Р. Вайнблат
Подписано к печати 14.12.2007

Адрес: “Partner“ Verlag
Postfach 104219
44042 Dortmund, Germany
Тел.: +49 / 231 / 950 94 10 (общий)
+49 / 231 / 952 973 16 (подписка)
E-mail: info@zapiski.de

Банковские реквизиты:
Konto 190 57 36
BLZ 440 700 24
Deutsche Bank Dortmund

Электронная версия в Интернете:

<http://magazines.russ.ru/> (Журнальный зал)
<http://www.zapiski.de>

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

Для подписки на журнал вышлите, пожалуйста, в адрес издательства (“Partner“ Verlag, Postfach 104219, 44042 Dortmund, Germany) Ваши данные (адрес и телефон) и квитанцию об оплате подписки: 16 евро для жителей Германии и 27 евро (или чек на 27 евро) – для проживающих вне Германии. Вы получите четыре очередных выпуска журнала.

По вопросам подписки и приобретения ранее вышедших выпусков журнала звоните по тел.: +49 / 231 / 952 973 16

АНОНС

Читайте в тринадцатом номере «Зарубежных записок»

Прозу

Бориса Хазанова (Мюнхен),
Леонида Гиршовича (Ганновер),
Нины Горлановой (Пермь),
Юрия Малецкого (Мюнхен),
Владимира Шубина (Мюнхен),
Якова Лотовского (Филадельфия)

Стихи

Юрия Колкера (Лондон),
Евгения Чигрина (Москва),
Михаила Дынкина (Ашдод, Израиль)

Публицистику и эссеистику

Александра Мелихова (Санкт-Петербург),
Алексея Макушинского (Мюнхен)

и другие интересные материалы

